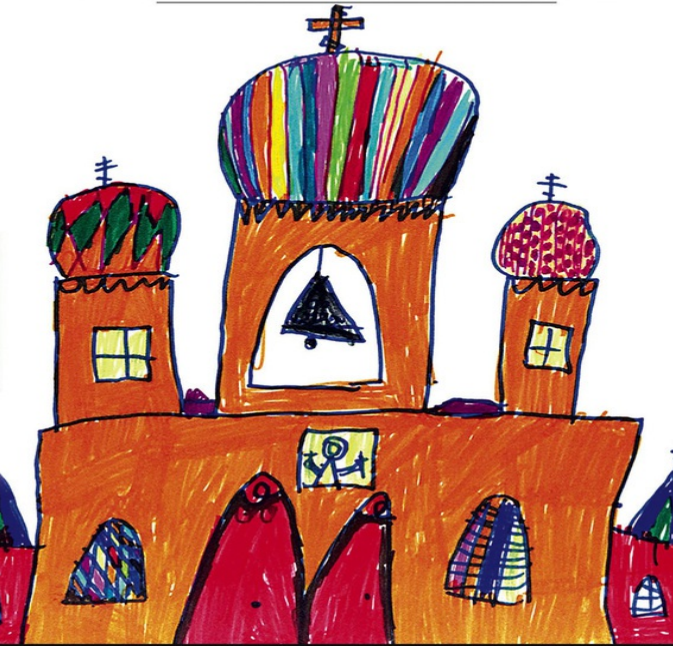


VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Московская Коллекция

а л е к с а н д р
ПРОХАНОВ



ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ

|| р о м а н ||

Annotation

Роман Александра Проханова «Время золотое» подобен прежним его романам: выхваченный из пекла сегодняшней политической и идеологической жизни, он раскален, его трудно брать руками – он жжет. Книга рассказывает о недавних событиях, которые сотрясали основы государства российского: о Болотной площади, о толпах, двигавшихся на Кремль, о трагической схватке, в которой могли погибнуть миллионы людей, а вместе с ними российское государство. Это роман о «героях» Болотной, это роман о лидере,

который переживает преобразование, одолевает духовную слабость и становится победителем в жестокой схватке. В центре повествования — идеолог, носитель русских смыслов, проповедник русского государства, русской победы. Хотя многие герои напоминают персонажей сегодняшней политической драмы, не следует искать среди них прямых прототипов. В книге все истинно и условно, абсолютно правдоподобно и одновременно — придумано. Прямая аналогия между персонажами Болотной площади, Кремля или идеологических центров с реальными фигурами, имеющими имена и фамилии, была бы

упрощением.

- [Александр Андреевич Проханов](#)
 - [Часть первая](#)
 - [ГЛАВА 1](#)
 - [ГЛАВА 2](#)
 - [ГЛАВА 3](#)
 - [ГЛАВА 4](#)
 - [ГЛАВА 5](#)
 - [ГЛАВА 6](#)
 - [ГЛАВА 7](#)
 - [ГЛАВА 8](#)
 - [ГЛАВА 9](#)
 - [ГЛАВА 10](#)
 - [ГЛАВА 11](#)
 - [ГЛАВА 12](#)
 - [ГЛАВА 13](#)
 - [ГЛАВА 14](#)

- [ГЛАВА 15](#)
- [ГЛАВА 16](#)
- [ГЛАВА 17](#)
- [ГЛАВА 18](#)
- [ГЛАВА 19](#)
- [ГЛАВА 20](#)
- [ГЛАВА 21](#)
- [ГЛАВА 22](#)
- [ГЛАВА 23](#)

○ [Часть вторая](#)

- [ГЛАВА 24](#)
- [ГЛАВА 25](#)
- [ГЛАВА 26](#)
- [ГЛАВА 27](#)
- [ГЛАВА 28](#)
- [ГЛАВА 29](#)
- [ГЛАВА 30](#)
- [ГЛАВА 31](#)

- [ГЛАВА 32](#)
 - [ГЛАВА 33](#)
 - [ГЛАВА 34](#)
 - [ГЛАВА 35](#)
 - [ГЛАВА 36](#)
 - [ГЛАВА 37](#)
 - [ГЛАВА 38](#)
-

**Александр
Андреевич Проханов
Время золотое**

Часть первая

ГЛАВА 1

Иван Градобоев набирал полную грудь студеного воздуха. Накалял вздох своей огненной яростью. Жарко выдыхал в микрофон. Железный звук летел над Болотной площадью, рассекая, вспарывая, вырывая из толпы вопли страдания и ненависти. Градобоев жадно глотал эту ответную ярость, пил пьянящий настой. Делал вздох, поднимая высокие плечи, сливая свою огненную силу с гулом и ревом толпы. Направлял грохочущие слова в черное колыхание площади.

— Чегоданов вор! Царь воров! Он украл наши нефть и газ! Наши лес и

алмазы! Превратил Россию в пиратское королевство, которым управляют бандиты и хриstopродавцы! Он украл нашу свободу, подсовывая на выборах фальшивые бюллетени, где вписано его ненавистное имя! В пятый, десятый, двадцатый раз он будет назначать себя президентом, пока от России, как от мертвой рыбы, не останется обглоданный Уральский хребет! Пусть Чегоданов покажет свои счета в американских и швейцарских банках, в банках Гонконга и Сингапура, в офшорных банках Кипра и Каймановых островов! Пусть скажет, какая доля принадлежит ему в газовых и

нефтяных компаниях, какие отчисления идут ему от торговли оружием, сколько платят ему губернаторы, получая ярлыки на кормление! Пусть расскажет, кто взорвал дома в Москве, кто убил и продолжает убивать неподкупных журналистов! Люди, хотим ли мы вора-президента? Хотим ли мы жить в обезьяннике, в который превращают Россию?

Градобоев метал в толпу тяжкие, как булыжники, слова, и они оставляли вмятины. Толпа стонала от боли, содрогалась от страшных слов. Глухо ревела в ответ:

— Нет Чегоданову! Вор не пройдет! Градобоев — наш президент!

Градобоев чувствовал могучую слепую силу толпы, которая колыхалась на Болотной площади, как черный вар в накаленном котле. Его слова, как языки пламени, лизали стены котла, и толпа вскипала липкими пузырями, чавкала, чмокала, одевалась туманом, в котором мутно белели лица, струились флаги, качались транспаранты. Кинотеатр «Ударник» в вечернем воздухе начинал ртутно светиться. Вода в канале крутила золотые отражения фонарей. Мостик через канал был облеплен людьми. Над крышами домов, алый, близкий, дышащий, возносился Кремль, а с ним белоснежные соборы, золото,

лучи прожекторов, в которых клубился синий осенний туман. И снова площадь с толпой, похожей на зверя, по спине которого пробегала больная судорога, волна серебристого меха.

Градобоев любил толпу. Страшился ее. Чувствовал ее непредсказуемый нрав. Ее вероломство, ее ненасытность. Повелевал ею, навязывал свою волю и был в ее власти. Как сказочный царевич, питал ее своей плотью, кидал ей в пасть сочные, вырезанные из тела ломти, боясь, что зверь с окровавленными ноздрями кинется на него и сожрет. И в этом было упоение, несравненная сладость,

неутолимое сладострастие.

— Чегоданов думает, что мы насекомые, лишённые смысла и воли! Мыши, поедающие крохи с его барского стола! Но мы не мыши, мы птицы! Несем весть о Русской Весне! Мы вольные граждане великой страны, которая сбросит с себя иго жуликов и воров! Иго временщиков и захватчиков! Нет Чегоданову! Его место не в Кремле, а в тюрьме!

Он водил по толпе огромным плугом, прокладывал борозды, выворачивал пласты. Чернозем шевелился, дышал. Градобоев вспарывал его отточенной сталью, сеял семена своей ненависти и любви.

— Градобоев! Градобоев! —
рявкала и лязгала толпа.

Он отступил от микрофона в глубину эстрады, оставляя после себя пустоту, в которую площадь тянула тысячи рук, требовала его обратно, жадно шарила в сумерках. Градобоев, задыхаясь, слушал восторженных референтов, отвечал на торопливые вопросы журналистов, поворачивался навстречу слепящим вспышкам. Искал и находил влюбленные сияющие глаза женщины, которая кивала ему, восхищалась, гордилась его отвагой и бесстрашием.

— Ну как, Елена? Они меня слышат?

— Мы все тебя слышим, Иван! —
Она сжимала его руку, которая
трепетала от страсти.

Косматый певец с гитарой
прыгал и вертелся в серебряном луче.
Кидал в толпу огненные шары звуков,
и они лопались, как шрапнель,
косили толпу, и она валилась из
стороны в сторону. Возносила вверх
руки, и они колыхались, словно
трава. Певец дул на эти зыбкие
стебли, и по толпе, как от ветра,
струились и бежали разводы.

Кремлевские бесы, нам
больше невмочь.

Вы день превратили в ночь.

Кремлевские крысы, вам
сдохнуть пора.

Вы изгрызли звезду и орла.

Кремлевские трупы, вам
тлеть и лежать.

Нам петь, веселиться,
рожать.

Певец напрягал голое плечо с
татуировкой. Блестел зубами в
пышных, как у моржа, усах.
Крутился, приседая. Бил кулаком в
гитару. Указывал пальцем на Кремль,
где лежали отвратительные трупы,
которых пора вынести и бросить в
осеннюю реку, где пляшут стальные

вензеля фонарей.

Градобоев наблюдал толпу, ее ликование, наивную радость, детскую доверчивость. Вспышки ненависти, переходящие в веселый гогот и свист. В сумраке мерцали непрерывные искры фотокамер. Улетали в осеннее небо воздушные шарики. Над Болотной кружил вертолет с телекамерой, передававший изображение митинга в административные центры. На границах площади темнели военные фургоны, грузовики, автобусы с бойцами ОМОНа. И все это громадное скопище, это чудовищное существо было подвластно Градобоеву. Он сотворил его легким

нажатием клавиш, летучим
моментальным касанием
портативного ноутбука, из которого
летели бессловесные призывы,
бестелесные приказы. Как порох,
они воспламеняли людские души,
изнывающие среди тоскливой
бессмыслицы выборов, дурных
правителей, лживых лукавцев.
Градобоев разглядел в этих душах
мучительные центры страдания,
волокна боли, импульсы протеста и
раздражения. Нашел среди истертых
и замусоленных слов неповторимые,
пламенные слова и обратился с ними
к народу. Призвал к восстанию. Как
загорается на обочинах сухая трава,
опалает кусты, перекидывается на

деревья, превращаясь в ревущий пожар, так его пламенная проповедь собрала этот протестующий митинг, в котором, среди воздушных шариков, забавных плакатиков, шутейных прибауток и песенок, таился бунт.

— Иван, иди! Опять твой выход! — произнесла Елена, глядя обожающими глазами. — Ты гений, герой! Ты президент! Люблю тебя! — Она прижалась к нему, а потом легонько толкнула вперед, перекрестила.

Музыкант, задыхаясь, раздувая моржовые усы, проволок по эстраде гитару. Градобоев ринулся вперед, навстречу площади, которая, ахнув,

приняла его в объятия. Сотрясая стебелек микрофона, он снова рыхлил толпу, кидал в нее раскаленные булыжники, и они шипели, погружались в гущу.

— Чегоданов считает вас трусливым стадом, которое можно запугать, разогнать бичами, приручить жалкой подачкой! Он сунет вам избирательные бюллетени, куда уже заранее внесено его имя! И вами вновь будут править воры, изуверы и негодяи! Но вы не стадо! Вы самые лучшие, умные, трудолюбивые люди России! У вас чистые руки и безупречная совесть! У вас воля к свободе и справедливости! И эта воля

превратит в пепел фальшивые бюллетени, воровские счета в зарубежных банках, всю пиратскую власть Чегоданова! Сейчас он наблюдает за нами, сотрясаясь от страха и ненависти! Скажем ему: «Чегоданов, долой!»

Градобоев воздел кулак, рванул вниз, словно вырывал клочок неба. И площадь, стена, раскачиваясь, глухо и беспощадно вторила:

– Долой! Долой!

Над черными крышами, в меркнувшем небе, озаренный, дышал Кремль. Градобоев чувствовал его близость, его пленительную доступность. Кремль манил розовыми зубчатыми стенами,

драгоценной белизной соборов, ослепительным золотом. В нем таилась загадочная грозная сила, сокровенный магнетизм княжеских и царских надгробий, расписных палат и блистательных залов. Кремль был вместилищем таинственных гулов, которые катились из века в век в угрюмых руслах истории. Был средоточием власти, чудовищной, непомерной, управлявшей континентом среди трех океанов. Градобоев жадно взирал на Кремль, стремился в него, знал, что войдет в него и займет свое место среди великих вождей и правителей. Ненавидел Чегоданова, мелкого и ничтожного, обманом захватившего

священную обитель. Предвкушал, как выбьет его из дворца, станет гнать по винтовой лестнице на самый верх колокольни Ивана Великого, сбросит на брусчатку Ивановской площади под восторженный рев толпы:

– Долой! Долой!

Толпа была в его власти, радостно ему подчинялась. Он сотворил ее, собрал по крупицам, вдохнул в нее свой жар, наделил пламенной душой. Толпа ждала от него приказа, замороженно внимала рокотам его голоса, обожала его, видела в нем вождя. И мгновенная искусительная мысль, сладкое безумие, перебой сердца, когда в горле заклокотал, забурлил звук,

готовый вырваться яростным воплем, грозным приказом – идти на Кремль. И толпа всей своей многотысячной мощью двинется вслед за ним, опрокидывая железные грузовики, втапывая в асфальт пятнистые тела полицейских. Через Каменный мост, в полукруглую арку, навстречу пулеметам, ребристым бэтээрам, опадая окровавленными клубками, заливая черной магмой озаренные дворцовые залы.

Звук пробурлил и умолк. Градобоев отшатнулся от черты, которую кто-то провел перед ним стеклорезом. Ушел, качаясь, в глубину эстрады, откуда наблюдали за ним испуганные глаза влюбленной

женщины.

— Ты настоящий рыцарь!
Настоящий Иван Великий!

Теперь на эстраде танцевала панк-группа «Бешеные мартышки», три шаловливые плясуны в разноцветных колготках. Их лица были размалеваны краской, из-под мини-юбок выплескивались хвосты. Они скакали, делали сальто, гибкие, верткие и смешливые.

Мы безумные мартышки,
У нас бритые подмышки.
Мы проворны и ловки,
У нас бритые лобки.
Чегоданов, Чегоданов,

Подари нам сто бананов.
Получи от нас привет,
Посмотри на свой портрет.

Танцовщицы задирали мини-
юбки, выгибали спины, открывали
выпуклые ягодицы, на которых был
запечатлен портрет Чегоданова.
Толпа свистела, хло пала, поощряла
проказниц. А те скакали, ходили
колесом, маленькие, гибкие,
неутомимые.

Градобоев испытывал
торжество. Он был властелин,
кудесник, бесстрашный
оппозиционер, который сумел

разбудить сонные души, оттеснить утомленных и блеклых вождей оппозиции, нанести удар в самое сердце неповоротливой и ленивой власти.

Пресыщенная, безнаказанная, власть собиралась в очередной раз праздновать победу над изнуренным и понурым народом. Теперь эта власть ошеломленно и тупо взирала, словно бык, получивший удар кувалдой. Со своими армиями и полицией, банками и корпорациями, ядовитыми телеканалами власть была бессильна перед легким нажатием клавиши, которая включала таинственную музыку, рассылала незримые позывные, собиравшие на площадь

тысячи протестантов. И вот они, молодые и талантливые, веселые и непреклонные, явились, чтобы услышать своего кумира, показать ненавистным кремлевским зубцам свои стиснутые кулаки.

Градобоев почувствовал, как могучая и слепая стихия, веселая и страшная, упоительная и роковая, подхватила его и вынесла к микрофону, на самый обрез эстрады. Площадь взорвалась ликованием, замерцала бессчетными вспышками, заволновалась флагами. Он был любим, был долгожданный пророк, неподкупный и бесстрашный воитель.

— Настал наш час — час

непокорных! Час бесстрашных! Час патриотов! Нам не нужен президент-землеройка, который подгрыз все живые корни страны! Нам не нужен президент-червяк, источивший волшебное яблоко русской жизни! Нам не нужен Чегоданов, который, как моль, проел все ткани народной жизни! Нам нужен другой президент!

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! —
ревела площадь.

Он чувствовал единение с тысячами обожавших его людей. Он чувствовал свою уникальность, неповторимость, свое предназначение, свою грозную и восхитительную миссию, которую возложила на него судьба. Он воздел

кулак, обращая лицо к Кремлю:

— Чегоданов, ты слышишь меня? Выходи на бой! Я сорву с тебя твой черный пояс, и все увидят, что это корсет от грыжи!

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! — грохотала площадь.

— Люди, верьте мне! Я пойду до конца! Поведу вас к победе! Мы соберем наш митинг на Ивановской площади и назовем имя нашего президента!

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!

Он испытывал сладость и муку. Сердце стало огромным и любящим. В горле клокотали колокольные звоны. В глазницах копился свет. Он смотрел на темное московское небо,

под которым сияли соборы Кремля, бежали огни по Каменному мосту, волновалась черная площадь. И в небе возникла серебристая точка. Малая лучистая звездочка. Приближалась, росла. Превращалась в бриллиант, который, как око, взирал на него из небес. Выбрал его единственного из миллионов людей, устремил на него свои божественные лучи.

Градобоев смотрел на бриллиант, зная, что это знамение, предсказывающее ему ослепительную судьбу.

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев! — ликовала площадь.

Он покинул эстраду.

Окруженный охранниками,
протиснулся сквозь толпу
репортеров. Уселся в «мерседес», в
теплый душистый салон, где ждала
его любимая женщина. Поцеловал ее
жадные жаркие губы.

ГЛАВА 2

Премьер-министр Федор Федорович Чегоданов, экс-президент и новый кандидат в президенты, решивший после четырехлетнего перерыва снова вернуться в Кремль, находился в своем кабинете в Доме Правительства. Когда-то, в кровавом октябре девяносто третьего, когда танки стреляли по осажденному Дому Советов, сюда, в кабинет, залетел снаряд и расплющил баррикадника, превратив его в огромную кровавую кляксу. Это кровавое пятно на стене тщательно соскабливали, закрашивали, покрывали слоем белоснежных

обоев. Но пятно упорно проступало, как тени испепеленных людей на фасадах Хиросимы.

Теперь, окруженный советниками, помощниками, членами избирательного штаба, Чегоданов наблюдал по монитору митинг на Болотной площади. Черная, казавшаяся необъятной, толпа колыхала знамена, плакаты, неистово и страстно скандировала:

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!

Изображение на монитор поступало с вертолета, и открывалась вся устрашающая грандиозность митинга, переполненная площадь, набитые людьми набережная, окрестные

улицы, Каменный мост с мерцающими огнями машин. Другие изображения приходили с телекамер, расставленных в разных местах площади, и тогда были видны молодые веселые лица, плакаты с карикатурами на Чегоданова, хлесткие надписи: «Вор должен сидеть не в Кремле, а в тюрьме», «Чегоданов — Магаданов», «Страна Чегодания». Телекамера нацеливалась на трибуну, где сильный, подвижный оратор мощно двигал спортивным телом, возносил кулак, выдыхал металлические рокошующие слова, от которых площадь плескалась, ходила ходуном, восторженно ревела.

Чегоданов сжал ручки кресла тонкими цепкими пальцами. Наклонил вперед заостренную, с редкими волосами голову. Стиснул губы трубочкой, как всегда в минуты душевного напряжения. Не мигая, выпуклыми голубыми глазами гипнотизировал монитор, стараясь поймать взгляд бушующего на эстраде оратора. Окружающие члены штаба сравнивали яростного тяжеловесного Градобоева с невысоким, изящным и легким Чегодановым. Упрямый, бычий напор оппозиционера с манерой Чегоданова тушеваться, уходить от прямых столкновений, уступать пространство сопернику, чтобы

внезапно, со стороны, нанести ему разящий удар. Сравнивали молодой азарт и бесстрашие оппозиционера, его честолюбивый натиск, огненное красноречие трибуна с вкрадчивой осторожностью Чегоданова, его нелюбовью к публичным выступлениям, которым он предпочитал ироничные высказывания в узком кругу журналистов.

Клокочущий на трибуне оратор вызывал в Чегоданове острую неприязнь, мучительную ревность, чувство опасности, с которой Чегоданов прежде не сталкивался и которую рождала черная гигантская толпа, бог весть откуда взявшаяся.

Казалось, ее выдавила из московских домов неведомая сила. Эта черная влажная мякоть была добыта из камня, переполняла площадь, как виноград переполняет давящую. Происходящее ничем не напоминало прежние тщедушные митинги оппозиции, которые рассеивались малыми силами полиции. Все негодующие протестанты помещались в десяток полицейских фургонов. Явление этой громадной толпы было внезапным, ее не предвидели, о ней не предупредили спецслужбы, и Чегоданов чувствовал себя обманутым. Чувствовал загадочную реальность, перед которой были бессильны прежние,

испытанные технологии. Появился противник, обладавший неизвестным оружием, превосходившим все, имевшиеся в арсенале, средства.

Глава Администрации Любашин, невысокий, печальный, в черном застегнутом пиджаке, негромко поговорил по телефону правительственной связи. Отвлёк Чегоданова:

– Федор Федорович, поступили замеры из городов-миллионников. Результаты неутешительны.

– Какие? – Чегоданов испытал болевой перебой в сердце, готовясь услышать неприятное известие. Любашин, с черными сросшимися бровями и печальным смуглым

лицом, напоминал агента из бюро ритуальных услуг. — Каковы результаты? — повторил Чегоданов, и все, присутствующие в кабинете, оторвались от экранов и прислушались.

— Ваш рейтинг, Федор Федорович, снизился с тридцати восьми процентов до тридцати шести. Рейтинг Градобоева вырос до шестнадцати процентов. Пока Градобоев, в любом случае, вам не соперник.

— Вы понимаете, что мы идем к катастрофе? — тихо, почти шепотом, произнес Чегоданов, с теми шелестящими интонациями, что напоминали едва уловимый свист

бритвы. — Вы обещали мне шестьдесят процентов и победу в первом туре. Если Градобоев начнет ко мне приближаться, то все эти ручные животные, которые кормятся из моих рук, все эти дрессированные думские оппозиционеры сорвутся с цепей, объединятся и растерзают меня. Где ваши дутые политологи? Ваши фальшивые политтехнологи, которые все лето гоняли меня по заповедникам и заставляли целовать в животы разных мохнатых зверушек? Вы действительно считаете, что русский народ — это народ-зверовод? А оказалось, что русский народ — это народ-градобой. Сколько людей на площади?

— Пятьдесят тысяч, Федор Федорович.

На экране толпа опять вскипела черными пузырями, скандируя:

— Гра-до-бо-ев! Гра-до-бо-ев!

Все удрученно молчали.

— Надо что-то делать! — нервно воскликнул глава предвыборного штаба режиссер Купатов. Он был вальяжен, лыс, с благородными усами, в клетчатом пиджаке и с шелковым шарфом на шее. Утонченный ценитель дорогих вин, красивых женщин, создатель нескольких ставших классическими кинофильмов, в которых героизм советских чекистов сменялся воспеванием златоглавой России,

погубленной большевиками. Осуждение бандитской либеральной власти сочеталось с хвалебными одами в адрес кремлевских лидеров. В предвыборный штаб он был приглашен как респектабельная артистическая фигура, способная внести в политический театр яркие нетривиальные краски.

– Что вы предлагаете, Ярослав Аркадьевич? – тихо спросил Чегоданов.

– Ну, я не знаю. Ну, какое-нибудь встречное действо. Ну, может быть, митинг в Петербурге на Сенатской площади, у подножия Медного всадника. Ваше выступление. Чтобы возникла ассоциация с

преобразователем России.

— Извините, Ярослав Аркадьевич, — тихо произнес Чегоданов. — Вы мыслите в системе советских театрализованных представлений. А сейчас не время массовиков-затейников, а эра Интернета. Побеждает тот, кто господствует в Интернете. Интернет взорвал Северную Африку, а теперь взрывает Россию. Этот разъяренный бык на Болотной — на самом деле изощренный технолог, господствующий в Интернете. Там создаются образы русского Ильи Муромца Градобоева и Соловья-разбойника Чегоданова.

Режиссер Купатов обиженно

умолк. Отошел в угол кабинета и закурил трубку, выпуская душистый дым, мрачно сияя лысиной и оскорбленно шевеля усами.

— Разрешите, Федор Федорович, перейти к интернет-атакам. — Начальник Федеральной службы охраны Божок насмешливо посмотрел на режиссера Купатова, только и умевшего, что выпускать из себя синий дым. Начальник охраны был высок, почти вдвое выше Чегоданова. У него мясистое, словно из сырого теста, лицо, белесые брови и маленькие синие глазки, то злые, то озорные, в зависимости от того, как падал на них свет. — Без Интернета и социальных сетей

Градобоев как конь без яиц. Выведем из строя сайты либеральных радиостанций и телеканалов, и пусть они аукаются в пустоте.

— Ты хочешь, Петр Степанович, чтобы все блогеры мира предали меня анафеме? Чтобы Европарламент начал слушания о свободе слова в России? Ты полагаешь, это повысит мой рейтинг накануне выборов? — Чегоданов язвительно посмотрел на телохранителя снизу вверх, словно соизмерял крупные габариты его тела с мелкой, только что озвученной мыслью.

Божок проглотил обиду и, как верующий человек, поискав и не

найдя в кабинете икону, перекрестился на крестовину окна, за которым угасала сырая лимонная заря, высилась черно-малиновая гостиница «Украина» и через мост, над стальной рекой, летели без усталости воспаленные огни.

— Федор Федорович, мне кажется, у нас нет оснований беспокоиться за результаты голосования, — степенно заметил председатель центральной избирательной комиссии Погребец, с крупным лбом, металлической бородой, чем-то похожий на старообрядца. — Важно не кто голосует, а кто считает. Обещаю, мы натянем нужный процент, несмотря

на веб-камеры, орды наблюдателей и прозрачные урны.

Чегоданов внимательно посмотрел в серые спокойные глаза председателя, стараясь углядеть в них мимолетную искру вероломства. Но взгляд оставался чистым, спокойным и преданным, и Чегоданов с мягкой иронией заметил:

— Вы, Сергей Артамонович, являетесь главным стратегом битвы, которую нам предстоит выиграть. И достойны самого высокого полководческого ордена. Но слишком большой разрыв между истинными и мнимыми цифрами выявляется с помощью современных математических средств. Градобоев

объявляет выборы фальшивыми, президента нелегитимным, а это и есть момент безвластия, к которому ведут все «оранжевые» революции, будь то Сербия, Грузия или Украина.

Погребец промолчал, спокойный, с величественной старообрядческой бородой, хранитель сверхмощного оружия власти, которое, он знал, рано или поздно будет пущено в ход.

— А не проще ли, Федор Федорович, — вмешался министр внутренних дел Закиров, генерал, чьи погоны с четырьмя звездами напоминали ванночки с уложенными в них морепродуктами, — не проще ли, не дожидаясь критического

момента, ликвидировать подобные митинги? Вверенные мне подразделения разработали соответствующую тактику. Мы, при вашей поддержке, обзавелись современными спецсредствами. Наша агентура успешно работает во всех оппозиционных организациях. Можно спровоцировать беспорядки, что даст нам право применить силу. Все эти разговоры о «софт пауэр» хороши до поры до времени, пока не наступает потребность в «харт пауэр».

— Отдаю должное, Руслан Ахметович, вашей осведомленности в политологических категориях. Ваша стажировка в Соединенных

Штатах пошла вам впрок. Но вы должны знать, что в «оранжевых» революциях столкновение с полицией или армией – желанный момент, после чего мировые телеагентства показывают бойню в районе Кремля, пробитые головы демонстрантов, десятков убитых мужчин и женщин, и тогда Чегоданов объявляется палачом, от него отворачивается мир, и миллионы восставших устремляются в Кремль его свергать.

За всем, происходящим в кабинете, чутко наблюдала молодая красивая женщина с черными, блестящими, как стекло, волосами. Ее глаза вздрагивали радостным

блеском, когда Чегоданов осаживал очередного советчика. Ноздри трепетали негодованием, когда звучал очередной несостоятельный совет. Малиновые губы что-то шептали, когда говорил Чегоданов, и казалось, что она подсказывает ему нужные слова. Белые длиннопалые руки, усыпанные перстнями, ласкали одна другую, словно она возбуждала себя этими касаниями. Ее звали Клара, она входила в близкий круг Чегоданова, но не имела определенного статуса. Ее считали чародейкой, обольстившей Чегоданова своими чарами, влиявшими на принятие важных решений.

Все смотрели на экран, где тонконогие плясуны скакали по эстраде, пели срамные куплеты, бесстыдно крутили ягодицами с портретом Чегоданова.

— Надо отложить выборы. — Начальник охраны Божок принялся нервно ходить по кабинету, раздражаясь бессовестным зрелищем, на которое был бессилён воздействовать. — Авария на АЭС, или прорыв волжской дамбы, или покушение на президента. Нельзя допускать выборы в условиях падения вашей популярности, Федор Федорович!

Чегоданов посмотрел на него исподлобья злым, волчьим взглядом,

от которого телохранитель ссутулился, издал звук, похожий на тихий визг, и стал креститься на оконную раму с черно-фиолетовой громадой гостиницы.

— В конце концов, — министр внутренних дел Закиров пришел на помощь своему посрамленному коллеге, — если этого Градобоева не удастся остановить политическим путем, его может остановить дорожно-транспортное происшествие или финка какого-нибудь кавказца, которого мы станем судить открытым всенародным судом.

Все тот же волчий, угрюмый взгляд синих, вдруг потемневших глаз

заставил министра сжаться, отчего звезды на его погонах зашевелились, как ожившие моллюски.

Толпа на экране рябила плакатами, флагами, тряпичными чучелами Чегоданова, рисунками, где, трусливо озираясь, Чегоданов тащил на плече куль наворованных денег. Все это видел Чегоданов, испытывая болезненное недоумение, мстительную неприязнь к людям, которые еще недавно обожали его, славили, складывали в его честь верноподданнические песенки, демонстрировали преданность и любовь. Он привык, что ему рукоплескали при появлении на публике. Что во время телемостов

ему задавали комплиментарные вопросы. Что женщины писали ему любовные письма. Что ведущие издания мира нарекали его «Человеком года». Что на выборах он побеждал с заоблачным превосходством. И в сознании народа утвердился его образ спасителя Отечества, победителя в кровавой кавказской войне, укротителя еврейских олигархов. Что же случилось? Когда покачнулось вероломное общественное мнение? Когда народ отказал ему в любви? С какого момента, с какой нелепой пиар-акции он вдруг стал сначала смешным, потом раздражающим, а теперь ненавистным? Быть может, с

момента, когда, покидая Кремль после второго президентского срока, он поставил вместо себя мнимого президента Стоцкого, управляя послушной марионеткой? Или когда во время кризиса, спасая банки-банкроты, насытил деньгами одних, забыв о других, и эти, забытые и обиженные, начали спонсировать оппозицию, создавать телеканалы, радиостанции и газеты, демонизирующие его, Чегоданова?

Сцена на Болотной, озаренная прожекторами, парила над сумеречной площадью. Казалась фантастическим ковчегом, спустившимся из осеннего неба в центре Москвы. Этот ковчег

доставил на землю загадочного
пришельца, чтобы тот отнял у
Чегоданова власть. Мощно и яростно
Градобоев возносил кулак, издавал
громогласные рокоты, и толпа
заколдованно и восторженно вторила
пришельцу.

— Чегоданов вцепился во власть,
как клещ, набряк русской кровушкой,
но все не может отпасть! Мы
поможем ему! Его власть
превратится в дым, который вьется
над трубкой смехотворного
режиссера Купатова. Все его
прихвостни, миллиардеры, чекисты,
вороватые чиновники,
телохранители, все эти Любашины,
Погребцы и Божки сбегут от него, и

он останется один, голый и жалкий, перед лицом разгневанного народа! — Градобоев умолк, и Чегоданов почувствовал, что с экрана на него устремлены насмешливые беспощадные глаза. — Чегоданов, я знаю, ты слышишь меня! Ты видишь меня! Посмотри мне прямо в глаза!

Лицо Градобоева увеличилось, заняв экран. Чегоданов видел его сильные, широкие скулы, бычий лоб и яростные немигающие глаза. Блестящие белки, черные зрачки, которые, как раскаленные спицы, пронзали Чегоданова... Он вдруг испытал ужас, темную неодолимую бесконечность, которая открылась в глазах ненавидящего человека.

Потрясенный, отвернулся от монитора.

Послышалось легкое похохатывание, щелканье каблуков. В кабинете появился президент Валентин Лаврентьевич Стоцкий. Его голова с выпуклыми влажными глазами, сытыми щеками и вьющимися приглаженными волосами была слишком велика для маленького изящного тела и делала всю его фигуру неустойчивой, шаткой. На нем был щегольской костюм, изысканный галстук, носки туфель слегка загибались, и было что-то мальчишеское в его щегольстве и что-то карикатурное в непропорциональном сложении. Он

появился внезапно и своим жизнерадостным видом нарушил общую тревогу и подавленность. Приблизился к Чегоданову, небрежно положил руку ему на плечо, насмешливо уставился на экран.

— Птичий базар! Кулики на болоте! А эта птица покрупнее кулика! — Он весело вслушивался в слова Градобоева, который грозил вынести Чегоданова из Кремля.

Чегоданов раздраженно повел плечом, стряхивая руку Стоцкого. Ему почудилось злорадство в словах президента, которому нравилось слушать, как хулят Чегоданова. Весь его легкомысленный вид, повадки плейбоя, сияющие выпуклые глаза

казались оскорбительными
Чегоданову в этот тревожный,
грозный момент. Мир начинал
колебаться, власть ускользала, и
внезапно появился опасный враг,
который собирал вокруг себя все
больше сторонников.

— Им не откажешь в
остроумии. — Стоцкий не замечал
раздражения Чегоданова. Со смехом
рассматривал плакатик, на котором
Чегоданов, вооруженный гаечным
ключом, завинчивал гайку на лбу
несчастливого интеллигента.

Все вскипело в Чегоданове. Все
было неприятно, почти
отвратительно в Стоцком.
Мучительный клубок сомнений и

подозрений зашевелился в душе. Мнительность и ожидание вероломства проснулись в нем. Обнажились весь риск и опасность интриги, связанной с выдвижением в президенты Стоцкого, когда у Чегоданова истек второй президентский срок и Конституция возбраняла избираться на третий. Тогда, убоявшись западных ненавистников, не желая прослыть узурпатором, он вверил власть своему приближенному, полагаясь на его верность и преданность, веря, что через четыре года тот вернет ему власть. С того момента, когда Чегоданов отступил на второй план и возглавил правительство, он не ведал

покоя. Ждал президентского указа, которым Стоцкий вышвырнет его из политики. Следил за либералами, которых принимал под свое крыло Стоцкий. Читал донесения агентуры, в которых передавалось содержание тайных переговоров Стоцкого с лидерами Америки и Европы. Все это теперь вскипело в нем, и страхи, исходящие с Болотной, слились с мучительными страхами в ожидании предательства Стоцкого.

Но Стоцкий, в своем инфантильном самодовольстве, не замечал состояний друга.

— Да, кстати, хотел тебе сообщить. Вчера у меня состоялся телефонный разговор с нашей

германской подругой. Она просила пересмотреть некоторые контракты, связанные с нефтью и сталью.

— Как ты сказал? Вчера? — глухо переспросил Чегоданов.

— Ну да, вчера. — Стоцкий, улыбаясь, смотрел, как над площадью поднимается воздушный шарик с надписью: «Я — Чегоданов».

— Почему, если разговор состоялся вчера, ты докладываешь мне об этом сегодня?

— Извини, забыл, — удивился Стоцкий. — Были встречи с лидерами думских фракций. Потом глава Ингушетии, правозащитники из «Мемориала». Вечером пел Элтон Джон, я думал, ты приедешь, и я тебе

доложу.

— Ты что, считаешь меня политической пешкой, с которой больше не нужно считаться? — с тихим, свистящим дыханием произнес Чегоданов, и Стоцкий, уловив этот знакомый свистящий звук, изумленно взглянул на Чегоданова:

— Федор, что ты! Я действительно забыл! Не хотел беспокоить! Повод ничтожный!

— Ты фазан с фальшивым хвостом! Упиваешься властью! Возомнил себя президентом! Говорил американскому послу, этому иудею из Висконти, что одним взмахом пера отправишь меня в

отставку и избавишь обе наших страны от чекистского последыша!

– Федор, не было этого! Нас просто хотят поссорить!

– Тайно встречался с этим глистом, который тратит свои миллиарды на болотную гниль! Если выборы вызовут волнения, ты признаешь их нелегитимными, назначишь перевыборы, где я не буду значиться, и ты выдвинешь свою кандидатуру? И тебя поддержит вся эта болотная тина?

– Федор, побойся Бога! Кто-то вбивает между нами клин! – Стоцкий посмотрел в сторону начальника охраны Божка, который остро и весело наблюдал разгоравшуюся

ссору.

— А эта твоя плоскогрудая вобла, пресс-секретарша, оплачивает статьи в либеральных газетах, где меня называют «палачом Чечни» и «российским Пиночетом»!

Стоцкий покраснел, его выпуклые глаза слезно заблестели, ляжка нервно дергалась, и этот тик, красный цвет пухлых дрожащих щек, выпуклые, воловьи глаза вызывали в Чегоданове ярость. Он чувствовал, как размыкается в груди обруч, в котором он умел удерживать свой нрав, свои тайные страсти, всплески эмоций. В грудь входит косматое, с огненной гривой чудовище, и лютый гнев начинает хлестать, как кровь из

разорванной аорты.

— Ты думаешь, ты президент? Думаешь, мир видит в тебе президента? Ты — дутыш, тряпичная кукла, манекен, восковая фигура! Ты фальшивая купюра, подсадная утка, моя маска, моя перчатка, мой носовой платок! Я сморкаюсь в тебя, а ты терпишь! Уроню тебя, и никто не подберет! Ты интересен миру, как дурацкий клоун, как карикатура на власть. В русскую историю ты войдешь как жалкий скоморох, опошливший само понятие власти, ее тайну, ее священную сущность! Поколения русских людей будут смеяться над тобой, и ты будешь отвратительней Лжедмитрия!

Чегоданов оскорблял Стоцкого, прилюдно унижал, топтал его гордыню, хотел, чтобы тот взорвался, кинулся на него с кулаками. Но Стоцкий жалко трепетал, лицо становилось смертельно бледным, краснота щек уходила к подбородку, на шею, утекала вниз за ворот рубахи. И эта жалкая униженность, безответная робость распаляли Чегоданова. Косматый гнев бушевал, танцевал в груди, и казалось, во рту, из которого излетали оскорбления, пышет огромная паяльная лампа, жжет и пытается Стоцкого.

— Я слепил тебя из папье-маше! Нарисовал тебе рот и глаза! Из тряпочек сшил тебе костюм!

Придумал тебе имя! Ты держишься на моих винтиках, дергаешься на моих веревочках! Вывинчу винтик, разорву веревочку, и ты рассыплешься на лоскуточки и щепочки! Ты меня слышишь? Ты не президент, а бумажка! Ты слышишь меня, бумажка?

Чегоданов хохотал, кричал, топал ногами, надвигался на Стоцкого, и все, кто был в кабинете, отпрянули, забились в углы. Смотрели, как за спиной Чегоданова на белой стене проступает красная клякса. Отпечаток убитого баррикадника, расплющенного выстрелом танка. Чегоданов уставился на ужасный оттиск,

испытывая смертельную немощь, опустошенность, словно косматое существо оставило его, унеся все душевные силы. Он был рыбой, из которой вынули внутренности и которая вяло колыхалась в воде.

— Прости, — едва слышно пролепетал, обращаясь к Стоцкому. — Это не я. Это бес в меня вселился.

Все покидали кабинет. Режиссер Купатов выронил трубку, и она осталась лежать на полу, источая голубой дымок.

— Останься, — сказал Чегоданов Кларе, беря ее за руку. Смотрел, как меркнет сочное пятно на стене.

ГЛАВА 3

В соседней с кабинетом комнате Чегоданов лежал на диване, а Клара сидела у него в головах и чуткими пальцами водила по его лбу, бровям, переносице, гладила темя, массировала, сдавливала. Словно лепила ему другое лицо, рисовала неведомые знаки и письмена. Чегоданов замер от этих нежных настойчивых прикосновений. Был весь в ее власти, отрекался от собственной воли, избавлялся от мучительных раздумий, подозрений и страхов. Эта прелестная восточная женщина с низким бархатным голосом, душистыми волосами,

мерцающими полузакрытыми глазами таинственно и неслышно овладела им. Окружила своими предсказаниями, гороскопами, начертаниями звезд и планет. Своим жемчужным лицом, переливами удлинённых глаз, загадочными стихами, взятыми из неведомых рукописей и пергаментов. Она казалась древней жрицей, хранительницей заповедных знаний, явилась к нему из ночного звездного неба, из юношеских волшебных мечтаний.

Теперь она гладила его лоб, словно разгребала тяжкие темные ворохи недавних огорчений. Так разгребают груды опавшей листвы,

отыскивая под ними уцелевший цветок. Так перелистывают полуистлевшие блеклые страницы, внезапно открывая драгоценную буквицу.

И не было черной клокочущей площади, ненавидящих насмешливых лиц, яростных глаз Градобоева, нелепой трубки Купатова, жестоких губ телохранителя Божка, предательского лика президента Стоцкого. А была та чудесная опушка и куст чертополоха с пучком сухого соцветия, из которого теплый ветер вырывал летучие семена. И они, как прозрачные лучистые звезды с крохотной сердцевинкой, летели по ветру. И он, мальчик, бежал за

летучим семечком сквозь заросли
желтой пижмы, сквозь розовые
лесные герани, распугивая бабочек,
сбивая с соцветий бронзовых жуков.
Желал догнать это семечко,
рассмотреть крохотное темное
ядрышко, в котором, по словам его
деревенской бабушки, находился
образок Богородицы. Семечко
взмыло, вспыхнуло на солнце и
кануло, а он остался стоять с
ощущением неразгаданной тайны, в
предчувствии своей будущей
загадочной жизни. Знал, что
запомнит это мгновение, сбережет
до последних дней эту
восхитительную сладость и боль.

— Колдунья, — Чегоданов

вернулся в явь из чудесного обморока, — что ты мне нагадаешь? Что говорят твои звезды? Что показывают твои карты? Неужели мое время прошло? Меня обожали, передо мною заискивали, моим именем называли детей, обо мне слагали песни, девушки мечтали родить от меня ребенка. Я выиграл войну, усмирив чеченцев. Я сохранил страну, от которой стали отваливаться Поволжье, Урал и Приморье. Я накормил народ, посадил его на иномарки, создал этот сытый, нарядный, свободный средний класс, который теперь выходит на площадь и хочет меня повесить. Моя популярность утекает

сквозь невидимую течь, и скоро я уподоблюсь моему предшественнику, в которого плевали, как в мусорную урну. Не понимаю, что случилось. Неужели я проиграю выборы и этот выскочка Градобоев отнимет у меня приверженность народа?

Чегоданов завел руки за голову, коснулся шелковистого платья, провел ладонью по круглому колену, касаясь теплого тела. Это тело было желанным, послушным, принадлежало ему среди вероломного, лживого мира, служило утешением и отрадой.

— Ты победишь, мой любимый. Как всегда побеждал, потому что имя твое — Победитель. Все звезды

говорят о твоей победе. Тебя охраняют Уран и Марс, а Юпитер ведет тебя к триумфу. Ты – космический цветок, который приплыл из Космоса, чтобы преобразить землю, спасти ее от иссушающих засух и беспощадных пожаров, от кровавых смут и разрушительных войн. Ты – цветок, с которого опадают серебряные лепестки и появляются золотые. Такие цветы вырастают раз в тысячу лет в саду небесного фараона. И за такими цветками ухаживают волшебные садовницы и небесные жрицы. Я твоя садовница и жрица. Вдыхаю твой аромат, целую твои золотые лепестки...

Все это Клара говорила низким бархатным голосом, нараспев, словно читала письма, начертанные на пергаменте. У Чегоданова туманились глаза, и он опять погружался в сладкий обморок.

— Может быть, Господь от меня отвернулся? Может быть, я не угадал его замысел и действовал против Его воли? Может быть, Господь нашел другого, кто выполнит Его волю? Может быть, мне нужно смириться и уступить?

— Ты мой червовый король, увенчанный победной порфирой. И рядом с тобой волшебная дама треф, ведущая тебя в золотой дворец. А твой соперник — бубновый валет, и

бубновая дама держит его за руку и ведет в черную бездну. Жемчужная змея и коралловый дракон меняют кожу, отсюда твои сомнения. Ты вернешься в золотой дворец, окруженный алой стеной, и на каждом зубце этой алой стены восседает дух, охраняющий твою Победу. Твоя судьба связана с Божественной тайной. Тебе предначертаны великие деяния, о которых говорят звезды и карты. Мои гадания сулят тебе триумфальное будущее.

Ее бархатный голос завораживал. Ее шелковые пальцы летали над его лицом, и от них оставалось свечение, словно в

воздухе трепетала золотая пыльца. Чегоданов грезил наяву, испытывал к ней благодарность, безграничное доверие. Среди коварных льстецов, верноподданных глупцов, затаившихся врагов и обманщиков она была единственная, кто чувствовал его страхи, тайные вожделения, необоримое стремление к власти и робкую тоскливую немощь.

— Ты права, я чувствую свою избранность, чувствую над собой длань Божью. У меня бывают видения, бывают указания свыше, уберегающие меня от гибели. Но я не могу угадать, чего от меня хочет Творец. За что Он дал мне власть над

страной, которой раньше правили великие цари и вожди.

— Ты слушай Вселенную, и найдешь ответ. Ответ в древесной коре, в крыле синей сойки, в блеянии овцы, в слезах святого старца.

Ее тонкий палец чертил у него на лбу таинственные вензеля, невидимые овалы и кольца. Словно солнце играло на воде, погружая в дремотную память золотые иероглифы. И в памяти загорались видения, вызванные ее вещими прикосновениями.

— Было дерево, из которого явилось знамение, — говорил он чуть слышно, погруженный в наркотический сон. — Тогда, в

Германии, где я служил офицером разведки. Уже все завершалось, все рушилось. Была сломана Берлинская стена, и западные и восточные немцы братались на берегу Шпрее, у моста с золотыми валькириями. Уже в панике покидала Германию Западная группа войск, на эшелоны грузили танки, бросали амуницию, склады. Армия, которая должна была пройти за три дня до Пиренеев, пробить насквозь Апеннины, теперь отступала под свисты и улюлюканье. Я понимал, что все было кончено. Приехал в Потсдам, где у меня была встреча с офицером Штази. Я видел в его глазах молчаливый укор, обвинение в предательстве, и это

было невыносимо. После встречи я отправился в Сан-Суси, в сырой весенний парк с желтевшими сквозь голые липы дворцами. Не было ни одного посетителя, была тишина и безлюдье, как будто жизнь покинула эту землю, где царила бесконечная печаль. Я испытывал бессилие, меня мучили болезненные предчувствия, ощущение близкой неизбежной беды. Я бродил по парку, где из сырой земли пробивались крокусы. Набрел на поваленную старую липу с морщинистой корой. Лег на ствол и, чувствуя запах распиленного дерева, мокрой земли, чуть слышный аромат цветов, заснул, желая укрыться в сон от своих мучительных переживаний.

Очнулся, будто кто-то коснулся меня перстом. Не было уныния, а была бодрая радость, восхищение. Я чувствовал, что мир, который на глазах разрушался, освобождает место другому миру, в котором мне уготована великая роль. Начинается мое время, меня ждет триумф. Я обнял поваленную липу и поцеловал его ветхую кору. Так в Потсдаме я услышал голос древесной коры.

Клара гладила его лоб, словно втирала волшебные мази, таинственные эликсиры. Ему казалось, что в память его погружается серебристая спираль, издавая чуть слышный звон.

— Слушай Вселенную, и узнаешь

ответ. Ответ на крыле синей сойки. Оно же крыло самолета.

— Верно, верно, было крыло самолета, — отзывался он на ее волхвования. — После Германии, когда рухнул Союз, я не находил себе места. Мыкался без дела, перебивался с хлеба на воду. Меня взял на работу мэр Ленинграда Ягайло, который уже задумал переименовать его в Санкт-Петербург. Это был яркий человек и пустой. Чрезвычайно деятельный и никчемный. Сыпал проектами и планами, и каждый из них был химерой. Я, как мог, помогал ему, снабжал город продовольствием и медикаментами, пополнял бюджет,

выполнял его личные поручения, иногда весьма сомнительные и рискованные. Он доверял мне, приглашал к себе в дом. Его жена, взбалмошная и похотливая, уже отхватила квартиру в лучшем доме на Фонтанке, где раньше жил князь Львов. Она скупала бриллианты, изменяла мужу направо и налево, а я сажал к себе на колени их резвую девчушку Паолу, одаривал ее колечками, заморскими часиками, и она души во мне не чаяла. Мэр Ягайло своей никчемной болтливостью, своим бездарным управлением, своими связями с бандитским Петербургом настолько надоел горожанам, что они

переизбрали его, а новый губернатор возбудил против него уголовное дело. Ему грозила тюрьма, все от него отвернулось, и он являл собой жалкое зрелище. Я тоже хотел было его бросить, отмыться от репутации его помощника и приверженца. Но офицерская этика не позволила мне это сделать. Я на свои деньги нанял самолет, открыл ему «окно» на границе и вывез в Париж. Сидел у иллюминатора, слушал его никчемный лепет, смотрел на белое крыло самолета и думал, зачем я с ним связался. И вдруг словно кто-то шепнул мне: «Ты поступил по заповеди. Благодетелей не бросают. Ты будешь вознагражден». Крыло

самолета дрогнуло, и я испытал радостный испуг. Значит, было крыло самолета!

— Слушай Вселенную, и услышишь ответ в блеянии овцы. — Клара нежно сжимала мочки его ушей, и он чувствовал, как из-под ее пальцев летят бесшумные зарницы, озаряют все недвижимое, послушное его воле тело.

— Было блеяние овцы. — Он удивлялся, почему прежде, среди множества событий и поступков, из которых состояла его беспокойная жизнь, он не замечал мгновений, менявших его жизненный путь. Пропускал знамения, через которые открывалось будущее. Зарницы,

слетающие с пальцев колдуньи, озаряли эти мгновения. — Я поселил незадачливого мэра в Париже, обеспечив ему достойное содержание. Вернулся в Россию, и меня подхватил вихрь неожиданных перемен. Мне явился могущественный олигарх, имевший огромное влияние на президента. Он и был овцой с блеющим голосом, с узкой, овечьей головой и библейскими глазами под узким лбом, переходящим в желтоватую лысину. Он сказал, что давно наблюдает за мной. Убедился, что я не предаю благодетеля. Что на меня можно положиться, а моя работа в разведке предполагает

государственное мышление, столь редкое в эпоху перемен. Он берет меня под свое покровительство и обеспечивает мне стремительную фантастическую карьеру, о вершине которой я не догадываюсь. Все это он говорил, заикаясь, блеющим голосом вещей овцы, и с этой минуты меня словно подхватили невидимые руки, переноса в Администрацию президента, в управление делами, в ФСБ, мое родное заведение, где еще служили мои бывшие начальники. Президент между тем дряхлел, ему отказывало сердце, он стремительно терял популярность. Все говорило, что ему придется отречься от власти. И вот

олигарх пригласил меня в свой знаменитый Дом приемов на Новокузнецкой и все тем же блеющим голосом вкрадчивой овцы предложил мне стать президентом. Я помню, как вдруг затуманилось окно, по которому стучал дождь. Как колыхнулось красное вино в хрустальном бокале. Как вдруг расширились и стали лиловыми, словно ночное небо, глаза олигарха. Я почувствовал себя на тонкой струне, натянутой в этом бездонном небе, струна дрожала, я готов был упасть, и кто-то невидимый поддерживал меня на этой зыбкой струне. «Согласен», — почти беззвучно произнес я и услышал в

ответ бляение библейской овцы. Что это значило? Кто поддерживал меня на струне? За что мне дана эта власть? Что меня ждет впереди?

— Слушай Вселенную, и услышишь ответ. Найдешь его в слезах святого старца. — Клара тихо дула ему на лоб, и у него под веками золотилось солнечное поле пшеницы, на которое с неба падал теплый ветер. Раздувал колосья, раздвигал до земли, и открывался крохотный, притаившийся василек, дивный синий цветок, который вырастал из его сердца и в котором пряталась тайна его бытия, загадка его появления на свет, неразгаданный смысл его судьбы.

– После того как я разгромил Масхадова, и прилетел в Грозный на боевом самолете, и стал любимцем народа и непревзойденным лидером России, я все чаще задавался вопросом: за что мне такое? Почему судьба выбрала именно меня? И я решил отправиться к чудесному старцу Иоанну Крестьянкину, который проживал в келье Псково-Печерского монастыря. Монастырь был прекрасен, на дне глубокого оврага, окруженный крепостной стеной, с множеством голубых и золотых куполов, которые напоминали чашки сервиза. Меня привели в келью. Старец был немощен, с белой, легкой, как пух,

бородой. Едва сидел в потертом креслице. Я подошел под благословение, поцеловал его холодную, костлявую руку. Спросил, что мне готовит судьба. Что должен я совершить, став правителем России. Старец молчал, мигал голубыми глазками, а потом вдруг заплакал, притянул мою голову и поцеловал в лоб. Так до сих пор и не знаю, что он угадал про меня.

Чегоданов поднялся с дивана, обожженный воспоминанием, словно до сих пор на лице горели слезы старца.

— В чем моя ошибка? Где я просчитался? Я создал миллиардеров, дав им на откуп

русскую нефть, русский лес и алмазы, а они изменили мне, финансируют эту свирепую площадь и этого выскочку Градобоева. Я создал этот средний класс, одел в норковые шубы, посадил на дорогие машины, поселил в престижные особняки, а они ненавидят меня, требуют моего свержения. Эта девчонка Паола Ягайло, дочь петербургского мэра, которая сидела у меня на коленях и которую я опекал, сделал звездой шоу-бизнеса, — она проклиняет меня. В чем я ошибся?

— Тебе нужен не вещий старец, а верный друг и советчик. — Клара откинула свои черные стеклянные

волосы, открыв белоснежную шею.

— Они называют меня вором. Ищут мои счета в банках Гонконга и Цюриха. Считают число построенных мною дворцов. Но разве они знают, что все эти накопления составляют мой тайный фонд, который я потрачу в момент национальной беды, верну народу в час несчастья? В моих дворцах будут жить сироты и инвалиды войны, которую придется пережить России. Разве они знают об этом?

— Тебе нужен верный друг и советчик, который тебе поможет.

— Сейчас они бушуют на площади, совещаются с американским послом, ездят за

границу за деньгами и консультациями. Но если они придут к власти, Россию рассекут на несколько частей и отдадут под эгиду иностранных корпораций и банков. Россию лишат ядерного оружия, уничтожат все ракеты, и навсегда исчезнет свободный русский народ и страна под именем Россия. Они этого хотят, сбесившиеся клерки и шоумены?

— Рядом с тобой должен быть друг и советчик, способный разгадать политический ребус. Узел затянут, но не время его рубить. Его еще можно распутать.

— Кто этот друг и советчик? Может быть, напыщенный, как

индюк, режиссер со своей фальшивой сталинской трубкой? Или полицейский, который тайно, пять раз в день, опускается на молитвенный коврик? Или преданный, верный шулер, ловко считающий фальшивые голоса в урнах с двойным дном? Ты же видишь, что кругом предатели и тупицы. Где тот друг и советник?

– Это Бекетов.

Чегоданов изумленно умолк, глядя, как Клара пропускает сквозь свои жемчужные пальцы стеклянные струи волос. Спокойное сероглазое лицо с тонкой переносицей и сухими губами, сжатыми так, словно они не договорили какую-то важную фразу,

возникло перед ним. Лицо его прежнего советника Бекетова, от которого он отказался, и тот исчез, как исчезает в ссылке опальный придворный, — это лицо появилось на миг, породив беспокойство и отторжение.

— Почему Бекетов? Ты ведь знаешь, что мы разошлись.

— Вы не разошлись. Ты отвернулся от него, и он покинул тебя. Живет вдалеке от Москвы в каком-то захолустном городке, тоскует не у дел, а здесь, вокруг тебя, копится зло.

— Он слишком много знал обо мне. Имел слишком много власти. Знал, как устроена власть. Умел этой

властью пользоваться. Он мог искуситься, воспользоваться тайными инструментами власти и направить их против меня. Мне казалось, он был не прочь стать президентом.

— Это наветы. Тебе нашептали ревнивцы и подленькие интриганы. Этот круглолицый, как евнух, Божок. Он подсовывает тебе своих агентов, безмозглых тупиц и доносчиков, а всех талантливых и дееспособных удаляет от тебя. Верни Бекетова.

— Он не любит меня.

— Он не любит тебя, но никогда не предаст. Он одержим одной идеей — сберечь государство. Он служит тебе и в твоём лице государству.

— Не знаю, так ли он умен и дееспособен. Он был хорош несколько лет назад, многое ему удавалось. Он мастер аппаратной интриги. Мастер философской риторики. Певец русского мессианства. Но теперь другая реальность. Народ сбесился, бушует на улице. Его не унять хитроумной придворной интригой или поэтической проповедью. Пора готовить войска. Ставить на кремлевских зубцах пулеметы!

— Бекетов обладает таинственным знанием. Поверь мне, я чувствую в человеке присутствие магических сил. Бекетов ощущает время как движение множества

потоков, которые текут из прошлого, с разной скоростью, разной прозрачностью, как поверхностные или донные струи реки, ее воронки, протуберанцы и завихрения. Он играет этими потоками, одни останавливает, другие ускоряет, смешивает, обращает вспять. Он управляет рекой времени. А это и есть высшая политика, недоступная твоим придворным политологам и интриганам. Прошу тебя, верни Бекетова. Тебе не нужно будет приводить в готовность войска. Бекетов усмирит сбесившийся народ, направит реку времени в безопасное русло.

— Не знаю, не уверен, что ты

права.

Он испытывал изнеможение, нежелание думать о черной стихии, которая бушевала вокруг. Била в стекла кабинета. Ударяла в стены загородной виллы, обнесенной тройным кольцом защиты. Вставала на пути несущегося с бешеной скоростью «мерседеса», окруженного лиловыми вспышками. Возносилась чернильной тучей, в которую влетал его белоснежный самолет. Ему хотелось погрузиться в медовую сладость ее прикосновений, в стеклянный блеск ее душистых волос, в шелесты ее шелкового платья с глубоким вырезом, в котором волновались ее жемчужные

груди.

Он закрыл глаза и на ощупь, как блаженный слепой, стал перебирать складки ее платья, отыскивая ряд маленьких шаровидных пуговиц, похожих на вишенки. Одну за другой расстегивал их, словно обирал вишневое дерево, угадывая ее улыбающиеся губы. Расстегнул все вишенки до одной и распахнул платье, ощутив лицом благоухающее тепло ее тела. Медленно, слепо и сладостно приблизил губы и целовал ее послушную наготу, чувствуя, как прохладное плечо переходит в душный жар подмышки, как волны дышащего живота сменяются едва ощутимым биением жилки на

гладком бедре. Каждый его поцелуй оставлял на ее коже нежное свечение, которое несколько мгновений трепетало и гасло, как гаснет ночное море, наполненное таинственным светом. Он целовал ее ноги, чуткий живот, вьющийся теплый лобок. Ему было чудесно. Он был садовник в заповедном саду. От его поцелуев распускался дивный бутон, увеличивались сочные лепестки, и он погружал пьющие ненасытные губы в медовую сердцевину, пьянея, как шмель. Цветок увеличивался, лепестки становились огромными, сердцевина наполнялась огненным золотом, которое переливалось в него, и он

плавился в этом нестерпимом свете, пропадал, счастливо умирал, оглашая мир прощальным воплем. Осыпался невесомым пеплом.

Медленно обретал плоть, дыхание, зрение. Клара смотрела на него улыбаясь. Нехотя продевала пуговицы в петельки застежки.

— Я услышал тебя. Верну Бекетова. — Чегоданов затягивал узел галстука, направлялся в кабинет, где его поджидал пресс-секретарь.

ГЛАВА 4

Андрей Алексеевич Бекетов, сорокалетний шатен с чистым лбом и платиновой сединой на висках, имел блестящие живые глаза, которыми спокойно и доброжелательно смотрел на собеседника. Но вдруг глаза начинали плавиться, как синий лед на солнце, в них открывалась пугающая глубина, откуда смотрели неземные миры с их ужасной тьмой, отчего собеседник приближался к обмороку. Это длилось мгновение, и опять смотрели живые блестящие глаза, полные ума и внимания. А бывало, что в самый разгар беседы глаза Бекетова загорались

таинственным восторгом. Начинали смотреть поверх собеседника, как смотрят на зарю или на далекий синий лес, над которым встает белое дивное облако. Но и это длилось мгновение, после чего Бекетов возвращался к беседе, и только легкий румянец говорил о пережитом восторге.

После своей размолвки с Чегодановым, у которого оба президентских срока состоял советником, Бекетов покинул Кремль и исчез из Москвы, не оставив по себе следов и известий, что породило немало слухов. Журналисты желтых газет писали, что он женился на английской баронессе и живет в

замке в предместье Лондона. Другие утверждали, что видели его на автосалоне в Токио и он стал консультантом по России в концерне «Мицубиси». Третьи говорили, что Бекетову было видение, он постригся в монахи и теперь живет уединенно в бедной келье на горе Афон.

На самом же деле, разочарованный в политике и в президенте, утомленный хитросплетениями московских интриг, которые сам же и наплел, Бекетов уехал в провинцию и поселился в захолустном городке М. Погрузился в чтение русских волшебных сказок, хроник, повествующих о старце Филофее, в

Житие патриарха Никона, в учение космиста Николая Федорова, в историю Сталинградской битвы. Иногда он заглядывал в Интернет, наблюдая, как в социальных сетях, подобно огромной опухоли, взбухает протестная волна. Дурная энергия этого протеста, подобно раковым клеткам, разлеталась по сайтам и блогам, поедая неумное и беспомощное государство. Закрывал компьютер, запрещая себе думать о близкой беде.

Он вникал в теорию «Москва – Третий Рим», рассматривал карты Сталинградских боев, отыскивая хутор Бабуркин, возле которого погиб его дед. И его размышления были о

русской святости, неисчислимым русским страданиям, о райской мечте, спрятанной в глубинах изнуренной и ожесточенной русской души.

В Москве он оставил прекрасную квартиру, доставшуюся от родителей. Кроме книг, захватил в городок глиняный горшок с орхидеей, которую подарили ему вскоре после кончины мамы. Через полгода, в зимних сумерках, орхидея зацвела, раскрыв на сочном стебле несколько восхитительных белых цветов с малиновой сердцевинкой. Ему показалось, что это мама прислала ему с неба букет, в знак своей вечной любви. Он молился на цветы, целовал, зная, что в цветах живет

мамина душа. С тех пор цветок больше не цвел, но Бекетов взял его с собой в городок и все ждал, что на стебле появятся новые бутоны.

Теперь он двигался по кривым улочкам городка М. и думал, сколь печален удел маленьких русских городков. Вдалеке от железных дорог и заводов, одни, как огарочки, чуть теплятся, рассыпая последние искорки. Другие потухли навек со своими облупленными, осевшими на бок домами, одичалым народом с унылой пустотой в запавших глазах. Когда-то в этих городках бурлила жизнь, торговали именитые, известные на всю Россию купцы, рождались Лесковы и Бунины, сияли

имена подвижников и святых. Теперь печаль и забвение. Эти городки, как малые ключики, из которых тянулись бесчисленные ручейки, сливались в могучие реки русской жизни. Теперь ручейки затянулись илом, завалены мусором, вокруг ни журчания, ни сверкания воды, а иссыхающие, с синеватой тиной болотца.

Так думал Бекетов, блуждая по городку М., окруженному просторными полями, уже лет двадцать не знающими плуга, зарастающими мелколесьем. Московские толстосумы скупили эти земли у разоренных крестьян да так и забросили, отдавая на поедание бурьянам и ланным кустарникам.

Прежде в этих окрестностях жили колхозы и совхозы, колосились хлеба, в городе было зернохранилище, склады овощей, работал молокозавод, ремонтировались трактора и комбайны. Люди имели работу. Строились школы, детские сады, Дома культуры. Жизнь не сверкала яркими красками, но дарила людям достаток и спокойную уверенность. Однако среди этой обыденной жизни печальной укоризной веяло от разрушенных соборов и разоренных церквей, и в небе, где когда-то золотились кресты, больше не перекликались колокола окрестных приходов.

Улица, по которой шел Бекетов,

называлась улицей Мира. А когда-то она звалась улицей Сталина. А до этого – улицей Троцкого. А изначально – Воздвиженской, потому что вела к городскому кладбищу, где стояла церковь Воздвижения. А вот огромный собор с колоннами, в строительных лесах, но уже с золотым крестом, сооруженный в честь победы России над Наполеоном. Колокольня у собора обшарпана и полуразрушена. На ней высокие часы с черным циферблатом и золотыми стрелками, пущенные в конце XIX века и с тех пор продолжающие ходить. Среди горожан живет часовщик, который многие годы на свой страх и риск раз

в неделю лезет на колокольню и заводит часы.

Если в городе случается несчастье, загорится чей-нибудь дом, на пожар сбегается множество людей. Передают из рук в руки ведра, заливают огонь, выносят остатки скарба. А потом погорельцу собирают деньги, ищут рабочих, строят новый дом, как водилось в доброе русское время.

В старом парке, посаженном купцами, проходят концерты и увеселения. А над обрывом стоят два гипсовых оленя, в память тех жителей, которых расстреляли чекисты. Местные краеведы расскажут истории, от которых

сладостно захватывает дух и начинает колотиться сердце. Ты вдруг чувствуешь, что в голых осенних деревьях веют не просто ветры, а духи русской истории и синеет в небесах восхитительная русская тайна. И тебя в этот город привел сам Бог. Ты благодаришь Его за то, что Он поставил тебя перед этой выбеленной монастырской стеной, перед этим деревом, полным вороньего крика. Здесь, в этом городе, построенном до нашествия Батыя, русская история начертала свои волшебные письмена.

М. — город русских цариц, откуда повелась романовская династия. Отсюда разоренная Смутным

временем Русь получила
чудотворную женственность. Отсюда
первый Романов, царь Михаил
Федорович, взял в жены красавицу
Евдокию Стрешневу, которая родила
ему сына Алексея Михайловича, отца
будущего Петра Алексеевича. А Петр
из этих же мест взял жену Евдокию
Лопухину. И этот клочок голубого
неба в голых вершинах, домашний
цветок на окне, золотые стрелки
часов на черном циферблате – все
дышит мистикой русской жизни,
началом и завершением царств,
расцветом и гибелью династий,
великим торжеством и ужасной
трагедией.

В этих неясных раздумьях

Бекетов вышел к белым стенам Свято-Георгиевского монастыря, где его принял в архиерейских палатах настоятель отец Филипп, который являлся для Бекетова единственным собеседником в его добровольной ссылке.

Они сидели под образами и пили чай с медом, вкушая горячие булочки монастырской выпечки, которые на фарфоровом блюде поставила на стол безмолвная келейница.

— Я вот думаю, отец Филипп, не случайно из этого городка явились две царицы. Что-то особенное, таинственное дышит здесь, какой-то дух витает, если русские цари искали

здесь своих суженых. Что это, отец Филипп? — Бекетов отпивал чай из нарядной фарфоровой чашки, глядя на белобородое, крестьянское лицо настоятеля, на котором труды и заботы положили тяжелые морщины. Среди этих утомленных морщин, из-под седых бровей, радостно сияли немеркнущие синие глаза. — Как это объяснить, отец Филипп?

— Это место, Андрей Алексеевич, благословенно. Над этим местом длань Божья. Я замечал, что в августе, когда ночи темны, здесь, над холмами, воздух светится, и кажется, что в полях идет прозрачная женщина. Быть может, душа царицы. Здесь, в народе, такие

женские лица встречаются, что хоть иконы пиши. К нам в монастырский храм девочка приходит, у которой дар. Она ручку к погасшей свече протянет, и свеча загорается. У нас женский хор бесподобный, с ангельскими голосами. Слушаешь, и слезы текут от такой красоты.

— Быть может, отец Филипп, отсюда снова будет явлена дивная женщина? Почему же три века она не являлась?

— Значит, ждет своего часа. Чудо, оно дремлет в народе, ждет своего часа. Будет явлено по воле Божьей. В народе много что дремлет и ждет часа, чтобы явиться. Иной раз кажется, что в народе поселился

зверь, того и гляди, сам себя разорвет. А иной раз кажется, что только Россия со своей святостью – миру спасение. – Отец Филипп не старался объяснить Бекетову тайну жизни, а только свидетельствовал, что тайна существует.

– Похоже, сейчас, отец Филипп, в народе и впрямь явился зверь. Дремал, дремал да и проснулся, как косматый медведь, встал на задние лапы. Что говорят люди на папертях? О чем шепчутся богомольцы? Что ждет?

– Один батюшка побывал на Афоне, беседовал с афонскими старцами. Те говорят, на Россию опять нападут бесы и станут мучить,

губить русских людей. И опять пойдет брат на брата. И станут храмы рушить. А священников и монахов станут живьем в кипятке варить. И мука эта будет до тех пор, пока в России не воссияет православный царь. Тогда всем смутам и мукам конец, и Россия станет могучей и будет всему миру – спасение.

– Похоже, бесы уже напали, отец Филипп. В Москве опять революция. Опять шатается Государство Российское.

– Вы, Андрей Алексеевич, большой русский государственный. По моему разумению, быть может, самый большой. И позвольте вам высказать мое скромное мнение,

Андрей Алексеевич, и пусть оно вас не обидит. Мне кажется, вы напрасно в такое тревожное время оставили без поддержки Федора Федоровича Чегоданова. Вы так ему помогали и так трудились на благо Отечества. И мне кажется, сейчас он нуждается в ваших советах. Если не он станет президентом, а этот безумный смутьян, случится большая беда, и вы за это в ответе. Простите скромного монаха за это высказывание.

— Отец Филипп, я на покое. Я как Меньшиков в Березове. Я опальный придворный. Я устал от интриг, от человеческой ненависти, от человеческой неблагодарности. Здесь у меня есть время подумать,

есть время помолиться. Здесь мне открываются смыслы русской истории.

Монах кивнул, пропустив седую льющуюся бороду сквозь коричневые стариковские пальцы. А у Бекетова засияли глаза, и он устремил их поверх головы настоятеля, словно видел вдалеке синие леса и озера, благословенную райскую даль с чудесной негасимой зарей.

— Государство качается, Андрей Алексеевич. Если упадет, море русской крови прольется. У Федора Федоровича мало добрых советников. Вам бы, Андрей Алексеевич, вернуться и поддержать президента.

— Да он меня сам в опалу отправил. Я вернусь, поддержу, а он меня снова в ссылку.

— Это гордыня в вас говорит, Андрей Алексеевич. Вы гордыню смирите и возвращайтесь в Москву. Вы сказали, вам открываются смыслы русской истории. А смыслы ее в том, что русский человек забывал все обиды, когда государство начинало качаться, и шел его спасать. Надо России еще шесть лет продержаться. Выиграть у бесов шесть лет, а потом они сами отступят.

— Почему шесть лет, отец Филипп?

— Как раз тот срок, какой наш

президент будет править. Он, Федор Федорович, будет последним президентом. Через шесть лет, говорят на Афоне, явится в России молодой и могучий царь, и Россия будет неодолима.

— Да откуда же взяться царю? Династическая линия прервана, законных наследников не осталось.

Монах умолк, устремив на Бекетова синие, под седыми бровями, глаза.

— Есть такое пророчество, что будущий царь будет взят из династии по женской линии.

И сколько ни старался Бекетов подробнее узнать у монаха о пророчестве, отец Филипп молчал,

словно в бороде вместо рта была коричневая сургучная печать.

Откланявшись, Бекетов шел домой по сырому вечернему городу, думая о пророчестве. Быть может, здесь, в городе М., родине двух цариц, передается от женщины к женщине тайный завет, по которому одна из них, согласно пророчеству, родит царя. И быть может, царь уже родился и живет в городке, никому не известный. Ходит по мокрым улицам, смотрит на часы с золотыми стрелками, на цветок в туманном окне. И если всматриваться в лица встречных отроков, вдруг заметишь над головой одного из них тихое золотое свечение.

Бекетов услышал за спиной рокот мотора. Яркий луч высветил грязь под ногами. Обернулся. Перед ним остановились забрызганный грязью «мерседес» и тяжеловесный джип сопровождения. Из «мерседеса» поднялся начальник президентской охраны Божок. Его бабье лицо вызвало у Бекетова отторжение.

— А я за вами, Андрей Алексеевич. Федор Федорович велел вас доставить.

— Это как же, Петр Степанович, силой, что ли? В наручниках?

— Зачем вы так, Андрей Алексеевич. Вас все любят, все уважают.

– Разве не вы, Петр Степанович, нашептывали президенту, что я плету заговор и мечтаю занять его место в Кремле?

– Да что вы, Андрей Алексеевич, я ваш друг, лучший друг. Мы вместе служим нашему президенту. А друг моего президента – мой друг. – Божок сладко улыбался, но розовые, свиные глазки на его круглом лице горели, как злые угольки.

– От вас не спрячешься, Петр Степанович. Вы бы Иону в чреве кита отыскиали.

– Это точно, – засмеялся телохранитель.

Бекетов зашел в свою маленькую квартирку, захватил заветный горшок

с орхидеей, и вскоре они мчались по
темному шоссе, пружиня на ухабах, и
в свете хрустальных фар мелькали
первые снежинки.

ГЛАВА 5

Перед визитом к Чегоданову машина завезла Бекетова на его московскую квартиру, остановилась у тяжеловесного сталинского дома на Тверской. Божок подарил Бекетову полчаса. Бекетов отомкнул дверь, вдохнул теплый, с застоявшимися запахами воздух, в котором, казалось, висели застывшие звуки трехлетней давности. В спальне кровать была застелена пестрым пледом, на котором сохранились небрежные складки. В кабинете, на отцовском столе, лежал томик Лермонтова, который он, уезжая, забыл поставить на полку.

Африканские маски, голубые афганские вазы, кампучийские бронзовые колокольчики – фетиши и трофеи отца – все было в налете пыли. Фотография матери и отца казалась тусклой, и он ладонью стер с нее пыль, поцеловал любимые лица. Он поставил на подоконник заветную орхидею и смотрел, как за стеклом мерцает сверкающее перекрестье. Сначала вскипал стремительный скользящий поток Тверской, и казалось, что бесчисленные блестящие рыбины несутся к нерестилищу, трутся сверкающими боками. Поток прерывался, и в открывшуюся пустоту, пересекая Тверскую, мчался

другой поток, по Тверскому бульвару, полыхал сквозь деревья бессчетными огнями. Бекетов любовался этим пульсирующим раскаленным крестом, вспоминая, как отец в детстве ставил его ногами на подоконник и они вдвоем замороженно следили за этой огненной стихией.

Он открыл форточку, и в комнату ворвался рокот и гул города, холодный осенний воздух, запах бензина и палой листвы. Этот гул и свежий сквозняк разбудили тени остановившегося в комнатах времени, и они разбежались по углам и исчезли. Бекетов поставил томик Лермонтова на полку, где оставался

для него небольшой зазор, и отправился на свидание с Чегодановым.

Начальник охраны Божок доставил Бекетова в резиденцию Новоогарево. Знакомые каменные ворота, двухэтажное здание с колоннами, с кустами укрытых роз, голые липы, в которых синел предзимний клочок холодного неба. Бекетов испытал мимолетную сладкую боль от этой беззащитной лазури, которую скоро закроют свинцовые тучи долгой русской зимы с ее снегами и ночными буранами.

Они встретились с Чегодановым в кабинете на втором этаже, сохранившем убранство поздних

советских времен с их чопорной сдержанностью, где рациональность и деловитость напоминали о пуританской этике советских вождей. Чегоданов, в легком свитере и рубашке апаш, шел навстречу Бекетову, протянув вперед руку. И пока он приближался, Бекетов успел заметить, как тот похудел и осунулся, какое растерянное и тревожное выражение появилось в его глазах.

— Ну, спасибо, Андрюша, что откликнулся на мое приглашение. Прости, что прервал твой отдых. — Чегоданов цепко и страстно сжал Бекетову руку, словно боялся, что тот вырвется и оставит его одного. — Мне так нужна твоя помощь.

— Попробовал бы я не откликнуться. Божок был готов надеть на меня наручники и всю дорогу тыкал мне в ребро пистолетом, — сухо усмехнулся Бекетов, отнимая руку, на которой мгновение держались белые оттиски болезненного рукопожатия. — Он сказал, что велено доставить живым или мертвым.

— Ну, прости его, он не умеет быть любезным. Ты приехал, и я так тебе благодарен. — Чегоданов усаживал Бекетова на диван, почти вдавливал в мягкие кожаные подушки.

— Признаться, когда мы расстались и ты дал понять, что во

мне не нуждается, я решил, что мы больше никогда не увидимся, — отчужденно и холодно произнес Бекетов. — Тебе больше не нужна была моя помощь. Я мешал тебе моими советами. Ты выбрал других советников, другой путь, свернув с дороги, по которой мы шли вместе. Что ж, ты вправе был так поступить. Ты видел страну, ее цели и ее проблемы, иначе, чем я. Ты лидер, ты творец истории, а не я. Я только угадывал твою волю и превращал ее в реальную политику. Но потом я перестал угадывать, и ты удалил меня. Так поступил с патриархом Никоном царь Алексей Михайлович, а ведь Никон был «собенный друг

царя».

— Это была ошибка, Андрей. Я в этом раскаиваюсь. Я был самонадеян, неблагодарен. Мне сопутствовал успех, мне все удавалось. Мне удалось построить нефтяную империю, и Европа пила из моих ладоней русскую нефть. Я стал «Человеком года», и мой портрет красовался на обложках самых влиятельных мировых журналов. Передо мной заискивали американцы, и я прекратил одностороннее разоружение России. Я установил баланс между Америкой и Китаем и играл на их противоречиях. Наша внутренняя оппозиция из стальной стала

пластилиновой. Самодовольные кавказцы не долго выбирали между бомбовыми ударами и обильными траншами. Мне привозили напоказ головы Басаева, Гелаева, Яндарбиева. Я спрашивал судьбу, за что она благоволит ко мне. И объяснял свой успех моими достоинствами. Поэтому я не слушал твоих предостережений. Был насмешлив с тобой, даже груб. Как же я был неправ! Ну, прости меня, Андрей! Ты мой друг, единственный, верный. Ты вернулся, и теперь мы опять будем рядом. Скажи, ты прощаешь меня?

Все это Чегоданов произнес порывисто, страстно, по лицу его бегали малиновые пятна. Бекетов

никогда не видел его таким. Где была его знаменитая язвительная ирония, обескураживающая собеседников? Где было легкомыслие и изящество плейбоя, которым он очаровывал своих противников? Где была беспощадная жесткость, свинцовая тяжесть голубоватых, чуть выпуклых глаз? Перед Бекетовым сидел растерянный, почти сломленный человек, похожий на слепца, которого окутала внезапная тьма, и он чувствовал близость невидимой бездны.

— Но ведь тебе помогает достойная команда. Глава администрации Любашин обладает недюжинным умом. Режиссер

Купатов создает талантливый дизайн
твоей предвыборной кампании.
Погребец контролирует
избирательный процесс. Чего ты
опасаешься?

— Все это мнимо, мнимо! Я
страшно одинок. Все, кого ты
перечислил, были хороши, когда
общественное море оставалось
спокойно. Их прогнозы, их
технологии не предполагали
откровения, были очевидны. Но
теперь, когда разразилась буря, они
бесполезны. Их советы примитивны,
они выглядят бездарными трусами.
Когда власть закачалась, то
закачались их клятвы и присяги,
многие перебегают к противнику.

Агенты сообщили, что между Китаем и Америкой ведутся тайные переговоры о возможной аннексии Сибири и Дальнего Востока. МИД не докладывал мне об этом. Американцы устанавливают на Аляске системы новых вооружений, способных воздействовать на биосферу России, менять климат, возбуждать пожары и засухи, наводнения и ледяные дожди. Где мое Министерство обороны и военная разведка? Европейцы создали технологии по извлечению сланцевого газа, а это бьет всю мою газовую империю. Война на Кавказе разгорается с новой силой, а у меня почти нет армии. В губерниях

возрождается сепаратизм, и среди губернаторов, моих же назначенцев, зреет заговор. Ты знаешь о моих отношениях с женой. Она чудесная, милая, но ее сразил недуг. Я вынужден был отослать ее в монастырь под надзор монахинь. Патриарх, который всегда благословлял меня, как помазанника, теперь смотрит тусклым взглядом, и бог знает, что у него на уме. И, главное, Стоцкий, эта липкая улитка, которая шевелит своими чуткими рожками и ищет момент, когда можно меня предать. Он выглядел другом, а оказался тайным врагом. Почему власть, вчера еще такая крепкая, незыблемая, вдруг стала

сыпаться, оседать, проваливаться в какую-то яму? Откуда взялась эта Болотная площадь, переполненная моими вчерашними выкормышами, которые сегодня меня ненавидят? Откуда, из какого омуты, всплыла эта гадкая рыбина Градобоев? Объясни, что случилось?

Бекетов был поражен этой жалобной, слезной исповедью. Затравленным, обреченным видом еще недавно гордого, надменного властелина. Баловня судьбы, любимца народа, талантливый игрок и искусный волевой политик. Смертельная тоска была в глазах Чегоданова. Невыносимая боль, словно его укусила змея и яд

лился в крови, причиняя мучение. Бекетов испытывал к нему сострадание, перед которым отступили былые обиды.

— Причина в том, что стал разрушаться кристалл государства, который мы вырастили с тобой из этой липкой медузы, расплывшейся между тремя океанами. Мы заморозили эту гадкую жижу и остановили ее растекание. Мы превратили эту отвратительную, доставшуюся от предшественника слизь в твердое вещество. В кристалл, который взрастили благодаря нашим технологиям. Мы создали кристаллографию, которая снова превратила Россию в

государство.

Бекетов испытал сладостное торжество, вернувшее его в недавнее прошлое. Видел этот драгоценный кристалл с зеркальными гранями и лучистыми вершинами. В сияющих плоскостях гуляли разноцветные переливы, распускались радуги, отражались багровые зарницы и сполохи. Словно в кристалле клубились волшебные стихии истории, вторгались таинственные энергии мира, звучала космическая музыка. Бекетов взращивал этот кристалл государства в незримой реторте. В ней клокотала магма людских страстей и политических схваток. Террористических актов и

военных сражений. Дворцовых интриг и утонченных диверсий. Плавилась обломки прежней страны, осколки прошлых идей, остатки былых репутаций. Как искусный металлург, он управлял этим жгучим кипением, менял температуру, давление, удалял кислоты и шлаки. Видел, как в огненной жиже, среди пузырей и вихрей зарождается кристалл государства. Формируется его таинственная геометрия. Геометрия новой страны.

Бекетов восхищенным остановившимся взглядом созерцал это дивное творение.

– Я предложил тебе технологии, управляющие социальными

энергиями. Я чувствовал эти энергетические потоки, льющиеся с разной скоростью, с разной плотностью и прозрачностью. Одни из древних времен прихотливо достигали наших дней. Другие из близкого прошлого продолжали нести обветшалые смыслы. Третьи, зарождаясь на наших глазах, принимали вид непредсказуемых вихрей и взрывов. Я умирал эти взрывы, устраивал ловушки, в которых гасил опасные завихрения. Замедлял одни потоки и убыстрял другие. Сталкивал их и гасил. Выбирал из них те, что способствовали росту кристалла. Уменьшал разрушительную силу

других. Меня ненавидели, потому что я укрощал эгоизм политиков и безумство политических партий. Разрушал репутации самонадеянных выскочек, используя для этого подчас аморальные методы. Прослушивал телефонные разговоры. Обнародовал банковские счета. Подкладывал им в постели дорогих проституток, а потом вывешивал фотографии в Интернете. Я запускал ложную информацию, которая побуждала наших противников к необдуманным действиям, после чего они оказывались ослабленными или уничтожались. Я создавал молодежные организации, которые подавляли уличных экстремистов. Я

вносил идеологическую путаницу в ряды коммунистов и националистов. Вел тонкие игры с еврейской интеллигенцией, отдавая им на откуп газеты и радиостанции, где их ядовитая энергия свертывалась и выпадала в осадок. И мне удалось ценой невероятных усилий вырастить кристалл молодого Русского государства, которое я передал тебе в руки.

— Все так, все так, Андрюша! Ты настоящий маэстро, и тебе нет равных! — воскликнул Чегоданов с благоговением.

— Но ты не воспользовался моим подарком. Этот кристалл предстояло лелеять, вливать в него струи новых

энергий, пронизывать пучками лучистого света, вносить в трепещущее поле живой истории. Этот эмбрион государства еще предстояло выносить, добиться родов, чтобы родившаяся страна увидела свет, задышала, открыла глаза. Ты обладал в народе громадной популярностью. Ты накопил в казне несметные нефтедоллары, которые подарил тебе Ермак Тимофеевич, завоевавший Сибирь. Мы говорили с тобой о развитии, о рывке, который предстоит совершить России. О строительстве заводов и научных центров, звездолетов и детских больниц. О справедливой стране, о которой мечтал народ, униженный и

оскорбленный захватчиками. Мы хотели создать Великую Россию, которую каждый человек считал бы своей. Строил ее, как огромный и светлый дом между тремя океанами. Сберегал таинственную евразийскую чашу, куда во все века стекались реки великих империй. Ты мог разбудить дремлющие в народе коды, задавленные нуждой и унынием, и народ, очнувшись, стал бы снова народом-героем, народом-открывателем и подвижником. Ты мог написать великую и грозную книгу, в которой тебе судьба отвела великое место. Мы говорили с тобой об этом в самолете, когда ты летел на изнурительные переговоры в

Вашингтон. Говорили в гарнизонной гостинице после твоей душераздирающей встречи с вдовами утонувшего «Курска». Говорили в келье Тихвинского монастыря, когда ты приложился к чудотворной иконе. Это было время крошечных трудов и ослепительных надежд.

Бекетов видел, как на лице Чегоданова появилась мучительная улыбка, словно мимо него проносили дивный фонарь, но было не дано насладиться его волшебными отсветами. Фонарь удалялся и меркнул.

— Ты обманул судьбу, обманул ее ожидания. Не захотел писать книгу истории. Испугался великой роли.

Не начал модернизацию. Бездарно израсходовал накопленные для развития деньги. Промотал ресурс исторического времени. Не оправдал доверие народа, который разлюбил тебя. Тебя словно подменили. Было странно смотреть, как ты упиваешься своим участием в привилегированных международных клубах, делая противникам России уступку за уступкой. Млеешь от дружбы с европейскими лидерами, этими ничтожными выморочными клерками. Как тобой овладел бесстыжательства и ты рассовывал свои нефтяные и газовые накопления по мировым банкам, и это не укрылось от народа. Ты строил себе дворцы на

всех побережьях, на всех горнолыжных курортах мира, а русские городки и села гнили, а вместе с ними сгнивал народ. Ты почти перестал работать, а все время уделял бассейнам, лыжам и безвкусуху пиару, который придумывал постаревший, утративший талант режиссер. Чего стоят твои фальшивые поездки на канареечном автомобиле, или твой голый торс, возбуждающий стареющих женщин, или зоологические пристрастия с поцелуями рыб и животных. Кристалл, который требовал ухода и взращивания, ты уронил в грязь Болотной площади, и он стал таять,

потек. Вновь превратился в жидкость. Я упрекал тебя, но ты не слышал меня. Я досаждал тебе и поэтому решил уехать. Твоя неудача — это и моя неудача. Твое поражение — и мое поражение. Судьба от тебя отвернулась и повернулась к другому. К кумиру Болотной площади. Его питают бурные потоки истории. Его они возносят на вершину власти. Он станет президентом России. Придворная челядь, которая клялась тебе в верности, чувствует это и перебегает к нему. Таков удел слабеющих вождей. Ты, Федор, — слабеющий вождь.

Бекетов увидел, как страшно побледнел Чегоданов. Казалось, на

его скулах выступили белые кости. Ноздри гневно дрожали. В выпуклых голубоватых глазах появился красный металлический отсвет, какой бывает в жаровне, полной углей. В нем поднималось свирепое бешенство, припадок безумия, который сопровождался слепым сквернословием, взмахами рук, желтой пеной у рта.

– Ты приехал, чтобы глумиться надо мной? Может быть, ты снюхался с этим уродом Градобоевым? Может быть, ты вошел в его штаб и используешь свои чертовы технологии, чтобы валить меня? Ты такой же предатель, как вся остальная мразь, которую я

приблизил к себе, и она теперь кусает руки, из которых получала корм?

У Чегоданова начиналась истерика, которая случалась с ним крайне редко. Лишь в тех случаях, когда его воля подвергалась колдовским воздействиям. Тогда он лишался вкрадчивого голоса, самообладания, умения скрывать мысли. Он больше не справлялся с темной волной, которую направляли на него специалисты психологических войн, мастера магических атак, имеющих целью парализовать и разрушить противника. Так было однажды, в день его рождения, когда убили

известную журналистку, неутомимую в своих обличениях Чегоданова. Это называлось «сакральной жертвой». У человека в день рождения оживает пуповина, связывающая его с мирозданием. Он становится беззащитным перед внешним воздействием. Убийство журналистки, эта «сакральная жертва», страшный подарок в день именин, породил пучок смертоносной энергии, которая вонзилась Чегоданову в пупок. Он корчился от боли, ревел от бессилия, изрыгал брань и проклятия, и казалось, что он впал в безумие. И только явившийся по срочному вызову монах с молитвой вырвал из

пупка Чегоданова невидимую стрелу. Пустил ее обратно, в сторону незримого лучника.

– Ты явился, чтобы добить меня? Сказать, какое я ничтожество? – Чегоданов воздел кулаки, и казалось, обрушит их на голову Бекетова.

Бекетов поднялся, холодно, отчужденно глядя на волчье лицо, с желтой пеной у оскаленного рта.

– Я приехал по твоему зову и не мог не сказать того, что я думаю. Теперь я вижу, что мой приезд не имеет смысла. Я уезжаю.

Он шагнул к дверям, но Чегоданов догнал его, схватил за руку:

– Прости меня, Андрей! Это бес

в меня вселился! У меня больше нет сил бороться! Останься! Ты прав, ты прав, я растерял мой успех, судьба от меня отвернулась! Помоги! – Его гнев схлынул, и теперь он был жалок, умолял, был похож не на волка, а на собаку, которой перебили хребет.

Бекетов испытал острое сострадание. Чувствовал раскаяние за свой беспощадный приговор.

Снова сел на диван, видя, как в окно кабинета брызнуло бледное предзимнее солнце. И далекое, мучительно нежное воспоминание посетило его. Бабушка ведет его в школу, под ногами сизая лужа во льду, а сквозь голые липы брызнуло бледное предзимнее солнце.

– Ты прав во всем! Но не время об этом! Нам надо выиграть, не пустить в Кремль это чудовище, порождение спальных районов, черных подворотен, озлобленной глупой толпы! Мы победим, и после победы, поверь, я стану другом! Это будет другой Чегоданов, о котором никто не слышал! Ты говорил о преображении, о чуде превращения Савла в Павла! Я стану Павлом, стану угодным Богу! Судьба опять повернется ко мне лицом! Мы станем творить историю, строить великое государство! Мы укротим ненасытных вампиров, которые сосут из России соки! Я знаю, как вернуть в страну вывезенные воровские

деньги! Страшным ударом уничтожу коррупцию! Прикажу построить в Мордовии двадцать лагерей, куда станут свозить воров, будь то министр или олигарх! Ты говорил о моих накоплениях, о моих счетах в банках! Эти деньги я собирал, чтобы их не разворовали чиновники. Теперь, когда мы начнем развитие, я верну все деньги народу! Построю на них больницы и онкологические центры! Отберу у рублевских жуликов их дворцы, поселю в них беспризорных детей. Россия будет великой! Евразийский союз, который я замышляю, – это прообраз будущей Великой России в ее традиционных границах! Нам нужно победить! И

тогда мы вместе с тобой станем писать историю! Впишем в нее наши имена!

Все это Чегоданов произнес захлебываясь, с восторженной синевой в озаренных глазах. Эта была та самая страсть, в которую он увлекал других, обезоруживал своей верой и искренностью. Этой огненной страстью он оплавлял кромки, отделяющие его от собеседника, превращал врагов в друзей, соперников в надежных союзников. Это не выглядело как искусный театр. Перед ним был измученный, доведенный до отчаяния человек, который из последних сил старался уверить себя,

что остается надежда на спасение, что гибельная черта может отступить и он, Бекетов, старый друг, поможет ему избежать беды. Снова, как бывало не раз, отведет его от черной дыры.

— Я не знаю, поймешь ли ты меня, — медленно произнес Бекетов.

— Пойму, конечно пойму! Кого же мне еще понимать!

— Схема, которую я могу предложить, на первый взгляд может показаться нелепой.

— У тебя не может быть нелепой схемы. Все твои схемы блистательны!

— Она сопряжена с риском, быть может, только ускорит катастрофу.

— Ну, хочешь, я тебе дам

расписку, что в моей смерти Бекетова прошу не винить, — усмехнулся Чегоданов.

— Ты можешь мне обещать, что если примешь мою схему, то уже никто не посмеет в нее вмешиваться, все эти твои высоколобые дурни и пошлые оригиналы?

— Всех буду гнать! Ты один хозяин!

Бекетов молчал, словно раздумывал, стоит ли затевать эту непосильную, непредсказуемую по своим результатам работу. Или уже поздно, и все безнадежно, все технологии бессильны. Тонкие тенета технологических ухищрений разорваны, и на свободу вырвалась

сама история, как свирепая, неподвластная технологиям стихия. В своей уединенной ссылке, читая манускрипты, погружаясь в теории русских космистов, он не мог до конца отрешиться от московских событий, которые, как осенняя буря, стучали в его оконце. Будили ночами, и он вскакивал, хватал лист бумаги и чертил политологические схемы. Рисовал вектор сил, исследовал геометрию русской катастрофы. Старался доказать теорему Русской Победы.

— Боюсь, что моя идея покажется тебе сумасшедшей.

— Я живу среди сумасшедшей реальности.

– Найдутся люди, которые скажут, что я толкаю тебя в яму.

– Я уже в яме.

– Я не уверен, что эта идея является безусловно спасительной, и есть вероятность провала.

– И без твоей идеи вероятность провала громадна. Говори.

Зрачки Бекетова перестали трепетать, остановились, странно расширились. Словно он погрузил взор в туманную тьму, где текли струи невидимых вод, скручивались спирали безымянных потоков, реяли отсветы загадочных вспышек. Так смотрят в звездное небо, ужасаясь и восхищаясь, испытывая сладкое помрачение.

— Перед тобой — бушующая, ненавидящая тебя Болотная. Там твоя смерть. Там, на площади, тот, кто желает твоей смерти. Все твои усилия, все ухищрения твоих штабистов направлены на то, чтобы ослабить площадь. Уменьшить ее давление, сократить толпу. Для этого ты мешаешь им собираться, увеличиваешь штрафы, обливаешь грязью Градобоева, повышаешь зарплату милиции и ОМОНу. Готовишься жестоко разогнать митингующих. Но при этом популярность Градобоева продолжает расти, а твоя падает. И тебе не видать победы, даже если твой Погребец установит не

двудонные, а трехдонные урны и завалит эти урны фальшивыми бюллетенями. Надо действовать прямо наоборот.

— Как? — нервно спросил Чегоданов.

— Надо делать все, чтобы площадь ломилась от народа. Чтобы на ней появлялись все новые и новые бунтари. Чтобы Градобоев выглядел твоим палачом. Чтобы площадь бурлила, как кастрюля с супом, а в нее вбрасывали все новые и новые специи и приправы. Лавровый лист в виде коммуниста Мумакина. Перец в виде революционного радикала Лангустова. Корицу в виде светской куртизанки Ягайло. Грецкий орех в

виде еврейского активиста Шахеса. Чеснок в виде русского националиста Коростылева. Надо увеличивать под кастрюлей огонь, чтобы суп вспенился и полился через край. Пусть его гарь почуют в каждом городке и поселке.

— Зачем этот жуткий борщ? — недоверчиво спросил Чегоданов. — Зачем мне усиливать Болотную и делать из Градобоева моего палача?

— Надо показывать народу чудовищное лицо бунта. Надо пугать людей кровавой пастью новой революции, которая повторяет жуткий распад государства. Февраль семнадцатого, кошмар гражданской бойни, война всех против всех,

лагеря, расстрелы, нищета, бегство лучших русских людей за границу. Надо сравнивать Болотную площадь с перестройкой, Ельциным, Беловежьем. России уготована судьба СССР, распад, оккупация. Надо сравнивать Градобоева с Керенским и с Горбачевым. Надо убеждать людей, что ты, каким бы нелюбимым и даже ненавистным ни выглядел, являешься последним защитником государства. Твое уничтожение является уничтожением государства, после чего Россия превратится в кровавую бездну. Кровью захлебнутся нищий и богач, еврей и русский, якут и чеченец. Только так ты можешь победить Болотную. Усиливая ее,

сокрушить.

— Гениально! — Чегоданов с восхищением смотрел на Бекетова, и ноздри его страстно дрожали, по лицу снова бежали малиновые пятна. — Операция «Суп»! Ты великий повар, Андрей! На политической кухне нет тебе равных! Твои рецепты войдут в поварскую книгу русской политики! Но, согласишься, есть риск, что этот отвар хлынет с Болотной и зальет Кремль. И главы соборов будут выглядеть как головки чеснока, а кремлевские башни покажутся вареными морковками. Где гарантия, что народ испугается революции?

— Даже банки не дают гарантий.

Тем более их нет в политике. Риск огромен, но мой план основан на глубинном понимании русского сознания. Кодов, которые дремлют в глубине русского народа. Народ живет ужасно, ты лишил его благополучия. Но если народу предстоит выбирать между плохим государством и хаосом, он выберет плохое государство. Выберет тебя.

— Гениально! — повторил Чегоданов. Его выпуклые голубоватые глаза восторженно смотрели на Бекетова, как на своего спасителя, которому он вручает свою судьбу. — Что я должен делать? Что мы должны предпринять?

— Наша сегодняшняя встреча и

наш план должны сохраняться в тайне. Об операции «Суп» не должен знать даже твой преданный нукер Божок. Я вернулся в Москву твоим врагом и буду мстить тебе за опалу, за унижение, которому ты меня подверг. Я войду в доверие к твоему палачу Градобоеву. Пользуясь моими связями, я приведу других оппозиционеров на Болотную площадь. Я найду среди телеведущих такого, кто слывет «телевизионным киллером». Он обрушит на народ всю страшную правду о грядущей революции и «великом русском хаосе», которым дышит Болотная. Сам же стану ездить по оборонным заводам, которые являются оплотом

государства, где работают люди, все еще верящие тебе, ждущие, что ты наконец начнешь долгожданное развитие. Я стану формировать из них гвардию, Семеновский и Преображенский полки, которые в нужный момент выступят на твою защиту.

— Гениально! — повторил Чегоданов, порываясь обнять Бекетова, но удерживая свой порыв.

— Тебе станут доносить на меня. Говорить, что я предатель. Божок, чего доброго, захочет меня ликвидировать. Принести «сакральную жертву». Удерживай его от этого. Градобоев станет упиваться успехом, собирая на митинги

несчетную толпу, но вдруг поймет, в какой западне оказался. Но будет поздно.

– Пусть хлебает этот суп! Пусть кашляет от перца, задыхается от горчицы, чихает от чеснока, икает от корицы, а потом выльет все это варево себе на голову! Мы победим! Мы начнем новую страницу истории! Мы созовем семеновских и Преображенских гвардейцев. У нас снова будут самые лучшие в мире самолеты. Самые быстроходные танки. Самые неуязвимые ракеты! Мы покончим с нищетой! Я притащу на Красную площадь олигархов, и они покаются перед народом. Вернут нефтяные поля, алмазные копи,

рудники и заводы. Они приведут в Россию свои воровские деньги. Ни одного беспризорного, ни одного сироты, ни одной «слезы ребенка»! Народ нас поймет! Глубинные коды! Вера в свое государство! Я оправдаю эту веру! Мы построим новую Россию, и она запомнит наши имена!

Чегоданов обнял Бекетова, прижал к груди, и тот слушал, как громко стучит его сердце.

— Ты победишь, — произнес Бекетов, освобождаясь от крепких объятий. — Россия выиграет шесть необходимых ей лет.

— Да, шесть необходимых лет! — вторил ему Чегоданов.

Глаза Бекетова стали

неподвижными, устремились к синим лесам, над которыми вставало белое облако. Ему привиделся отрок, над головой которого золотился волшебный свет.

Выходя из резиденции, Бекетов встретил главного телохранителя. Божок, льстиво улыбаясь, довел его до машины.

— Счастливого пути, Андрей Алексеевич, — сладко произнес Божок, но его маленькие глаза на безволосом лице краснели искорками граната.

ГЛАВА 6

Бекетов подошел к окну, наблюдая кипящий огненный крест — плазму Тверской и пылающий огнями бульвар. В сумерках осеннего неба, далеко, за домами, горели рубиновые звезды Кремля. Бекетов вглядывался в их туманное свечение, в котором чудилась бессловесная угроза. Он снова своим появлением потревожил их дремотный покой. Орхидея из глиняного горшка тянула длинные остроконечные листья. И Бекетов вдруг обнаружил, что среди листьев появился побег, тонкий стебель с тремя бутонами. Это открытие восхитило его. Мама из

своих небесных садов посылала ему чудную вестъ. Среди черной предзимней Москвы готовила ему дар – белые целомудренные цветы, с которыми посылала свою любовь, свою молитву о нем, свою надежду на неизбежную, им предстоящую встречу. Бекетов коснулся губами бутонов, словно поцеловал любимое лицо.

Он отыскал в Интернете имя некогда известного телеведущего Михаила Немвროзова, блиставшего на экране главного телеканала страны. Яростный и надменный красавец с сочным голосом оперного певца и осанкой героя-любовника, с веселыми злыми глазами, Немвროзов

владел искусством уничтожать репутации, превращать в труху напыщенных и властных вельмож. Бекетов до своей опалы и ссылки пользовался его услугами, оказывал ему протекцию. С его помощью наносил смертельные удары врагам государства в том его виде, в каком оно соответствовало его с Чегодановым замыслу. После вынужденного отъезда Бекетова Чегоданов убрал Немвროзова с центрального телевидения, и тот мгновенно погас, провалился в мусорную яму бессмысленных и пошлых передач, которыми изобиловали третьесортные, одинаковые, как цветные обертки,

программы.

Бекетов нашел Немвროзова в убогой студии, свившей углое гнездо в цехах разорившегося завода. Было тускло, дули зловонные сквозняки, сновали немытые и нечесанные ассистенты. Стены были обиты жестью, и все помещение напоминало мятую консервную банку.

Они сидели с Немвровым за колченогим столом, на котором были рассыпаны замусоленные бумаги и стояла несвежая кружка с остывшим кофе. Бекетов с горьким недоумением рассматривал лицо Немвროзова. Еще недавно холеное и мужественное, пленявшее женщин,

наводившее страх на вельможных чиновников, теперь оно постарело, погасло, было покрыто желтоватой ржавчиной, словно долго лежало в уксусе.

— Да, вот видишь, в какую дыру меня запихнули. Рекламирую какой-то джем, какую-то вонючую патоку. Веду дебильное ток-шоу, где старые тетки рассказывают о первой любви. А что делать, Андрюша? Деньги на хлеб нужны, на бензин нужны, на портки, чтобы срам прикрыть. — Он хлопнул себя по засаленным джинсам, из-под которых торчали скомканные носки. — Чегоданов, сука! Мелкая тварь! Неблагодарная скотина! Мы столько для него

сделали! Пахали на него, а он тебя загнал в дерьмовое захоlustье, а меня засунул в козлиный зад. Не прощу! Отомщу ему по полной. Когда его начнут вытряхивать из Кремля, уж я повеселюсь! Покажу крупным планом, как он кровью харкает! Как пучит свои рыбы глаза! Как колотится башкой о брусчатку. Этот Градобоев, какой мужик золотой! Вот это президент! Как он мочит эту гниду! Я просто в него влюблен. Пойду к нему наниматься. Он будет во мне нуждаться! Ему придется чегодановское дерьмо разгребать, чегодановскую челядь чистить. А я, ты знаешь, это делать умею! Я это делать люблю! Помнишь, как мы

этих жирных свиней потрошили, ливер из них вынимали? – Немврозов захохотал, и в его серых глазах блеснула былая жестокость и веселая беспощадность.

Бекетов помнил, как по его наущению Немврозов устранял конкурентов Чегоданова на президентских выборах, где опасными соперниками выступали московский мэр и бывший премьер, почтенный представитель советской элиты. Немврозов использовал кадры, где мэр на Крещение окунался в ледяную прорубь, голый, в жирных складках, поросший по плечам и груди светлой щетиной. Немврозов монтировал эти кадры с

изображением свиньи, которую режут, палят щетину, скоблят ее желтую жирную тушу. Водят ножом по соскам. Вспарывают живот, вываливая в таз липкую кровавую печень. Вытряхивают клубок кишок. Моют в мутно-красной воде вырезанное сердце. Иссекают ломти сала, выламывая голубоватые мослы. И все эти жуткие подробности перебивались кадрами, на которых мэр скалил крепкие зубы, охлопывал жирную грудь, сутулил тучные плечи. Немвровов при этом ахал, чмокал, похрюкивал, постанывал, и создавалось впечатление, что происходит заклание мэра.

Похожим образом он обошелся с

премьером, который в то время перенес операцию на коленном суставе, куда ему поставили титановый протез. Немвровов показывал отечное, печальное, как у больного верблюда, лицо премьера, а потом помещал кадры, снятые в операционной. Взрезанное колено, шмотки мяса, бьющую из вены кровь, блестящий, жуткий протез среди кровавого месива, окровавленные руки хирурга. И снова больное лицо премьера, вызывающее жалость и отторжение.

После этих композиций популярность мэра и экс-премьера резко упала, и они не составили конкуренции Чегоданову.

– Предатель, мелкая душонка! Моль чекистская! Я его президентом сделал, а он мне жизнь сломал! Я не могу без экрана! Я звезда. Мое лицо – национальное достояние. Меня гаишники узнавали и честь отдавали. Майки с моим лицом выпускали. Девки у меня пуговицы с пиджака обрывали. А он прогнал с телевидения, заставил тухлый джем рекламировать. Ненавижу! Слушай, Андрей, пойдем к Градобоеву. Мы ему поможем срезать моль чекистскую. Ты мастер комбинаций, научишь его настоящей политике. А я ему интернет-телевидение налажу. Сделаю из него божество.

Немвровоз с тоской осматривал

обитую жестью студию, где погибал его талант, меркла слава, тускнело и старилось его знаменитое лицо. Он ненавидел и беспомощно сжимал кулаки, понимая, что время его ушло, удача невозвратно промелькнула и он обречен истлеть в этой грязной дешевой студии, орать на дурных ассистентов, пить кофе из несвежей кружки, обслуживать ничтожных дельцов.

— Миша, ты великий и несравненный. — Бекетов поймал его затравленный взгляд и вливал в него энергию света. — Еще ничего не кончилось, а только все начинается. Я вернулся. Чегоданов призвал меня и умоляет помочь. Он в беде и в

панике, нуждается в немедленной помощи. И мы поможем ему. Я говорил о тебе. Он возвращает тебя на главный канал. Дает первоклассную студию. Зарплата, какой ты не видел. Персональная машина. Авторская передача в прайм-тайм.

– Ты издеваешься? – Немвров зло оскалил собачьи зубы, которые раньше белоснежно блестели в его неотразимой улыбке. – Ты пришел поиздеваться надо мной?

– Мне некогда заниматься пустяками, Миша. Времени в обрез. Я пришел к тебе, потому что ты лучший, неповторимый, непревзойденный. Ты сделаешь то,

что не по силам другим.

— Ты снова вместе с Чегодановым? Вы помирились? Ты хочешь вернуть меня на экран? У тебя есть проект? — Неверие в темных зрачках Немвროзова сменилось умоляющей надеждой, от которой зрачки расширились и засияли. — В чем проект?

— Ты снова станешь звездой! Твое лицо станут обожать в каждом доме. Постовые опять будут отдавать тебе честь. И девушки станут носить майки с твоим лицом, за которым будут дышать их прелестные груди.

— В чем проект? — нетерпеливо перебил Немвровов.

— Ты должен уничтожить

Градобоева. Превратить его в пыль.
Рассыпать на молекулы. На
элементарные частицы, чтобы он
улетел в черную дыру Вселенной,
откуда выпал. Ты понял?

— Как?

— Показывай площадь,
показывай толпу! Неистовые лица,
орущие рты, вздетые кулаки! Лицо
Градобоева, ненавидящие, налитые
кровью глаза! Говори, что он зверь,
людоед! Ненавидит все русское,
Кремль, соборы, Могилу
Неизвестного Солдата! Он
завербован, агент ЦРУ! Получает
деньги от Госдепартамента!
Предатель, власовец! Ворвется в
Кремль и приведет за собой

американских морских пехотинцев!
Ненавидит Русское государство,
хочет его уничтожить! Сеет хаос, как
Керенский в феврале семнадцатого!
Как Горбачев в августе девяносто
первого! Его приход к власти
означает распад территорий,
гражданскую войну! Брат на брата!
Расстрельные рвы! Избиение
духовенства! Голод! ГУЛАГ!
Уничтожение заводов! Унижение
армии! Показывай его чудовищный
лик, чтобы мороз по коже! И какую-
нибудь свою свинью с перерезанным
горлом! Или твой блестящий протез в
кровавой жиже! Ты это умеешь! Ты
гений! Ты лучший из всех, кого я
знаю!

Бекетов впрыскивал в
Немвროзова огненные лучи, вливал в
него раскаленную плазму и видел,
как Немвровов меняется. Как
выпрямляется, наливается соками
тело. Опадает с лица серая ржавчина,
и лицо белеет, розовеет, молодеет,
обретает прежнее яростное,
счастливо-безумное выражение.

— Я гений! Я лучший из всех! Я
сделаю это! Я превращу Градобоева в
кровавый окорок! Чегоданов, он
молодец, нюх разведчика, властный
инстинкт! Всем этим геям и
лесбиянкам до него далеко! Он им
устроит гей-парад! Мой дед на войне
был истребитель танков! Я —
истребитель танков! Обещаю, танк

Градобоев будет подбит! Когда я могу начинать?

– Завтра. Студия готова. Лучшие операторы, режиссеры! Лучшие телекамеры! Начинай!

Немврозов засмеялся, стал тереть ладонь о ладонь, словно добывал огонь, и Бекетов видел, как сыпали из его ладоней сухие искры. Немврозов осмотрел своим счастливым бешеным взглядом студию, схватил кружку с недопитым кофе и шмякнул о жестяную стену, разбивая вдребезги.

Через два дня Бекетов, устроившись в мягком кресле перед телевизором, попивая из бокала сухое вино, смотрел передачу

Немвროзова «Смута». Бородатый монах в подряснике бил в колокол, и от рыдающих звонов взбухало сердце. Немвровов, простирая руки, восклицал:

— Люди русские, опять на Русь пришла беда! Опять на русские города и селения наползает темная смута! Опять явились бесы и с ними Князь тьмы, враг рода человеческого!

Болотная площадь переполнена темной толпой. Качание бесчисленных рук. Черные дыры ртов. Градобоев с яростным клекотом выбрасывает навстречу толпе железный кулак.

— Опять змей приполз к стенам Кремля и зарится на священные

соборы! Опять покушается на святую царевну, ненаглядную нашу Россию!

На иконе извивается змей, раскрыв кровавую пасть. Его хвост касается стен златоглавого града. И у врат склонилась царевна, беззащитная перед чешуйчатым зверем. Всадник на коне нацелил копье в растворенную змеиную пасть.

— Люди русские, неужели мы опять отдадим государство на растерзание кольчатому гаду? Опять искусимся на змеиную лесть? Опять пойдем в услужение к зверю? Неужели хотим повторения русской беды?

С храма Христа Спасителя

падают взорванные купола. Несутся по горящим степям конные армии гражданской войны. Стреляют в затылок пленным, и они падают с крутого откоса. Обугленные коробки домов в разоренных войной городах. Бредущие по дорогам толпы погорельцев и беженцев.

— Люди русские, кто из вас готов идти на Болотную площадь и пополнить армию зверя?

Снова толпа и оскаленный лик Градобоева.

— Кто, как бесстрашный Георгий, готов встать на защиту царевны, нашей родной России?

Икона, змей и царевна. Всадник с сияющим нимбом. И мелькнувший

кадр с Чегодановым, который награждает крестами солдат и боевых офицеров.

Бекетов восхищался магическим даром Немвროзова. Тот ворожил, колдовал, заговаривал. Шаманил, камлал. Его голос был похож на рыдания, на призывный вопль, на страстную проповедь. Он закрывал глаза руками, словно видел ужасное зрелище. Бил себя в грудь, словно рвал себе сердце. Молитвенно складывал руки, а потом жестоко и яростно грозил кулаком.

На экране возник какой-то пустырь, усыпанный отбросами, похожий на мусорную свалку. Женщина с растрепанными

волосами, босая, в растерзанном платье, нетвердо стояла. Ее изможденное лицо было в синяках и кровоподтеках, голые руки и ноги в ссадинах. Кругом топтались бомжи, кидали в нее комья грязи, плевали, норовили ущипнуть и ударить. Она не могла защищаться, вздрагивала от боли. А вокруг смеялись, хватали за платье, дергали за волосы.

Немврозов вопрошал:

— Мы оставим нашу Родину-Мать на растерзание негодьям? Чтобы они насильовали ее, сдирали одежду, смеялись над ее наготой? Мы, трусливые и гадкие дети, не умеем защитить нашу матушку Русь?

Осквернители продолжали

надругательство над женщиной. Один ударил ее хлыстом. Другой пнул ногой. Их оскалы, зубы, толстые губы, выпученные глаза, крючковатые носы были отвратительны и ужасны, как лица на картине Брейгеля «Несение креста». И среди этих лиц вдруг возникал Градобоев, остервенелый, хохочущий.

– И разве не найдется среди нас воин, способный отстоять Родину?

И опять икона с Георгием Победоносцем в алом плаще, золотое копье вонзается в змеиный зев. И мимолетно – Чегоданов в кабине истребителя, прилетевшего в дымящийся Грозный.

Передачу завершил Немвров с

воздетой рукой, стоящий в позе Кузьмы Минина. Нахмутив брови, с суровым и пламенным лицом героя, он воскликнул:

— Родина-Мать зовет!

Бекетов не ошибся в Немвროзове. Особенно хороша была постановочная сцена с мучениями женщины и характерной внешностью мучителей, чей облик должен был отталкивать зрителей.

— Молодец, Михаил! Ты лучший актер современности! — позвонил он Немвровову и допил бокал сухого вина.

ГЛАВА 7

Штаб-квартира

Ивана

Александровича

Градобоева

располагалась в дорогом особняке
среди Зачатьевских переулков.

Особняк был арендован на деньги
тайного спонсора, который видел в
Градобоеве будущего президента.

Если выйти на маленький, изящный
балкон, то можно было увидеть
холодный проблеск Москвы-реки.

Памятник Петру казался огромным
перепончатым роботом,

напичканным электроникой

терминатором, который заскрипит,
задвигается и начнет тяжело

шлепать, перешагивая крыши домов.

Градобоев, пренебрегая указаниями охраны, иногда выходил на этот балкон, вдыхая студёный осенний воздух. Усмехаясь своим честолюбивым мечтаниям, представлял, как в ночь после выборов он выйдет на балкон к своим обожателям, весь переулочек будет кипеть восторженной толпой, мерцать бесчисленными вспышками фотокамер, а на реке возникнет корабль, украшенный бриллиантовыми огнями, и расцветут букеты победного салюта.

Но сейчас Иван Александрович, исполненный бодрости и азарта, начинал свой день, напоминая свой снаряд, который он выпустит по

неприятелю Чегоданову. Так бронебойщик выцеливает в окуляр вражеский танк, готовый всадить в него управляемую ракету.

Он принимал в кабинете своего главного охранника Семена Семеновича Хуторянина, человека с тихим голосом и осторожными, щупающими глазами. Охранник докладывал Градобоеву оперативную обстановку в городе, делился слухами и обрывками информации, которую добывал из доверительных источников в полиции, в службе безопасности, в Администрации президента. Сам Хуторянин, в прошлом работник спецслужб, имел связи в органах, сохранившиеся со

времен чеченской войны.

— Я бы просил, Иван Александрович, увеличить мою команду еще на четыре человека, и желательно подобрать машину и спецаппаратуру. Вокруг Чегоданова муссируются разговоры о «сакральной жертве», которую следует принести во имя победы на выборах. Меня, признаться, это очень тревожит.

— Пусть это вас не тревожит, Семен Семенович. — Градобоев ясным, чуть насмешливым взглядом осмотрел сутулого Хуторянина, который напоминал черепаху, готовую спрятать под панцирь сухую голову. — Слухи о «сакральной

жертве» распространяют маги и звездочеты, взбадривающие унылого Чегоданова. Он сам и есть «сакральная жертва», которую принесут его подданные, когда увидят, что он проиграл.

— И все-таки, Иван Александрович, следует усилить меры безопасности. Прошу сообщать мне маршруты ваших передвижений по городу. И счел бы необходимым при входе в вашу штаб-квартиру установить рамку металлоискателя. К вам многие идут на прием, и кто знает, что у них в портфелях и сумочках.

— И это преждевременно, Семен Семенович, — мягко, чтобы не

обидеть усердного телохранителя, произнес Градобоев. – Вы прекрасно работаете. Я вам благодарен. После нашей победы я предложу вам возглавить Федеральную службу охраны.

Охранника сменил работник аппарата, которому Градобоев поручал деликатные связи с финансовыми кругами и который добывал деньги, питавшие оппозицию. Коломейкин, тоже бывший работник спецслужб, был элегантный, веселый, завсегда с фуршетов и корпоративных вечеринок, где он завязывал дружеские отношения с банкирами, директорами корпораций,

бизнесменами, которые пострадали от произвола Чегоданова и были готовы спонсировать оппозицию. Деньги в штаб Градобоева поступали в виде бумажных пакетов, туго набитых банкнотами, либо в виде подарков — автомобили, громкоговорители для митингов, арендованные особняки, зарплата адвокатам, авиационные билеты для многочисленных вояжей.

— Как прошла ваша лондонская поездка? — Градобоев торопился узнать, чем кончились встречи Коломейкина с миллиардерами, которые сбежали из России, опасаясь преследований, и образовали в Лондоне группу влиятельных

ненавистников Чегоданова. — Как было прочитано мое письмо?

— Его прочитала вся «великолепная семерка», с которой я встречался в отеле «Дорчестер». А тот, кто носит имя милого русского дерева, принимал меня в своем замке в окрестностях Лондона. И я любовался великолепным парком, стриженными газонами и золотогрудыми утками, которые летали над прудами.

— Я посылал вас в Лондон не за утками, — раздраженно перебил Градобоев велеречивого помощника. — Как письмо?

— Ваше обещание, в случае победы, вернуть их всех в Россию

вызвало воодушевление. Почти все они изъявили готовность помочь деньгами. Я разрабатываю схемы, по которым деньги могут поступить в Россию, не привлекая внимания спецслужб. Одна из схем — получение траншей через некоммерческие организации.

Отпустив помощника, Градобоев открыл компьютер и сделал вброс в Интернет, разместив на своем блоге несколько яростных фраз.

«Воры из «Роснефти» украли очередной миллиард долларов на строительстве восточного нефтепровода, это ваши деньги, люди русские. Жулики псковской таможни построили восемь личных особняков

в курортной зоне стоимостью десять миллионов долларов каждый, при этом половина псковичей живет в вонючих трущобах. Сын саратовского прокурора, гоня на позолоченном «бентли», сбил мать с ребенком, но был освобожден от ответственности. В Красноярском крае сгорели два дома инвалидов вместе с обитателями, — так администрация решает проблему ветеранов. В моей штаб-квартире было найдено подслушивающее устройство, похожее на ухо Чегоданова. Неужели он хочет услышать, как я называю его подлецом?»

Эта запись в блоге напоминала едкую каплю, которую Градобоев

впрыснул в плоть невидимого моллюска, обитавшего в перламутровой раковине Интернета. Капля ужалила, моллюск сжался, по нему побежала судорога. Он сокращался, пульсировал. В нем возникали вздутия, он раздувался, становился громадным. Искрился, сверкал, таинственно вспыхивал, источал радуги. Интернет напоминал ночной океан, в котором колыхалось светящееся чудовище, расплескивая призрачные волны света.

Градобоев чувствовал жизнь чудища, сплошь покрытого миллионами крохотных глаз, безмолвно растворявшихся ртов. Мог управлять его перистальтикой, будить

среди ночи, мучить больными уколами. Мог с его помощью поднимать в океане бурю, опрокидывающую жалкие челноки и суденышки чиновничьих репутаций, рвать дамбы, возводимые кремлевскими политиками, вздымать цунами, обрушивая удары на кремлевские стены, за которыми в страхе притаился его враг Чегоданов.

У Градобоева не было танковых колонн и воздушных армий, секретной полиции и отрядов ОМОНа. У него был маленький блог, который был могущественнее «ядерного чемоданчика», мог сокрушить власть, истереть в порошок кремлевские башни,

растворить в едкой кислоте идеологию государства.

Интернет был его партией, его политическим оружием, его стихией, которой он умел управлять, как древние колдуны управляли землетрясениями и потопами, сметая с лица земли непокорные царства.

В кабинет вошла пресс-секретарь Елена Булавина. Он покидал Интернет, как покидают ночной океан, выходя на берег из маслянистых светящихся волн.

– Подойди ко мне, – протянул к ней руки. Она подошла улыбаясь, и он, не вставая, обнял ее бедра, прижался лицом к дышащему животу. Чувствовал ее силу, аромат

духов, прелесть доступного тела. Она смотрела сверху смеющимися зеленоватыми глазами.

– Сегодня у нас три интервью, и их не нужно откладывать, – сказала Елена, и, отпуская ее, он успел поцеловать ее теплое колено.

Первое интервью он давал журналистке из таблоида «Все вокруг», многотиражного желтого издания, которое читают в метро и на кухне и которое развлекает обывателя сплетнями, слухами и скандалами. Журналистка была длинноногая, на высоких каблуках, в короткой юбке. Шары груди сочно выкатывались из тесной блузки. В матовой ложбинке золотился

пикантный крестик. Огромные, как у целлулоидной куклы, глаза были окружены пышными накладными ресницами. Надувные губы в маслянистой помаде, казалось, были готовы к поцелуям. Округлые движения бедер, ярко-красный пластмассовый пояс, волосы, которые она поминутно отбрасывала назад, — все это делало ее похожей на танцовщицу, начинающую свой сладострастный танец у хромированного шеста.

— Вы позволите, господин Градобоев? — Она уселась перед ним, забрасывая ногу на ногу, так что открылись кружева ее белья. — Мы можем начинать? — Она положила на

стол маленький диктофон с мерцающей каплей индикатора, приблизила к кнопке палец с красным ногтем. – Итак, мой первый вопрос. Что вы будете делать через час после вашего избрания президентом?

Градобоев жадным взглядом блестящих глаз осмотрел ее, будто подбросил, и она закружилась вокруг хромированного шеста, сбрасывая юбку, блузку, кружевной лифчик, оставаясь в хрупких туфельках; полногрудая, с плотным животом и развеянными волосами.

– Через час после избрания я прикажу арестовать всех жуликов и воров в правительстве, правящей

партии и Администрации президента. Я устрою судебный процесс века в Мраморном зале Дома союзов, и каждый подсудимый будет каяться перед народом: «Я, мерзкий ворюга, своровал миллиард долларов. Возвращаю деньги ограбленным мною сиротам. Заслуживаю расстрела»; «Я, гнусный мошенник, похитил два миллиарда долларов. Возвращаю их старикам и немощным. Пусть меня повесят на фонаре».

Журналистка впитала в себя взгляд Градобоева, как медуза впитывает влагу. Повела плечами. Поправляя крестик, раздвинула вырез блузки.

– Могли бы вы пригласить меня на прогулку под фонарями, где будут висеть воры и мошенники?

– Обещаю погулять с вами по Тверской под оранжевыми фонарями, где будут раскачиваться министры, депутаты и генералы. Мы будем с вами неплохо смотреться.

Журналистка быстрым языком облизала губы, обольщая Градобоева покачиванием красивой ноги, глубоким вдохом, от которого груди почти выкатились из тесного шелка.

– Наши читатели знают вас как страстного оратора и бесстрашного политика. Но какой вы человек? Например, какие женщины вам нравятся?

Градобоев

испытал

моментальное слепое влечение и остановился в своем вожделении. Звериным нюхом почувствовал опасность. Так лесной чуткий зверь среди запахов древесной коры, ароматных цветов, пахучих подземных грибниц улавливает кисловатый запах железа, угадывает присутствие капкана, слышит дуновение смерти. Осторожно огибает гиблое место. Градобоеву был известен коварный прием ФСБ, когда врагу режима присылалась соблазнительная женщина, увлекавшая неосторожного мужчину в свою спальню. И потом в Интернете появлялись картинки, где

герой оппозиции представал в своих бесстыдных забавах. Градобоев угадал в искусительной журналистке посланницу спецслужб, и это открытие развеселило его. Он делал вид, что очарован и оболыщен.

— Вы спрашиваете, какие женщины мне нравятся? Длинноногие. С грудью, которую не нужно рассматривать в увеличительное стекло. С волосами, в которых гуляет ветер. И с глазами, ну, такими, какие у вас! — Он восхищенно смотрел на нее.

— А какие вы любите блюда? В какие рестораны ходите?

— В районе Чистых прудов есть малоизвестный ресторанчик

вавилонской кухни. В нем подают бифштекс из знаменитого вавилонского зверя, у которого змеиная голова, передние ноги льва, а задние – птичьи, рыба чешуя и львиная шерсть. Зверя подают с подливкой из лепестков лотоса и почек молодого анчара.

– Боже, какой изысканный вкус!

А какой досуг вы предпочитаете?

– Каждый уик-энд я летаю в Лондон по приглашению королевы Англии, и в Букингемском дворце мы играем с ней в покер, или музицируем в четыре руки на клавесине, или забавляемся, стреляя друг в друга в темноте из пистолетов, как это заведено в «русской рулетке».

— О, да вы настоящий аристократ! А каково ваше хобби?

— Я коллекционирую горные хребты, а также фантики от конфет, которыми лакомились в XVIII веке. Еще я коллекционирую нательные крестики набожных католичек.

Градобоев кивнул на золоченый крестик, удобно расположившийся на одном из великолепных полушарий.

— Что ж, я готова пополнить вашу коллекцию. — Журналистка чарующе улыбнулась своими влажными надувными губами. Выключила диктофон. Протянула Градобоеву визитную карточку с крохотной цветной фотографией. —

Звоните.

Когда она вышла, Елена усмехнулась:

– Ты сам похож на вавилонского зверя с птичьими ногами и кошачьей головой. Тебе нравятся такие женщины?

– Не ревнуй. – Он притянул ее за руку. – Смотри!

Градобоев достал ручку и на визитке под смазливой фотографией нарисовал две перекрещенные кости. Выкинул визитку в корзину.

Следом в кабинет был приглашен главный редактор влиятельного либерального издания «Честная газета». Издание выходило на деньги нескольких банков и

фондов, вело искусственную
антикремлевскую пропаганду,
соединяло все оттенки либеральных
воззрений и неявно осуществляло
связь российской либеральной
политики с зарубежными
культурными и политическими
центрами. Главный редактор Луцкер
был квадратный, без шеи, с жирной
грудью, сальными, ниспадающими
до плеч волосами. Его мясистое лицо
было бурачного цвета, нос в мелких
склеротических сосудах, ноздри
густо заросли волосами, а бородка
напоминала сочную котлетку. Он был
страстный, самолюбивый,
обидчивый. Был награжден
французским орденом Почетного

легиона и заседал в Совете по правам человека.

– Простите, опоздал. Завтракал с советником президента Стоцкого. – Луцкер протянул Градобоеву жирную ладонь, неряшливо порылся в карманах, извлекая диктофон. Тяжело рухнул в кресло, издав заросшими ноздрями звук лопнувшей автомобильной покрышки. – Ну, начнем.

Градобоев зорко оглядывал визитера, с легкой неприязнью к его неопрятному виду, демонстрируя любезность и радушие. Он нуждался в таком союзнике, как Луцкер. Выступление в «Честной газете» было престижным, делало его

лидером респектабельных
оппозиционеров. Говорило о том, что
он, трибун и любимец площади,
кумир толпы и революционер,
получал благословение у старых
борцов с режимом, у маститых
деятелей культуры, эмигрантов,
либерально настроенных банкиров и
предпринимателей.

– Позвольте спросить, любезный Иван Александрович, как вы видите политический процесс в России накануне выборов? Как он вам видится с трибуны Болотной площади? И не превратится ли эта трибуна в баррикаду?

— Россия — беременна революцией. Болотная площадь — это

матка, где созревает эмбрион революции. Я — ее акушер, готов принять роды. Кремлевская власть становится все более фашистской. Чегоданов по своей глубинной сущности фашист, и на его лбу все отчетливей проступает свастика. Он точит скальпель, чтобы зарезать революцию в чреве. Или, как царь Ирод, заколоть родившегося младенца. В ближайший месяц революционный народ столкнется с фашистской властью. И это произойдет сразу же после фальшивых выборов, где у меня украдут победу.

Было видно, что ответ понравился Луцкеру. Его синие

глазки ярко забежали на красном мясистом лице.

— Так почему же, скажите на милость, на Болотной площади рядом с вами я не вижу левых, националистов, представителей подавляемых меньшинств, мусульманских активистов, звезд шоу-бизнеса? Почему вы не призовете их себе на помощь? Ведь все согласны, что вы единственный конкурент Чегоданову.

— Я рад был бы увидеть их рядом с собой. Передаю через вашу замечательную газету, что я готов потесниться на трибуне и предоставить им почетное место. Русская революция, которая

начинается, не является «оранжевой», как утверждает Чегоданов. Она многоцветна – алая, золотая, бирюзовая, белая, изумрудная. Она как праздничный салют, как цветочная клумба. Революцией руководит не один лидер, а букет лидеров. Давайте соберем этот букет. И либо вместе отпразднуем мою победу на выборах, либо вместе возглавим революцию.

Луцкер покраснел, сочно шевелил губами, шумно дышал и выглядел как человек, перед которым поставили тарелку вкусной еды. Он ее нюхал, глотал, смаковал, впитывал сладкие соусы, поглощал острые приправы. Этой пищей был

Градобоев. Его вдыхал и вкушал опытный гастроном, и Градобоев не противился этому поеданию. Луцкер, поглощая кушанье, в свою очередь, сам был едой, которую поставили на стол Градобоеву. В политике все, даже соратники, неявно поедает друг друга. И все политическое поле усеяно скелетиками обглоданных неудачников.

— А теперь позвольте спросить. Что все-таки будет, если Чегоданов, вопреки всем замерам его низкой популярности, благодаря выборным подтасовкам и махинациям, победит? Как вы себя поведете?

— Призову народ к восстанию. Вот тогда трибуна Болотной площади

превратится в баррикаду, – эффектно произнес Градобоев.

Елена, любуясь своим кумиром, кивала, ее лицо стало пунцовым от восхищения.

– Но позвольте пофантазировать. Повторяю, это только фантазия, только гипотеза, и не более. – Луцкер закрыл синие глазки, сделал глубокий вдох, отчего его тело расширилось, кожа натянулась, и он стал похож на гриб дедушкин табак, который, лопаясь, извергает из себя коричневый дым. – Если предположить на минуту...

Градобоев чутко замер, услышав едва различимый толчок, предвещавший главное содержание

беседы, объяснявший, почему маститый редактор пожаловал к нему сам, а не прислал корреспондента.

— Предположим, начнется восстание, и улицы покроют баррикады, и, быть может, упаси господь, на московских площадях прольется кровь. Что, если действующий президент Стоцкий объявит выборы недействительными, назначит перевыборы? По Конституции, в этих новых выборах вы не сможете участвовать, и ваше место займет другой. В том числе и ныне действующий президент Стоцкий. Быть может, вы бы согласились отдать ему свои голоса,

свой потенциал, а он, став президентом, приблизил бы вас к себе. Предложил портфель министра или даже назначил премьер-министром. Вы, молодой политик с президентским будущим. Вам полезно пройти школу премьера, понять истинные пружины власти.

Это прозвучало неожиданно, но Градобоев не выдал своих чувств даже дрожанием зрачков. Ему предлагался договор с президентом Стоцким, который, прожив унижительные четыре года под властной дланью Чегоданова, решил предать своего друга, сбросить оскорбительное иго, взять реванш за все унижения. Градобоеву

предлагалось стать участником вероломной интриги, решавшей судьбу власти.

— Вы понимаете, это только журналистское предположение, — произнес Луцкер, выпуская из ноздрей жаркий воздух.

— Политика вступила в такую фазу, что возникает множество вариантов развития. И каждый из них осуществим. Иногда мне кажется, что не мы делаем политику, а она формирует нас. И ей выбирать, каким путем двинется русская история.

Ответ был уклончив и в своей неопределенности содержал предложение еще раз вернуться к

этой гипотезе. Умный и чуткий Луцкер прикрыл и снова раскрыл свои синие глазки. После нескольких незначительных вопросов выключил диктофон.

– Все-таки лучше встречаться не на баррикадах, а за стойкой бара. – Он выкатился из кабинета, переваливаясь на коротких ногах.

– Ну, как тебе нравится? – Градобоев обратился к Елене, которая что-то быстро записывала в блокнот. – Не исключаю, что вскоре у меня состоится тайная встреча с президентом Стоцким. Что ты на это скажешь?

– Я плохой советник, у меня нет политологических прозрений. Я

люблю тебя и тонко чувствую, где тебя подстерегает опасность. Рядом с тобой должен находиться человек, который понимает всю огромную машину власти, знает ее потаенные пружины и кнопки. Поможет тебе нажать самую нужную кнопку, чтобы машина последовала твоей воле, и не нажать ту, что вызовет взрыв.

– Согласен, дорогая. Я действую на ощупь, в потемках. Но пока что, согласись, безошибочно. Кто у нас следующий?

Следующим был корреспондент «Нью-Йорк тайме», Джеффри Стикс, молодой американец, с тонкой шеей и сухими запястьями. Светлые волнистые волосы, нос с горбинкой,

маленький розовый рот, свежее девичье лицо, бледные голубые глаза. Тихо смеющиеся и любезные, они вдруг холодели, становились пронзительными и почти жестокими. Ладонь, которую он протянул Градобоеву, была большая, сухая и холодная, клетчатый просторный пиджак источал едва ощутимый запах вкусного табака.

— Благодарю, что согласились меня принять. Я получил от руководства указание взять у вас интервью. Сейчас вы знамениты в России, но после этого интервью вы станете мировой знаменитостью. — Он говорил на прекрасном русском языке, лишь иногда останавливаясь и

выбирая правильное слово. Он был мягко ироничен, но эта ирония относилась не к собеседнику, а к себе самому.

— Для меня большая честь принимать у себя корреспондента великой газеты, — произнес Градобоев, стараясь быть столь же ироничным и мягким.

— Похоже, России предстоит горячая зима, если судить по осенней политической температуре, — заметил американец, включая диктофон.

— Ничего удивительного. Мировое потепление климата. У вас, на Манхэттене, плавятся стекла. Нил кипит. А Греция похожа на

раскаленную сковородку.

— И все-таки этот протестный взрыв в России произошел очень внезапно. Все было тихо, спокойно, люди терпели, и казалось, нет конца этому русскому терпению. И вдруг — взрыв. Что случилось?

— Россия — страна великого терпения и великих взрывов. Народ терпел империю Романовых триста лет и сбросил ее в три дня. Советская империя длилась семьдесят лет и казалась вечной, но ее сдуло в три дня. Такие уж ветры в России и такие империи.

— Но господин Чегоданов казался несомненным национальным лидером, и его избрание

президентом не вызывало сомнения.

– Все это в прошлом. Теперь у России другой национальный лидер.

Градобоев слегка рисовался перед Джеффри Стиксом, видя, что тому это нравится, вносит в политическое интервью элемент игры. Маленький розовый рот корреспондента сдержанно улыбался. Голубые глаза смеялись.

– И все-таки нам, на Западе, не очень понятна цель оппозиции. Ее идеология, программа. Чего вы добиваетесь, выводя на площадь десятки тысяч людей? Поражения на выборах Чегоданова? Своей победы? Но ваша программа многим кажется популистской, абстрактно

революционной. Ваше правление может оказаться не лучше чегодановского. Как говорят в России: «Хрен редьки не слаще».

— Наша цель — свобода. Недопущение авторитарной власти, предотвращение диктатуры. Мы стремимся создать в России общество европейского типа с независимыми судами и свободным многопартийным парламентом. На этом сходятся все представленные в оппозиции силы. И я выражаю эту общую точку зрения.

Глаза американца потемнели, в зрачках появились блестящие черные точки. Губы сжались, превратившись в маленький пунцовый бутончик.

Горбинка на носу порозовела, а сам нос стал подвижным и чутким.

— Каким вы видите экономический уклад будущей России, в случае если удача улыбнется вам и вы станете президентом?

— У нас сохранится свободная экономика, избавленная от гнета чиновников. Мы привержены мировому разделению труда, оставляя за собой традиционные для нас рынки. Мы будем способствовать интеграции нашей экономики с западной развитой экономикой.

Джеффри Стикс, казалось, не довольствуется записью диктофона, а ведет какую-то свою потаенную

запись, отыскивая в словах Градобоева глубинный смысл. Этот смысл он добывал всеми органами чувств. Пронзительными мерцающими зрачками. Сжатым розовым ртом, превратившимся в присоску. Чутким, тонко вдыхающим носом. Покрасневшими мочками маленьких ушей. Кончиками пальцев, которые он направлял в сторону собеседника, словно ловил исходящее от Градобоева излучение. Градобоев понимал, что его изучают, делают психологический портрет. И этот портрет пополнит досье, которым оснастил себя американец, направляясь на встречу с ним.

— Почему, как вы считаете, в

России столь сильны
антиамериканские настроения?

– Не сильнее, чем в Европе и остальном мире. Россия оказалась разгромленной в холодной войне, и антиамериканизм — это комплекс проигравшего.

Чегоданов

поддерживает в народе этот комплекс, чтобы создать из Америки «образ врага». Мы будем всячески этому противодействовать, и, не сомневаюсь, мы преодолеем этот комплекс.

– Не кажется ли вам, что Россия вступает в неоправданную гонку вооружений? Слишком большие деньги тратятся на создание бомбардировщиков, подводных лодок

и танков. Ускоренно обновляется парк стратегических ракет. С кем собирается воевать Россия?

– Это все тот же, свойственный Чегоданову, имперский синдром. Недавно один из моих друзей-политологов сказал, что если бы Россия вообще отказалась от ядерного оружия, то исчезли разделяющие нас с Америкой противоречия и опасения. Мне кажется, над этим тезисом стоит подумать.

Американец был сверхмощным суперкомпьютером, тщательно замаскированным под обаятельного джентльмена в клетчатом пиджаке. Под этим пиджаком что-то тихо

шелестело, мерцало, бежали бесконечные ряды цифр. Образ Градобоева, его слова превращались в электронную кривую, в моментальный импульс. Через коммуникационный спутник попадал в секретную штаб-квартиру, где сверялся с другими импульсами, другими прихотливыми кривыми. И другой джентльмен, в таком же клетчатом пиджаке, с такой же горбинкой носа, извлекал из принтера листок с аналитической информацией.

Градобоев чувствовал, что решается его политическая судьба. Невидимый арбитр, долго наблюдавший за ним, теперь

выставляет ему оценку. И от этого зависит, подключатся ли к нему незримые мировые силы, возводящие и низвергающие политиков, создающие и разрушающие государства. Или он не выдержит тест, и его сдует, как тополиный пух.

— Как будет развиваться внешняя политика России? Ведь до сего дня Чегоданов балансировал между Востоком и Западом, между Америкой и Китаем. Но, кажется, теперь мир подходит к своей критической черте, когда необходимо сделать выбор.

— Не стану лукавить. Китай является для нас стратегическим противником. Он занес свою желтую

длань над Дальним Востоком и Сибирью, и без помощи Запада нам не удержать территорий. Мы готовы сотрудничать с Америкой в республиках Средней Азии, не станем препятствовать созданию там американских военных баз. И, в случае необходимости, мы готовы рассмотреть вопрос о создании американской военной базы в Приморье.

Джефри Стикс замер, словно в нем на мгновение остановилось сердце и невидимый объектив сделал стоп-кадр. Вновь ожил, мило заулыбался, сжал пальцы, убрав внутрь кулака расположенные на их кончиках приборы. Задал еще

несколько малозначащих вопросов и выключил диктофон.

— Господин Градобоев, как бы вы отнеслись к тому, чтобы пообедать с нашим послом в Москве господином Кромли?

— Для меня это высокая честь. Однако вы понимаете, как пошатнется моя репутация, если о такой встрече станет известно?

— Мы отдаем себе в этом отчет. Обед будет проходить в резиденции посла Спас-Хаус без афиширования.

— Я жду приглашения.

— Считайте, что вы его получили. О времени вас известят. — Американец поднялся, высокий, с длинной шеей, с милой улыбкой на

маленьких розовых губах.

Когда он вышел, Градобоев с шумом повернулся к Елене:

— Ты понимаешь, что это было? Кто он, журналист или психолог ЦРУ?

— Я тебя поздравляю, — взволнованно откликнулась Елена. — Это рубеж в твоей политической карьере. Тебя приглашают к послу на смотрины.

— Ты помнишь тот знаменитый вояж Горбачева в Англию, где ему устроила смотрины Тэтчер? И ту поездку Ельцина в Сиэтл, где он прошел тест на будущего президента России? Похоже, американцы рассматривают меня всерьез как

будущего президента.

– Ты и есть будущий президент.

– Этому американцу я говорил не то, что я думаю, а то, что он должен был услышать.

– Ты мастер дипломатических формулировок.

– Ты согласна, что я знатная птица?

– Ты великолепная знатная птица. Я бы сказала, жар-птица.

Градобоев крутанулся на каблуке, обхватил Елену за талию и поцеловал в голую шею. Интернет бушевал от его послания, как лесной пожар, расплескивая во все стороны огненные брызги. И там, куда падала капля огня, возникал новый очаг

пожара. Красивая развратница на длинных ногах унесла его веселые шутки в свой многотиражный даблоид, и миллион обывателей уткнулся своими рыбьими глазами в его портрет. Похожий на лесной гриб Луцкер, опасный интриган и лукавый сплетник, передал ему зашифрованное послание от президента Стоцкого. И этот хлыщеватый журналист из «Нью-Йорк тайме» был гонцом могущественного посла, поддержка которого сулила ошеломляющий успех. Первая половина дня прошла превосходно, и можно было теперь пообедать.

ГЛАВА 8

Градобоев и Елена обедали в соседней комнате, куда официант из ресторана принес накрытые крышками блюда. Осетровая уха с ломтями янтарной рыбы была чудесной. Телячий стейк был свеж и едва сочился кровью. Золотистое шабли нежно булькало, проливаясь в бокалы. Елена смотрела, как ест Градобоев. Он делал это, как и все остальное, – быстро, порывисто. Почти не пережевывал пищу, а глотал ее, как сильный голодный зверь. Громко разгрыз хрящ. Жадно отпил вино. Отер влажные губы салфеткой и отбросил ее, так что она упала на

пол.

Все это возбуждало Елену, она восхищалась его неукротимой стихийной силой, которая делала Градобоева президентом бунтующих масс, тоскующих по силе, отваге, мужественной воле. Казалось, Градобоев давит своей мощью на бушующую вокруг него жизнь. Оставляет в ней вмятины, раздвигает, прокладывая в ней коридор. Елена движется вслед за ним по этому коридору среди ревущей по сторонам опасной стихии.

Она как-то в шутку сравнила его с Моисеем, перед которым расступилось Чермное море, и истомленный, алчущий Обетованной

земли народ прошел по сухому дну. И она идет за ним следом по этому открывшемуся, в ракушках и водорослях дну с остатками затонувших кораблей. И обетованной целью, которая влечет их обоих, служит Кремль, его розовое чудо, его мистическое золото, его волшебный магнетизм.

— Я прохожу очень опасный и увлекательный момент, — говорил Градобоев, отпивая вино. — Мировое еврейство, которое следит за процессами в России и участвует в них напрямую, кажется, готово сделать на меня ставку. Мое письмо к опальным банкирам в Лондон имеет самый положительный отклик, и это

сулит мне неограниченное финансирование. Либеральные группы в окружении Чегоданова, олицетворяемые президентом Стоцким, готовы со мной сотрудничать, а это удар в спину Чегоданова. И, главное, американский посол, этот еврей-русофил, декламирующий по-русски Пушкина, приглашает меня на свидание. Еврейская мировая энергия в очередной раз готова питать русскую революцию. Но она опять ошибется. — Он засмеялся и сделал крупный глоток вина.

Елена с обожанием глядела на Градобоева, который представлялся ей кудесником, сжимавшим

драгоценный сосуд. В этот
хрустальный сосуд вливались
разноцветные напитки, светоносные
настои. Смешивались, бурлили.
Меняли цвет — от золотого и нежно-
лазурного, до зловеще-фиолетового и
кроваво-красного. Выпадали
таинственные осадки, вырастали
причудливые кристаллы. И чем
кончится эта алхимия, — возникнет
ли дивный, невиданной красоты
самоцвет или случится
оглушительный взрыв, который
погубит сосуд и алхимика?

— Верю, мой милый, что твоя
интуиция позволит тебе разглядеть
все опасности. Ты — не марионетка
банкиров и послов-русофилов. Ты —

национальный лидер, выражающий волю народа.

Ей было сладко произносить эти слова. Сладко знать, что ее обожание питает его, необходимо ему. Она освещала его своей страстной женственностью, и он переливался в ее лучах. Она создала его образ как воплощение силы, победной энергии и мужественной красоты. И предлагала этот образ другим, приглашая на встречи с ним дружественных журналистов, знакомых писателей и художников, которые, находясь под ее обаянием, писали статьи и эссе о восходящей русской звезде.

— В том-то и тонкость, моя

дорогая. Есть идеология власти, а есть политтехнология. Эта капризная девушка предполагает бесчисленные компромиссы, построенные на лукавстве, обмане, уловках. И суть политики в том, чтобы политтехнология не растворила в себе идею. Иначе лидер становится жалкой песчинкой в руках мировых силачей. Ленин использовал еврейскую энергию и взял власть. Но сохранил ли он при этом идею?

Она не понимала его до конца. Не вникала в тайны его страхов, его мгновенных сомнений. Она воспринимала его целостно, как скульптуру, в которой не видны внутренние вкрапления, прожилки,

изъяны материала. А только великолепная пластика, плод работы искусного скульптора, которым она сама и была. Она создавала эту совершенную скульптуру, продолжая привносить в нее последние штрихи совершенства.

— Ты знаешь, мой милый, как я стараюсь тебе помочь. Я верю в твою звезду, в твою победу. Весь мой опыт, мою любовь, мою веру я посвящаю тебе. Но рядом с тобой нет человека, который был бы тебе советником во всех политических хитросплетениях. Кто бы знал в совершенстве устройство кремлевских лабиринтов, нити и струны, связывающие кремлевскую знать. Кто умел бы

играть на этих струнах.

— Но такого человека нет рядом и с Чегодановым. Был Бекетов, но самодовольный Чегоданов отправил его в ссылку. И сразу просел, стал совершать ошибку за ошибкой. Кстати, кажется, у тебя с Бекетовым был роман?

— У меня роман только с одним человеком. С тобой.

Произнесла это и вдруг увидела, словно сквозь заплывшее водой стекло, лицо с высоким лбом, платиновую седину у висков, чистые спокойные глаза, которые вдруг замирали, устремлялись в таинственную даль, и хотелось приблизить к ним губы, тихо

поцеловать, чтобы не спугнуть видение. Восхитительный полет по шоссе из Брюсселя, когда примчались в Париж, горячий, пахнувший бензином и молодой травой. Кормили голубей у Нотр-Дам-де-Пари. Плыли на милом кораблике по Сене среди отраженных золотых фонарей. И потом чудесная ночь в гостинице, когда она вдруг открывала глаза и в распахнутом окне Эйфелева башня казалась огромной бриллиантовой булавой, которую вонзили в бархат парижского неба.

Все это проплыло и кануло, оставив тихую боль и неясный страх.

— Мне кажется, что мы с

Чегодановым находимся в
непрерывной схватке, каждую
минуту, каждое мгновение. Я
чувствую его на расстоянии в его
кабинете, или в несущемся по
Москве автомобиле, или в
резиденции, куда он приглашает
своих советников. Мне даже кажется,
что я чувствую его в постели с
женщиной. Моя воля и его
столкнулись в непримиримой
борьбе, и я побеждаю, он гнется,
уступает. У меня нет разведки и
полиции, нет воздушных и танковых
армий, нет могущественного
телевидения. Но я сильнее его, он
сдается, уменьшается, а я
увеличиваюсь. Судьба повернулась ко

мне, а от него отвернулась. Но я суеверно боюсь ошибиться, чтобы не отпугнуть судьбу, чтобы я оставался ее любимцем.

— Ты любимец судьбы, мой милый. Она направляет твою волю. Ты действуешь безошибочно. Твоя воля к власти — это воля самой истории. Через тебя действует судьба самой России. Ты — избранник русской судьбы.

Она вдохновляла его, внушала ему мысль о его богоизбранности и видела, что он жадно впитывает эту пьянящую мысль. Она была его Берегиней, благой и охраняющей заступницей. Окружала его непроницаемым коконом, сквозь

который не проникнет злобное слово, черная мысль или убийственная пуля. Его корабль среди водоворотов и бурь летел к победе, а она была статуя на носу его корабля, крылатая сирена с алыми крыльями и позолоченными грудями.

— У меня есть тайна, о которой никому не рассказывал.

— Какая тайна, милый?

— Когда-то в детстве, маленьким мальчиком, на даче я вышел на крыльцо рано утром. Солнце только встало, трава была седая от росы и местами дивно переливалась. Я стоял босиком на сыром крыльце и среди блестящей травы увидел чудесный бриллиант. Стоило чуть

шевельнуться, и он становился лиловым. Поворот головы, и он золотой. Бирюзовый. Алый. Дивно фиолетовый. Я был восхищен, играл с этой бриллиантовой каплей. В моем детском воображении это было сказочное божество, диво, явленное мне. Это была любовь, блаженство, предчувствие всей огромной, предстоящей мне жизни, в которой меня ожидает неизъяснимое чудо. Я неотрывно любовался бриллиантом, и вдруг он погас. Должно быть, капля упала. Я наклонял голову, искал глазами и не находил ее. Будто кто-то унес бриллиант. И я испытал такую печаль, такое огорчение, такую надежду, что когда-нибудь я его снова

увиджу. Мне снова его покажут, и я испытаю высшее блаженство. И недавно, на митинге, мне показалось, что я снова вижу бриллиант. Он приближался со стороны Кремля, был звездой моей победы. Лишь немного не достиг меня и исчез. Я никому не говорил об этом, только тебе.

— Ты мистик. Твоя борьба наполнена знамениями. Ты соизмеряешь свои успехи и неудачи с этими небесными знаками, и они тебя не обманывают.

— Тогда, на митинге, когда толпа ликовала и ненавидела, готова была нести меня на руках в Кремль, мне явился этот бриллиант. Это было око

Божье, Бог видел меня, явился мне, требовал от меня бесстрашия и веры. Мне не страшны угрозы Чегоданова, его намеки на «сакральную жертву». Если со мной Бог, то кто против меня?

— Я открою тебе. Мне приснился вещий сон. Будто ты президент, твой кортеж мчится по московским улицам сквозь Триумфальную арку, и народ кидает тебе цветы. Тыходишь в Кремль, в тронный зал и приносишь присягу на Конституции. А я стою среди генералов, министров, самых знатных людей, и сердце мое ликует. Ты видишь меня и улыбаешься, и все знают, что ты улыбаешься мне.

— А кому же еще? Ты первая леди. Ты самая красивая, самая умная, самая знаменитая женщина России.

— Я хочу заказать твой портрет какому-нибудь прославленному художнику. Может быть, Илье Глазунову с его величественной имперской манерой. Пусть нарисует тебя на трибуне под осенним московским небом, перед туманным Кремлем, и над тобой сверкает бриллиант.

Он счастливо, жадно смотрел на нее. Встал и отбросил стул. Она поднялась навстречу. Он сжал ее, огладил всю, от шеи до колен. Стал раздевать, путаясь в молнии, обрывая

неловко пуговицы. Она стояла перед ним обнаженная, торжествуя, чувствуя свою власть над ним, а он целовал ее шею, плечи, грудь, прижимался горячим лицом к животу, бедрам, коленям. Нетерпеливо и сильно опустил на диван, и она видела, как он стягивает, почти сдирает с себя рубаху, как напрягаются на его плечах сильные мускулы, как блестит золотой нательный крестик.

Он был жаден, неистов, грубо мучил ее. Она терпела его насилие, видела близко над собой его трепещущие белки, приоткрытый рот с крепкими мокрыми зубами. И когда невыносимое и сладкое страдание

расплавил всю зримую явь и его
безумное лицо превратилось в
бестелесную вспышку, из этой
вспышки вдруг возникло другое лицо
— светлый высокий лоб, платиновая
седина на висках, светящиеся тайной
глаза.

ГЛАВА 9

Елена выполняла наказ Градобоева, который хотел привлечь к себе талантливых художников и поэтов, чтобы те привнесли в протестные манифестации творческую фантазию. Превратили политический митинг в театральное действо. Она направилась в галерею, где проходил вернисаж модного художника Скороходова, мастера авангардной скульптуры. Там должны были появиться живописцы, дизайнеры, арткритики, поэты-нонконформисты — вся московская художественная богема, среди которой у Елены было много

приятелей.

Она вела свой изящный автомобиль «опель-вектра» по сырым московским улицам, стиснутая со всех сторон скользящими машинами, красными и белыми вспышками, нервными мерцаниями. Раздражалась видом размытых в дожде фасадов, назойливых реклам, безвкусных вывесок, за которыми вдруг возникал сиротливый ампирный особняк или новомодный дом — скопище нелепых башенок, арок, колонн. И, только раскрыв над собой зонтик и перебегая тусклые лужи, она обрадовалась, предвкушая встречу с милыми сердцу знакомцами, с их

абсурдистскими фантазиями.

Выставка известного мастера Скороходова называлась «Стань птицей», о чем извещал плакат с портретом Скороходова, и впрямь похожего на изумленную, нахохлившуюся птицу – круглые глаза, заостренный нос, гребнем стоящие волосы. Галерея располагалась в помещении бывшего трамвайного депо, и дизайнеры сохранили кирпичную кладку стен, железные балки перекрытий, остатки трамвайных рельсов, врезанных в бетонный пол. Елена, оказавшись в просторном, грубо и хлестко оформленном зале, испытала радостное волнение, не исчезнувшее

с тех дней, когда она содержала небольшую модную галерею, собиравшую весь бурлящий и экстравагантный авангард. Теперь она бегло и счастливо осматривала экспозицию, переходя от одной фантастической птицы к другой.

Одна птица была сконструирована из консервных банок и обрезков жести. Напоминала чешуйчатого петуха с серебристым гребнем и яростными глазами из бутылочного стекла. Петух чем-то неуловимо был похож на самого Скороходова. Тронув жестяной завиток, Елена услышала, как задребезжала скульптура, голова петуха стала раскачиваться, словно

тот собрался клевать зерно.

Другая птица была склеена из старых газет, глянцевых журналов, молочных пакетов. Она стояла на длинных ногах из бамбуковых лыжных палок и являла собой пеструю цаплю с грациозно выгнутой шеей. Эта цапля тоже странным образом походила на Скороходова, и Елена ласково погладила ее глянцевое перо, вырезанное из журнала «Плейбой».

Третья птица была собрана из старых шестеренок, поршней, рычагов, негодных автомобильных узлов, каких-то болтов и пружин. Это была сова с желтыми злыми глазами, которые мигали, как автомобильные

поворотники. Елена усмехнулась, легонько щелкнула в лоб сову, как это делала иногда в ответ на дурацкие шутки Скороходова.

Весь зал был уставлен птицами, на изготовление которых пошли материалы, добытые на помойках и свалках. Тут же висела клетка с живой пестрой птичкой, которая скакала, тонко посвистывая. На полу стояла старая эмалированная ванна с желтоватой жидкостью, похожей на гель, и длинный картонный ящик, полный куриного пуха, словно в ящик вытряхнули содержимое перины.

Елена торопливо обошла экспозицию, среди которой

расхаживали редкие посетители, и приблизилась к группе стоявших поодаль художников, пришедших на вернисаж поддержать своего товарища.

— Бог мой, Елена Прекрасная! — приветствовал ее чернобородый художник с большим лысым черепом, обнимая и слишком тесно к ней прижимаясь. Его большие холсты с волшебными цветами пользовались успехом на европейских выставках. — Сколько лет, сколько зим! А мы думали, что Бекетов увез тебя в иммиграцию и ты открыла галерею на Манхэттене.

— Как видишь, нет. — Елена освободилась из рыхлых объятий. —

Мой удел — русские помойки и свалки.

— Мы не жалуемся, — засмеялся маленький изящный художник с влажными восточными глазами и с серебряным перстнем. Это был мастер поп-арта, чьи работы наполняли музеи мира. — В России все больше помоек и свалок. У меня есть проект превратить одну из подмосковных свалок в портретную галерею современных политиков. Депутаты из пластиковых бутылок, сенаторы из пищевых отходов, генералы из гигиенических пакетов, и в центре свалки — Чегоданов, издохлых собак, обломков самолетов, ампутированных рук и ног. Назвать

экспозицию: «Россия, вперед!»

– Гениальный проект! – Елена чмокнула в щеку остроумного фантазера. – А где, собственно, сам Скороходов?

– Должно быть, вставляет себе в задницу перо попугая. А оно никак не вставляется, – хмыкнул усатый, с изможденным лицом художник, поправляя на шее шелковый бант. Он был мастером инсталляций, которые в зарубежных каталогах именовались «русским стилем».

Елена любила это экзотическое, капризное, животворящее племя, являвшее собой дружное сообщество творцов, безобразников, бескорыстных мечтателей,

неутомимых выдумщиков, так не похожих на тусклых обывателей, или алчных стяжателей, однообразных кликуш или желчных ненавистников. Художники, с которыми она водила дружбу, могли быть пьяницами, курильщиками тонких ядов, мелочными в обидах, но никогда — мрачными дельцами, фанатичными исповедниками, жестокими гонителями. Они были терпимы, ироничны, мечтательны, держались тесной стаей, где каждый узнавал другого по переливу пера, птичьему свисту, изысканному полету, который часто кончался трагическим кувырком под дулом смертоносного ружья.

– Когда ты была с Бекетовым, от тебя была польза, – произнес художник в азиатской шапочке и неряшливой хламиде с пестрым пояском. Он прославился инсталляцией на тему террористических взрывов в Москве. – Ты приводила к нам богатых клиентов с Рублевки. А теперь, когда ты крутишься среди оппозиционеров, кого ты можешь к нам привести? Твой Градобоев любит Шилова и Глазунова, готовых увековечить его неистовый лик.

– Ты не прав. Я раздобуду для вас роскошный заказ. Под него есть деньги, нужны мастера. Через месяц состоится грандиозный митинг

оппозиции. Превратите его в перформанс. В вашем распоряжении площадь, толпа, знамена, транспаранты, фаеры, мегафоны, прожектора. Создайте зрелище, как при открытии Олимпиады.

— Легко, — хмыкнул крепыш с русыми кудрями, чьи руки были черными от металла, сварки, едких кислот и мастик. — Оденем твоего Градобоева в костюм инопланетянина и спустим его на трибуну с аэростата.

— Лучше в горностаевой мантии, с короной на голове.

— А может, в облачении Ильи-пророка, который вернулся на землю?

Художники, которых позабавило предложение Елены, стали фантазировать, то ли шутя, то ли всерьез. Но в это время устроитель выставки, знаменитый арткритик в просторной блузе, с клиновидной бородкой, подошел к микрофону, созывая публику:

– Милостивые дамы и господа! Мы открываем концептуальный проект известного своим непревзойденным искусством Даниила Скорородова: «Стань птицей!» Актуализация этого проекта связана с экзистенцией каждого, кто в глубине сознания несет архетип птицы. Найти в себе этот, глубоко запечатанный архетип,

пробиться к нему, сбросить все позднейшие наслоения и вылететь на свободу – такова задача визуального субъекта, который воспроизводит архетипический порыв души к небу, к невесомости и, если угодно, к первояйцу, из которого родился мир. Прошу! – Он хлопнул в ладоши среди мерцающих вспышек, проблеска телекамер, аплодисментов зрителей.

В громкоговорителе раздался петушиный клекот, крик кукушки, уханье филина. В зал, в свете прожекторов, выскочил совершенно голый Скороходов, с тощими ногами, вислым задом, безумными счастливыми глазами. Не стыдясь наготы, заскакал, запрыгал, колотя

себя руками по ляжкам, пугая дам, вызывая хохот и свист. Подбежал к ванне, плюхнулся в нее, расплескивая желтоватую жидкость, возился в ней. Вышел из ванной, отекая то ли подсолнечным маслом, то ли олифой. Прыгнул в ящик с перьями. Крутанулся в нем. Поднялся, весь в пуху от макушки до пят, с комком перьев в паху, с перьями на лопатках и животе, с пернатыми руками и ногами, с головой толстой от пуха, из которого смотрели круглые хохочущие глаза. Стал скакать, кукарекать, наскакивать на зрителей. Суматошно обегал других птиц, сконструированных из железа,

бумаги и тряпок. И замер, сам превратился в скульптуру.

Елена смеялась, аплодировала, смотрела на летящий пух. И вдруг среди зрителей, со страхом и неверием, увидела знакомое лицо — высокий лоб, платиновая седина на висках, серые внимательные, устремленные на нее глаза. Бекетов стоял в толпе, словно явился из бесплотной вспышки, из слепящих лучей, из ее грешных побуждений и запретных видений.

Они сидели в маленьком артистическом кафе в дальнем углу галереи, среди тех же кирпичных стен, железных балок, врезаемых в пол рельсов.

– Спасибо, что подошла, не убежала, увидев меня, – говорил Бекетов, виновато и робко поднимая на Елену глаза.

– Ты искал меня? Не случайно оказался в галерее?

– Я помню, что ты стараешься не пропускать вернисажи. Помню, что Скороходов твой приятель.

– Зачем же ты меня искал? – спросила она отчужденно, испытав внезапную неприязнь, столь сильную, что готова была встать и уйти.

– Мне хотелось увидеть тебя.

– Да что ты говоришь? Захотелось увидеть? Захотелось вдруг повидаться? А когда ты уехал, не

попрощавшись со мной, когда ты прислал мне это бесчеловечное письмо, так и не удосужившись объяснить... И это после всего, что нас связывало. После всех твоих уверений. И вдруг теперь — повидаться? — Она испытывала желчное отчуждение. Ее горечь, негодование, оскорбленное самолюбие воскресли, и ей хотелось сделать ему больно, уязвить, сказать что-нибудь оскорбительное и надменное, а потом подняться и уйти.

— Я знаю, что виноват. Но у меня не было сил поступить иначе.

— Ты решил, что у меня избыток сил? И поэтому предоставил мне

читать твоё прощальное послание? С твоими обычными виртуозными оборотами речи, которыми ты когда-то меня очаровывал, признавался в возвышенной любви, а теперь отсылал меня от себя, все так же изысканно и изящно? — Она едко смеялась, видя, как её слова ранят его и он потерянно и беспомощно старается ей возразить.

— Я потерпел крах. Меня накрыла тьма. Я не хотел брать тебя в мою тьму.

— Но почему ты меня не спросил? Может быть, я бы захотела идти за тобой во тьму? Может быть, тьма с тобой для меня была дороже, чем солнечный свет без тебя? Когда я

прочитала твое письмо, я хотела кинуться за тобою вслед, но не было обратного адреса. Потом я поняла, что ты бросил меня, и почувствовала к тебе ненависть, желала, чтобы моя ненависть настигла тебя, ударила в спину и ты погиб. Потом я захотела забыть все, что нас связывало, испепелить наши чудесные дни. Я сожгла письмо, и ветер из окна разнес пепел по комнате. Потом я ужаснулась, что наше чудесное время, наши путешествия, безумные и счастливые ночи, восхитительные разговоры — все это пропало бесследно. Я стала ползать по полу, собирала пепел. Плакала над ним, целовала, веря, что молитвой и

слезами можно все воскресить и ты вернешься. Но ты не возвращался. И понемногу я смирилась, отодвинула прочь все, что с тобой было связано. Для меня началась другая жизнь, появился другой человек, которому я верю, которому служу.

Она вдруг заметила, что не желает уходить, хочет остаться, получить от него запоздалое объяснение. Хочет сама объясниться. Что их исчезнувшие, прерванные отношения вовсе не исчезли, а длятся и после того, как он покинул ее. И для того, чтобы эти зыбкие длящиеся отношения наконец прекратились, чтобы она сбросила с себя бремя этих оборванных отношений и

целиком отдалась своей новой судьбе, для этого необходимо с ним объясниться.

Она видела, как страдает Бекетов, как мучительно сдвигаются его брови, бегают неуверенные глаза. И эта растерянность доставляла ей удовольствие. Он, обычно страстный, готовый проповедовать, убеждать, уверенный в своей правоте, теперь был слаб и растерян. Был слабее ее, и она торжествовала.

— Ты права, я виноват. Я оказался никчемным, ни на что не способным. Не сумел преуспеть в своих государственных проектах и замыслах. Оказался недостойным тебя. Проиграл повсюду. Я

пораженец.

Ей вдруг стало жалко его слезной жалостью, которая, как плеснувшая волна, смыла недавнее торжество. Она пристально, с недоумением и состраданием, рассматривала его близкое лицо, обнаруживала больше металлической седины в волосах, новые тонкие морщинки у глаз и у губ. Его глаза были такими же светлыми и глубокими, но в этой лучистой глубине появились темные тени — след неизвестных ей тревог и разочарований. Ей захотелось узнать, как протекли его годы без нее, какие раздумья, словно темные камни, погрузились в светлую глубину его

глаз.

— Как ты жил эти годы? — спросила она.

И он откликнулся на ее сострадание торопливым признанием. Словно спешил высказаться прежде, чем снова набежит на них туча и все, что на мгновение вспыхнуло и засверкало, снова померкнет.

— Ты знаешь, что вся моя жизнь, весь ее смысл был в служении государству. Не Чегоданову, не Кремлю, а Государству Российскому, которое в девяностых годах потерпело страшное поражение. Оно должно было погибнуть безвозвратно. И я спасал его,

сражался за него на невидимой войне, и приближал, вымаливал, выкликал Русскую Победу. Русская Победа – мой символ веры, моя философия, моя религия. Когда я пришел в Кремль к Чегоданову, работала страшная машина разрушения, уничтожавшая последние остатки «красной империи». Хрустели ее кости, трещали разрываемые сухожилия и мышцы. Гибли гигантские заводы, разрушались великие научные школы, разорялись гнезда культуры. Я убедил Чегоданова начать крошечную работу по сбережению государства, вдохновил его пророчествами о Русской Победе. Я

начал ломать машину разрушения. Исполдволь устранял ее операторов, извлекал из нее то одну, то другую деталь. Я менял телеведущих и редакторов газет. Тонкими операциями сеял рознь среди ненавистников страны. Спасал от гибели истинных государственников, которых шельмовали, травили, отстраняли от дел. Чегоданов был силен, прозорлив, исполнен честолюбия, верил в свое мессианство. Восемь лет, два его президентских срока прошли в подготовительной работе, когда страна была готова к рывку, к преображению. Были собраны в казне громадные деньги. Была

воспитана гвардия, способная совершить рывок. Была теория этого грандиозного рывка. Был план, согласно которому всей стране, всему народу будет послан сигнал о начале наступления, возвещена великая цель, прозвучат искренние, идущие от сердца слова. Слова о неизбежной Русской Победе. Дело оставалось за малым. Чегоданов должен был пойти на третий срок президентства. Не пренебечь Конституцией, а сделать несколько легких штрихов, едва ощутимых поправок в этой толстенной книге в переплете из шкуры кенийского козла. Я убеждал Чегоданова, умолял, угрожал, сулил ему политическую и

физическую смерть. Все напрасно. Он испугался, послушал других советников, послушал своих европейских и американских друзей, с которыми встречался в узком кругу властителей мира, веря в их дружбу. Он не пошел на третий срок, а выпустил вместо себя дрессированную говорящую куклу, Стоцкого, который наполнил Кремль дымом бессмысленных слов, мишурой бесцветных поступков. А Чегоданов устранился от власти. Его словно опоили зельем. Он вдруг увлекся заморскими странствиями, катанием на яхтах, строительством дворцов, увлекся женщинами, лошадьми, экзотическими видами

спорта. И словно забыл о стране, которая стала падать и рушиться. Вернулись в Кремль те, кого я удалил, на экранах появились те, кого я отсекал. Они брали реванш за свое поражение и набросились на меня. Чегоданов не захотел меня защищать. Он отдал меня на растерзание врагам, и я после нескольких с ним объяснений, после нескольких бурных ссор ушел. Убежал в захолустье и скрылся. Признаюсь, скрылся и от тебя, боялся твоего презрения, твоего отчуждения. Ты ведь привыкла видеть меня на коне, вдохновляла меня в моих победных ристалищах, верила в мою звезду. Говорила, что это и твоя звезда. Но

эта звезда погасла. Вокруг меня была тьма. И, поверь, я не хотел, не мог увести тебя в мою тьму. Не хотел уподобиться скифскому царю, который в свой смертный курган увлекает любимую женщину, любимого коня, любимый кубок и меч...

Елена слушала его горькую исповедь, и не было в ней обиды, а лишь сострадание. Тот, кого она когда-то любила, гордый и изощренный, истинный, а не мнимый повелитель страны, кудесник интриг, волшебник изощренных уловок, для одних исчадие ада, для других обожаемый идол, — этот любимый человек был

раздавлен, и некому было поцеловать его тихо в глаза, положить невесомо ладонь на его дышащую грудь. Некому было пробежать босиком по холодному полу, распахнуть на окне занавеску, и тогда огромные зимние звезды вдруг всем своим восхитительным блеском хлынут в темную спальню. И его лицо на подушке, и бокалы с недопитым вином, и огромное зеркало покажутся дивно серебряными.

— Я уехал в глушь, в крохотный городок. Затворился, как монах в келье. Ни знакомых, ни телевизора, ни Интернета. Только старушка хозяйка и настоятель монастыря отец Филипп. Русская классика, книги,

которые в юности не успел прочесть. «Казачество» Толстого, когда герой ложится в мягкую траву, где только что лежал лось. «Евгений Онегин», такое русское, любимое, данное тебе таинственной памятью, не твоей, а твоих прапрадедов. Гусь на красных лапах ступает на сизый лед замерзшего пруда и падает. Как это чудесно! Учение Николая Федорова о преодолении смерти. Значит, я могу моей молитвенной волей воскресить отца, умершего от ран после Афганского похода. Воскресить деда, погибшего под Сталинградом. Снова встретиться с мамой. И конечно, я думал о тебе. Порывался звонить, ехать к тебе,

просить у тебя прощения. Особенно ночью, когда пурга стучит в оконце и такая тоска, такое одиночество... Но потом я стал заглядывать в Интернет, стал включать телевизор. Боже, что творилось в стране. Все, чего я когда-то добился, все пустили по ветру. Деньги, которые страна скопила для рывка и развития, — эти деньги разворовали и бездарно растратили. Всех здравомыслящих людей отстранили от управления, и на их место пришли проходимцы и воры. Страну разворовывали, губили остатки государства. Всюду торжествовали мздоимцы и бездари, а эти два самовлюбленных нарцисса, Чегоданов и Стоцкий, позировали

перед телекамерами, как
конференсье. Изображали
государственных деятелей, и от их
слов веяло смертью...

Елена следила за дрожанием его
бровей, мучительным блеском глаз,
страстным и больным движением
губ. Вслушивалась то в горестные, то
в гневные звучания голоса. Эти
звучания были ей так знакомы, так
часто завораживали. Увлекали в
восхитительные лучезарные дали его
фантазий, в темные бездны его
роковых предчувствий, в пьянящую
сладость его мечтаний. Она пугалась
того, что ее прошлое возвращается.
Прошлое, где он был любим,
обожаем, где была она счастлива и

так горько обманута, — прошлое возвращается. Она занавесила его черным крепом, как занавешивают зеркало в доме умершего. Это прошлое вдруг воскресло. Все те же серые пушистые брови, и можно было их целовать, чувствуя, как он замирает от ее поцелуев. Все та же серебристая, как песцовый мех, седина была в его волосах, и можно было вдохнуть их любимый запах. Все та же маленькая родинка темнела на щеке, и можно было нежно ее погладить, видя, как он закрыл глаза и улыбается, позволяя ей чертить на своем лице таинственные письмена. Она пугалась воспоминаний, отталкивала

их, искала в себе недавнюю обиду, старалась угадать в нем вероломство, лукавый умысел, почти угадывала. Но потом опять слышала его измученный голос, видела страстные искренние глаза. Верила и внимала.

— Я видел, как все рушится. Как термиты истачивают остатки страны. Как народ погружается в тупое бесчувствие, и его топчут, обирают, глушат, и он бессмысленно мечется среди своих смертей и несчастий. И вновь из глубин русской истории поднимается тьма, слепая жестокость и ненависть, которые готовы хлынуть на площади городов, во дворцы миллиардеров, в библиотеки и храмы и снова, в

который уж раз, превратить страну в кровавое месиво. В грохот тачанок, блеск топоров, расстрельные рвы, усеянные трупами речные откосы. Но вдруг среди бессмысленных ненавидящих лиц я увидел лидера. Увидел его грозное и ясное лицо. Его живые, исполненные смысла глаза. Его способность повелевать толпой, укрощать ее слепую ненависть. Его волю к власти, которую он готов использовать не во зло, а во благо. Я увидел лидера, способного спасти Россию от Чегоданова, от всего воровского и развратного племени, удержать Россию на последней черте перед пропастью, развернуть ее и повести вперед, к спасению, к

воскрешению, к долгожданной Русской Победе. Монахи в своих скитах говорили, что должен явиться истинный русский лидер. Юродивые на папертях возвещали, что явится русский Спаситель с лицом младенца в чугунных веригах. И я понял, что Спаситель явился. Градобоев, тот русский лидер с наивным и верящим лицом младенца и с чугунными веригами власти, которыми его наградил Господь. Я решил вернуться в Москву и служить ему. Несколько раз я видел тебя рядом с ним. Я понял, что вы близки. Я решил тебя отыскать, преодолев мою робость, чувство вины, боясь вызвать в тебе гнев и презрение. Но,

поверь, я думаю не о себе, не о моей перед тобой вине. Я убежден, что смогу быть полезен Градобоеву. Я знаю Кремль, знаю кремлевских бесов, знаю Чегоданова. Я искушен в интригах и политических комбинациях, в которых слаб Градобоев. Я помогу ему избежать ошибок. Я помогу ему кратчайшим путем, без крови и потрясений, войти в Кремль. Я передам ему мой проект возрождения России. Представь меня ему. Ты будешь знать о каждом моем слове, каждом намерении. Я знаю, ты любишь его. Мы вместе уберем его от опасностей. Поверь мне!

Его лицо было умоляющим и

одновременно настоящим.
Волевым и беспомощным. Любимым
и ненавистным. Лживым и
искренним. Он пришел к ней не ради
нее, не искать ее любви, не умолять,
не раскаиваться. Он по-прежнему
был политик, виртуоз интриг, знаток
огромных и страшных часов, которые
своими шестернями двигали стрелки
русского времени, куранты русской
истории. Он сам был частью этих
часов. Золотым наконечником
стрелки, скользящей по черному
циферблату. Но разве не это она в
нем любила? Не это изощренное
умение? Не это изящное и
виртуозное искусство управлять
загадочной и грозной машиной? Не

она ли помогала ему двигать золоченую стрелку, скользящую от одной золоченой цифры к другой, любила в нем хрустальные поднебесные звоны, а не глухие скрипы и скрежеты?

— Ты хочешь пойти служить к человеку, который является моим любовником? — усмехнулась Елена. — Это не будет тебе мешать?

— Мне многое будет мешать, — ответил Бекетов, опустив глаза.

В артистическое кафе после вернисажа явились художники, и с ними главный герой Скороходов, уже без перьев, в бархатном вальяжном пиджаке с шелковым бантом. На его умытом розовом лице круглились

птичьи глаза, торчал заостренным клювом нос, и волосы напоминали петушиный гребень. Он было устремился к Елене, но та досадливо повела плечом, и Скороходов не подошел. Опустился с приятелями за дальний столик и там шумел, что-то радостно вещал, весело поглядывал на Елену. Извлек из кармана куриное перышко, дунул, и оно полетело в сторону Елены.

— Пойдем отсюда, — сказала Елена, вставая.

Они вышли из галереи. Наступил темный дождливый вечер, и Москва, недавно туманная, тусклая, с вялыми очертаниями бесформенных зданий, казалась

преображенной. Черная, зеркальная, блистающая, она брызгала разноцветными каплями. С желтыми, прилипшими к асфальту листьями, Москва пахнула на Елену осенним хладом, запахом сырых бульваров, тем чудесным временем, когда они с Бекетовым, раскрыв просторный зонт, останавливались под деревьями, сквозь которые светили оранжевые фонари, и сладостно целовались в дожде.

— Где твоя машина? — спросила она, опьянев от этих воспоминаний.

— Я без машины.

— Я тебя подвезу.

Она вела машину среди серебряных всплесков,

разноцветных, на черном асфальте радуг. Москва казалась огромным зеркальным аквариумом, в котором плыли волшебные рыбы, струились цветные водоросли, загорались морские звезды, переливались перламутровые раковины. Елене чудилось, что они ныряли в черные глубины, населенные мерцающими рыбами, проносились среди сверкающих косяков. И вдруг взлетали в лучистую высь, где кружили планеты и луны, реяли метеоры, сказочными светилами проносились дорожные знаки. Желтый кленовый лист прилип к ветровому стеклу, и Елена молила, чтобы его не сдул ветер, а когда он

улетел, испытала больной укол в сердце.

Остановилась у его дома на Тверской, у сырого, в грубом граните фасада.

– Я согласна. Познакомлю тебя с Градобоевым. Вот мой новый телефон. – Она протянула ему визитную карточку. Дождалась, когда он выйдет из машины и исчезнет среди зонтиков, мокрых плащей, тусклых огней.

Бекетов стоял в дожде, не желая уходить в подворотню, из которой дул тяжелый холодный сквозняк. Задуманная им комбинация удалась, но эту удачу сопровождало и гнетущее чувство, будто он совершил

что-то непотребное и постыдное. Мимо, опираясь на палку, шел промокший старик, без шапки, с седыми, тяжело повисшими волосами. К его пальто прицепился зубчатый кленовый лист. И Бекетов подумал, что старик похож на еврея в гетто с желтой звездой.

ГЛАВА 10

Утром он обнаружил, что стебель орхидеи удлинился, наполнился соками. А один из бутонов посветлел, в его глубине напряглись лепестки, вот-вот раздвинут зеленую оболочку. И тогда раскроется белоснежный цветок. Чудесная мамина улыбка, ее прекрасные глаза скажут ему, что она жива, посылает ему из райских садов свою любовь, хранит его в земной жизни своей бессмертной молитвой. Он потянулся к бутону, стал осторожно дышать на него, согревая, наполняя своим обожанием. И ему показалось, бутон слабо дрогнул, в

нем шевельнулись потаенные лепестки.

Градобоев принимал Бекетова в своем штабе, в рабочем кабинете, усадив за маленький столик. Сам же оставался в кресле, отгороженный от визитера полем стола. И это, как показалось Елене, было нарочитым подчеркиванием разделявшей их дистанции. Та же подчеркнутая нарочитость была в том, как оба были одеты. Градобоев в белоснежной рубаше без галстука, в вольной артистической блузе, что подчеркивало его свободу от протокольных предрассудков, необязательный, затрапезный характер встречи. Бекетов же был в

строгом темном пиджаке и при галстукe, как и положено чиновнику, явившемуся на прием к начальству. Все это казалось Елене ненужной театральностью, привнесенной в важную встречу.

— Польщен и, признаться, удивлен вашим визитом, Андрей Алексеевич, — иронично произнес Градобоев, весело, с плохо скрываемым торжеством. — Еще бы, сам канцлер, хранитель печати явился из Кремля в укромный уголок безвестного оппозиционера. Как прикажете понимать?

— Я уже давно не канцлер, и гербовая печать не в моих руках, Иван Александрович. — Казалось,

Бекетов не заметил иронии. – Вы, наверное, знаете, что уже три года между Чегодановым и мной нет никаких отношений. У нас случился разрыв, я уехал из Москвы и веду частную жизнь.

– И все-таки сам этот ваш разрыв с Чегодановым и решение обратиться к его конкуренту – это свидетельство стремительного ослабления Чегоданова. Если самые преданные Чегоданову люди покидают его корабль, значит, его корабль дал течь. Появился другой корабль, надежный и прочный, где можно чувствовать себя в безопасности.

– Я не обижаюсь, Иван

Александрович, на ваше сравнение моей персоны с крысой, бегущей с тонущего корабля. Я уже сказал, что покинул Кремль задолго до того, как ваш корабль был спущен на воду. Вы неверно трактуете мотивы моего визита. Я не перебежчик от слабого и проигравшего к сильному и побеждающему. Чегоданов по-прежнему очень силен, он гораздо сильнее вас. А вы гораздо его слабее. Я пришел, чтобы усилить вас. Сделать вас сильнее, чем Чегоданов, и тем самым устранить Чегоданова и спасти государство.

Все это Бекетов произнес спокойно, с ясными глазами, и Елена почувствовала, что первую схватку,

предложенную Градобоевым, выиграл Бекетов. Но проигрыш не раздосадовал Градобоева. Напротив, сблизил с гостем. Градобоев пересел из кресла за маленький столик, ближе к Бекетову, дружелюбно ему улыбаясь.

— Я трезвый человек, а не безумный романтик. Я отдаю себе отчет в моей слабости и в превосходстве надо мной Чегоданова. Против меня вся государственная машина с танками, телевидением и разведкой. А у меня всего несколько микрофонов и уязвленное несправедливостью общество.

— За вами гораздо большее, Иван Александрович. Вы обладаете волей

к власти. Через эту волю реализуется историческая воля народа, который все эти годы искал своего лидера, ошибался и теперь, в вашем лице, обрел. Вы лидер новой исторической эры. Вы космодром, на который может приземлиться космолет русского будущего. Но он может и не приземлиться, если космодром не сумеет его принять. Он пролетит мимо, в очередной раз оставив над Россией призрачный след несостоявшегося величия. Я пришел к вам, чтобы, в меру моих сил, помочь построить космодром, куда приземлится звездолет русского будущего.

Елену посетило сладостное

воспоминание. Его слова были завораживающей музыкой, в которую он облакал таинственные смыслы. Эта музыка очаровала ее когда-то, сопровождала их встречам, их путешествиям. Была истоком ее любви. Звучала несколько восхитительных лет и умолкла. Елена испугалась, вспомнив теперь эту волшебную музыку. Она видела, что Градобоева коснулось тайное волшебство и он, обольщенный, был готов внимать и верить.

— Вы, Андрей Алексеевич, знаток кремлевских коридоров. Кто они, эти придворные, окружающие Чегоданова? Насколько они ему преданы? Например, режиссер

Купатов. Почему Чегоданов сделал его главой избирательного штаба?

— Купатов — утомленный нарцисс. Он имеет влияние в поредевших рядах русской интеллигенции. Он не способен организовать избирательный процесс, зато способен эффектно курить вишневую трубку и глубокомысленно молчать, как если бы играл в театре немого мудреца.

— А глава Центризбиркома Погребец?

— Он выдал дочь за водочного олигарха и сам имеет фармацевтический бизнес. Он готов обеспечить любые подтасовки на выборах, вплоть до пятидесяти

процентов. По-видимому, после предстоящих выборов, которые пройдут с громадными нарушениями, его отправят послом в маленькую скандинавскую страну, от греха подальше.

— А верно ли, что глава Администрации Любашин посещает закрытые гей-клубы? Ведь геи очень вероломны.

— Гей-сообщество весьма ощутимо в Кремле и правительстве. Вы их найдете в экономическом блоке, в Министерстве культуры, на ведущих телеканалах. Бойфренд Любашина, гоня на позолоченном «бентли», сбил пешехода, и теперь Любашин занят выгораживанием

своего любимца.

— Что скажете о министре внутренних дел?

— Корруптирован, имеет бизнес, связанный с золотом. Его младшая дочь замужем за сыном министра финансов. Считался номенклатурой Чегоданова, но осторожно дрейфует в сторону Стоцкого. Связан со спецслужбами Израиля.

— А кто такой главный телохранитель Чегоданова Божок?

— Умный, хитрый, жестокий. Беззаветно предан Чегоданову. Готов выполнить любые его, самые деликатные, самые грязные поручения. Собрал компромат на всех приближенных Чегоданова и

управляет ими с помощью этого компромата. Имеет долю в нефтяных, угольных, металлургических корпорациях. Покрывает нелегальные казино.

— А каковы истинные отношения Чегоданова с президентом Стоцким?

— Стоцкий ненавидит Чегоданова за множество унижений, которые перенес. Он мечтал вторично пойти на президентские выборы, но Чегоданов в грубой, унижительной форме прервал эти поползновения. Вокруг Стоцкого формируется либеральная элита, недовольная Чегодановым. Политики, олигархи, группировки в спецслужбах, журналисты, деятели

культуры. Они подбивают Стоцкого на столкновение с Чегодановым. Но Стоцкий труслив, нерешителен, боится Чегоданова, хотя готов в подходящую минуту его предать. Во время своей поездки в США имел доверительную беседу с американским президентом. Получил поддержку в случае открытого конфликта с Чегодановым.

— Как вы смогли выжить в этом клубке змей?

— Я был ими многократно ужален.

Елена видела, что Градобоев исследует Бекетова. Чуткий и подозрительный, проверяет не столько его осведомленность,

сколько искренность. Вслушивается в интонации, дрожание голоса, — не зазвучит ли дребезжащий, фальшивый звук. Но Бекетов был лаконичен, спокоен, его характеристики напоминали кусочки смальты, из которых складывался мозаичный портрет кремлевской власти.

Елена смотрела на двоих мужчин, один из которых являл собой ее чудесное, лучистое прошлое, а другой — яркое и упоительное настоящее. Ей не приходилось выбирать между ними. Градобоев был любимый, она служила ему, ее жизнь принадлежала той грозной и стремительной

стихии, которая мчала их обоих. Бекетов был воспоминанием о счастье, которое сменилось болью и отторжением. Она не сравнивала их, боялась сравнивать. Боялась, что от прошлого в ней сохранилось то внезапное упоение, которое она вдруг испытала в ночном дожде, среди пылающих спектров и радуг.

— Но почему вы считаете, что России нужен такой лидер, как я? — усмехнулся Градобоев, будто подтрунивал над Бекетовым, слова которого могли показаться лестью. Но глаза его светились честолюбивым любопытством.

— Я читаю в Интернете ваш блог. Изучаю тексты ваших интервью и

речи на митингах. В них в неявной форме присутствует идеология будущего Государства Российского. Быть может, вам следует поработать над формой, и вы предложите нашему изнуренному, лишенному веры народу государственную философию будущего. Философию Русской Победы. То, на что оказался не способен Чегоданов.

— В чем, смею спросить, суть философии Русской Победы?

— Вы скорбите о разрушении Советского государства, о разгроме советской цивилизации. Говорите о неизбежном, после устранения Чегоданова, возрождении великой России. Вы уповаете на пасхальный

смысл русской истории, которая
каждый раз воскрешает из пепла
сгоревшее государство. Лучезарная
Киевско-Новгородская Русь с золотой
Орантой в Софийском соборе.
Московское царство на семи холмах с
храмом Василия Блаженного —
образом русского рая. Грандиозная
Романовская империя с золотым
Исаакием, подобным пылающему
солнцу, и солнечным Пушкиным,
озарившим русскую жизнь на тысячу
лет вперед. Яростная, как буря,
империя Сталина с рубиновой
звездой над Кремлем и красным
победным знаменем над Рейхстагом.
Вы собираете воедино разрозненное
русское время и возводите новое

Русское царство, таинственное и восхитительное, что витает в туманном небе над московской толпой, которую вы зачаровываете своими пророческими видениями.

Елена чувствовала слабость, словно все начинало плыть и туманиться. Она вслушивалась в музыку слов и понимала, что прошлое не миновало, а лишь дремало, как дремлет стебель под зимним снегом. И стоит пригреть солнцу, он оживает и выпускает свежий зеленый лист. Ей было страшно. Новая жизнь, которую она тщательно строила, в которой спаслась, обрела прочность, любовь, возвышенную цель, — эта жизнь

начинала клониться, теряла стройность. Была готова рухнуть, вновь обрекая на горе. Волшебная музыка слов, которая однажды пленила, теперь была музыкой ее несчастий. И, зная это, она слепо и пьяно шла на эти волшебные звуки, зовущие ее в погибель.

— Вы говорите о беззакониях Чегоданова, о бесстыдном воровстве, о рыдающем от горя народе. О несправедливости, которая воцарилась в России. В земле, где во все века мечтали о райском царстве, о божественных заповедях, о великом человеческом братстве. Каждая православная проповедь, каждый русский стих, каждое устремление

русских святых и героев было одухотворено мечтой о Божественной правде. Правде, которая воцарится в державе между тремя океанами. Православные монастыри среди дивных русских рек и дубрав станут вратами, сквозь которые в Россию устремятся силы небесные, превратят страну в неколебимую Империю Духа.

Елена видела, как глаза Бекетова вдруг расширились, посветлели, словно в них загорелся таинственный свет. Глаза устремились вдаль, будто не было стен кабинета, каменных городских теснин, а открылся чудесный простор с далекими лесами и синей негасимой зарей.

Она знала лучистую силу этого запредельного взгляда, обожала и пугалась его восхищенных зрачков. Градобоев зачарованно слушал, с порозовевшим лицом. Он был околдован льющимися словами, которые вспыхивали, как солнце на гребнях волн. Ему объясняли его предназначение, сулили великую роль, ставили рядом с великими создателями и творцами. Указывали путь к заветной цели среди бессмысленно кипящих событий. И этой целью был Кремль, мистический ковчег русской истории, на котором плыли великие цари и святые.

Елена видела, как Бекетов

обретает над Градобоевым магическую власть, усыпляет его волю и бдительность. И это пугало ее. Это она, сквозь все заслоны, привела Бекетова, подвергает опасности любимого человека.

— Вы говорите о разбойниках, засевших в Кремле, об отравителях колодцев, которые вливают яды в народную душу. Все так. Разорили оборонные заводы, разгромили победоносную армию, теперь они выбивают из рук народа духовное оружие. Внушают русскому народу, что он раб, пораженец, раковая опухоль человечества. Но вы возвращаете русским веру в их Божественную миссию, в

предначертанную русским работу по сотворению на земле Небесного Царствия. Именно эта неповторимая миссия и богоизбранность навлекает на Россию всю мировую тьму, адские силы нашествий, которые стремятся упразднить русский народ с земли, погасить Божественную, зажженную среди человечества лампаду.

Елена закрыла глаза, слушая сладко звучащий голос. Этот голос производил на нее пьянящее действие. Под веками, как в лунатическом сне, возникало пятно жемчужного света. Оно было пленительным, нежным, как цветы жасмина под окном ее детской комнаты. Но в середине пятна свет

пропадал и возникала тень, которая сгущалась и превращалась в черную воронку. Эта воронка вращалась, уносила в свою бесконечную глубину. И ее беспомощная жизнь снова была обречена на несчастье. И надо очнуться, крикнуть, оборвать этот пленительный голос, разбудить очарованного Градобоева, прогнать Бекетова, который явился в ее жизнь как дурное наваждение. Но Елена сидела, закрыв глаза, мучительно и сладко ощущая свою погибель.

— Вы убеждаете народ не отчаиваться. Не верить лжепророкам, сулящим России необратимую гибель. Вы призываете русских верить в Чудо, в необъяснимую,

недоступную чужим мудрецам и звездочетам истину. Каждый раз воскресает наша любимая Родина, подобно тому как совершается пасхальное Христово воскрешение. Русское Чудо – это и есть учение о Русской Победе. И вы – проповедник этого дивного учения.

Бекетов умолк. Минуту или две было тихо.

Градобоев взволнованно встал и начал расхаживать по комнате, двигая плечами, словно хотел освободиться от невидимых сетей, сбросить накинутаые на него тенета.

– Вы правы, Андрей Алексеевич, мир, в котором мы существуем, запутан и сложен. Я часто действую

наобум, ошибаюсь, меня окружают обманщики и невежды. Я не владею наукой политических комбинаций и нуждаюсь в помощниках. Вас привела Елена. Она знает вас лучше, чем я. Она уверяет, что мы должны вместе работать. В чем же ваш план?

Елена почувствовала, как что-то сомкнулось. Так тихо лязгает затвор, поместив в глубину ствола боевой патрон. И надо ждать, когда раздастся неизбежный выстрел.

— Сейчас ваша страсть и прозорливость, ваша харизма и популярность работают не в полную силу. — Бекетов опустил свои зачарованные глаза. Поднял их, и они утратили свой таинственный свет,

были внимательными и спокойными. — Вы должны изменить ситуацию. Должны победить без выборов. Тогда все фальсификации, все вбросы и подтасовки утратят смысл.

— Но это невозможно, — с досадой произнес Градобоев. — Как это сделать?

— Если вы соберете на площади полмиллиона митингующих, то власть падет без всяких выборов. Чегоданов убежит из Кремля. Он не выдержит ненавидящей воли пятисоттысячной толпы, которая готова идти на Кремль.

— Но он прикажет войскам стрелять. В Кремле есть танки,

гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. Ведь Ельцин стрелял по толпе.

— Американцы не позволяют Чегоданову стрелять по толпе. Они позволили Ельцину использовать танки, потому что толпа была красно-коричневая. Сегодня толпа, которая вас обожает, иного цвета. Приведите на площадь полмиллиона москвичей, и Чегоданов убежит из Кремля. И будут назначены новые выборы с вашим участием. И вы станете президентом.

— Но как это сделать? — раздраженно воскликнул Градобоев. — Мои социологи утверждают, что мне не собрать

более семидесяти тысяч.

— Вы должны привлечь на площадь все протестные силы. Пусть множество негодующих лидеров приведет к вам на площадь своих людей, и вам не хватит пространства Болотной.

— Но разве вы не знаете этих оппозиционных царьков! Чегоданов убедил их не участвовать в нынешних выборах, и мы остались с ним один на один. Но каждый мнит себя лидером нации, будущим президентом, и они не придут под мои знамена.

— Я знаю их всех. Знаю их слабости и пороки. Я готов убедить этих мелких честолюбцев встать под

ваши знамена. Я могу воздействовать на лидера коммунистов Мумакина, и все недовольные пенсионеры придут к вам с красными флагами. Могу убедить радикального безумца Лангустова, и все революционеры, все феминистки, все лесбиянки и геи станут требовать отставки Чегоданова. Я знаю, какие струны тронуть в душе еврейского активиста Шахеса, кумира либеральной культуры, и все мировое еврейство, нобелевские лауреаты, американские конгрессмены, израильские раввины будут на вашей стороне.

— Вы считаете, это возможно?

— До выборов осталось четыре месяца. От митинга к митингу, от

одной протестной акции к другой мы будем наращивать силы. Мы запустим креативные технологии, которые станут будоражить толпу. Мы создадим стратегию, которая к весне сделает вас лидером миллионов. В этом мой план. Я готов работать, если вы его принимаете.

Градобоев нервно перемещался по кабинету. Он пытливо и недоверчиво взглядывал на Бекетова, словно стремился обнаружить его вероломство. Обходил его со спины, будто хотел обрушить на него неожиданный удар. Вдруг подошел к Елене, обнял ее за плечи, положил ей руку на грудь, зорко смотрел на Бекетова. Елена сжалась, не в силах

отстраниться, чувствовала сильную руку Градобоева, больно сминавшую грудь. Бекетов спокойно смотрел на безделушки, украшавшие рабочий стол.

Градобоев отошел от Елены:

— Я согласен, Андрей Алексеевич. Действуйте. Елена будет нашей посредницей. А ты останься, — обратился он властно к Елене.

Бекетов вышел из особняка. Дышал холодным, стальным воздухом, в котором кружились снежинки. Медный истукан в треуголке высился над черной водой. Бекетов испытывал острое злое веселье. Внедрение в стан врага

состоялось. Враг был инфицирован.
Теперь предстояло следить за
развитием эпидемии.

ГЛАВА 11

Квартира на Тверской, где жил Бекетов, досталась ему от родителей, которые умерли друг за другом в последний год перестройки. Сначала мучительно умирала мать, и ее угасание протекало одновременно с болезненным угасанием страны. Отец, полковник разведки, изъездивший все горячие точки в Азии, Африке и Латинской Америке, оставшись вдовцом, часами сидел перед портретом жены и плакал. Бекетов видел, как с каждым днем все глубже вваливаются его щеки и утопают глаза, словно мать из портрета забирала его к себе. Отец

умер через неделю после того, как с Кремлевского дворца спустили красный флаг.

Бекетов берег оставшуюся от отца коллекцию фетишей, которые тот привозил из своих военных походов. На полках стояли шкатулки из афганских лазуритов и стеклянные вазочки из голубого гератского стекла. Медные ритуальные колокольчики из кампучийских пагод. Черные африканские маски с инкрустациями из морского перламутра. Чешуйчатые чучела крокодилов из мутных никарагуанских рек.

От матери остались висящие на стене иконы и камушек, найденный

ею на берегу Генисаретского озера. Мать утверждала, что на камне видно изображение Христа, но Бекетов так и не мог его разглядеть.

Над письменным столом висела фотография отца и матери, оба молодые, прекрасные, прижались друг к другу щеками, окруженные едва заметным сиянием. Рядом, в лакированной деревянной рамке, висел портрет деда в лейтенантском мундире с ромбами, с темными, строгими глазами, в которых уже притаилась его скорая гибель. Дед погиб под Сталинградом, в безвестном хуторе Бабуркин, и всю жизнь Бекетов собирался посетить этот горький хутор, поклониться

деду, да так и не собрался.

Отсюда, из этой квартиры, Бекетов уходил каждое утро в школу, укрывшуюся в путанице переулков. Отсюда вместе с рыдающей родней выносил материнский и отцовский гробы. Отсюда уехал в Америку, в Йельский университет, где прослушал курс по социальной психологии. Отсюда уходил на работу в банк, куда пригласил его преуспевающий друг отца. И отсюда же, совершив головокружительный взлет, отправлялся в Кремль, в Администрацию президента, благо рубиновые звезды Кремля, казалось, горели над соседними крышами.

И теперь, проснувшись в этой

большой, пустынной квартире, он увидел, что орхидея распустила на подоконнике свои белоснежные цветы. Они чудесно и нежно раскрыли свои лепестки, и в каждом, среди тычинок, виднелось влажное малиновое пятнышко, словно в глубь цветка упала драгоценная капля. Бекетов был умилен и взволнован. Мама прислала ему в холодную, стальную Москву свой подарок из небесного сада. Явилась ему в виде белых цветов, наполнила дом своей женственностью. И если обернуться, то увидишь ее, – перед зеркалом она расчесывает гребнем свои густые каштановые волосы, и в зеркальной грани застыла восхитительная

радуга. А в соседней комнате она украшает елку, достает из коробки серебряный шар, и чудесное хрупкое стекло сверкает в ее руках, а потом переливается среди смоляных веток.

Бекетов целовал цветы, и ему казалось, что он может погрузиться в их целомудренную глубину и соединиться с мамой в том бестелесном мире, где она существует, ждет его к себе, возьмет, как в детстве, за руку и поведет по волшебному саду.

Теперь он шел на свидание, осуществляя план, одобренный Градобоевым. Он собирался навестить лидера коммунистов Мумакина, чье участие в

предстоящем протестном митинге было необходимо.

Бекетов действовал как одиночка, без помощников и пособников. Тайный договор с Чегодановым лишал его поддержки государственных институтов, спецслужб, услужливых информаторов. Но он в них не нуждался. Многолетняя работа в Администрации научила его искусству манипуляций, познакомила с «политическим классом», с депутатами, политологами, лидерами партий. Каждый, оставаясь неповторимым, обладал общими чертами, был отшлифован одной и той же стихией.

Играл по одним и тем же правилам. Бекетов был тем, кто, в свое время, устанавливал эти правила. Встраивал политиков в геометрию политического процесса. Рисовал геометрические фигуры, в которых каждый, даже самый строптивый, знал свое место.

Бекетов был одинок и слаб перед лицом могучих ударов, грозящих тектоническим взрывом, крушением государства. Но он знал, как устроены тектонические платформы, как распределяются в них скрытые напряжения, и это позволяло ему малыми усилиями сдвигать эти тяжкие плиты, управлять слепыми потоками лавы — людскими

страстями и политическими бурями.

Он оделся перед зеркалом, рассматривая свое лицо, хранившее черты фамильного сходства. Дед и отец из своих деревянных рам наблюдали за ним. Мама из белых цветов орхидеи тихо улыбалась ему. Бекетов положил в карман пиджака миниатюрный диктофон. Кивнул фотографиям и цветам и вышел из дома.

Лидер коммунистов Мумакин не принимал участия в выборах. Он не любил Чегоданова, не желал быть помехой Градобоеву и отнимать у него голоса. Оставался в стороне от схватки, терпеливо, уже двадцать лет, дожидаясь, когда власть каким-

нибудь чудесным образом сама упадет ему в руки.

Он принимал Бекетова у себя на подмосковной даче. Строгий охранник провел его в дом, напоминая мавританский замок, католический собор и древнерусский терем. Усадил в гостиной у застекленной стены, сквозь которую был виден заиндевельный газон, на котором расставлены белые античные музы, бронзовые китайские драконы и копия брюссельского Писающего мальчика. Среди газона изумрудным овалом сиял бассейн с поблескивающей корочкой льда.

Бекетов осматривал гостиную, в

которой царил все тот же синтетический стиль, говоривший о вкусах хозяина. О тех сложных влияниях, которым он был подвержен. На стене висел огромный портрет самого Мумакина в золотой раме. Мумакин в мундире фельдмаршала, с голубой лентой и звездами, со шпагой и треуголкой под мышкой. Он стоял опершись на мраморный постамент. Фоном служил Кремль, что, по замыслу модного художника, указывало на неизбежный триумф. На столиках были расставлены безделушки – подарки друзей и памятные подношения различных делегаций. Здесь были нефтяная вышка, модели

танков и самолетов, бюстики Ленина и Сталина, коврик с бисерным мавзолеем, статуя Свободы, Эйфелева башня и дорогая, выточенная из агата многорукая фигура Шивы. Горел камин, и пахло банными вениками.

Бекетов видел, как к бассейну подошел Мумакин, в шлепанцах, махровом халате. Скинул халат на руки служителя. Поиграл мускулами на холеном, слегка оплывшем теле и кинулся в бассейн, пробивая корочку льда. Плавал, вздымая плечи, нырял, оглашая воздух рыканьем. Вылез, отекая водой. Служитель стал натирать его полотенцем, накинул ему на плечи халат и повел в дом.

Через несколько минут Мумакин появился перед Бекетовым. Розовый, с влажными, причесанными волосами, с синими глазами навывкат и толстыми улыбающимися губами.

— Физкульт-привет! — бодро салютовал он гостю.

Охранник, он же служитель, внес серебряный поднос с фарфоровыми чашками чаю. Тут же стояла вазочка с медом, лежали серебряные ложечки.

— Чаек после проруби ох хорошо, полезно! Отведайте, Андрей Алексеевич, чаек на травках алтайских. Мои ребята, коммунисты, по горам собирали. Полезно, скажу я вам. — Мумакин шумно отхлебнул

чай, прикрыв от наслаждения глаза. — Только что вернулся с Алтая. Как хорошо принимали! Залы везде битком. Ко мне подходили местные бизнесмены, силовики. «Достал нас, говорят, Чегоданов. Берите власть, Петр Сидорович». — Мумакин прихлебывал чай, прикрыв веки, а сам сквозь белесые ресницы посматривал на Бекетова. — А я им говорю: «Помогайте. Давайте возьмем власть, а то всем будет крышка. И богатым, и бедным, и бизнесменам, и бюджетникам». Все согласны со мной.

— Вы правы, Петр Сидорович, стране скоро крышка. — Бекетов незаметно включил диктофон. — Но

чтобы взять власть, даже через процедуру выборов, нужна особая технология.

— Согласен. — Волевым жестом человека, знающего, как нужно брать власть, Мумакин отставил чашечку. — Мы, коммунисты, знаем, как взять власть. У нас собралась блестящая команда, из которой хоть сейчас набирай министров. У нас есть программа выведения страны из кризиса. У нас есть широкая поддержка народа.

Этот властный баритон, волевое лицо борца, уверенные фразы о блестящей команде и народной поддержке были имитацией, за которой скрывалось нежелание

Мумакина братъ власть. Он предпочитал безопасную и выгодную роль умеренного оппозиционера, который удерживал партию от радикальных стремлений. Как только в партии начиналось кипение и появлялась группа революционно настроенных коммунистов, Мумакин ловко вычерпывал эту группу, как вычерпывают пенку из готового закипеть молока. Не один раз Мумакин шел на выборы президента, прекрасно усвоив обряд, который обеспечивал ему второе почетное место. Теперь же и вовсе отказался от выборов, делая вид, что их бойкотирует.

— Быть может, следует изменить

технологии? Поискать иной путь к успеху? – Бекетов чувствовал, что под мягкой, резиновой внешностью Мумакина таится стальной сердечник, сквозь добродушную манеру держаться просвечивает жесткая, почти жестокая сущность. Только благодаря этой сущности Мумакину удавалось контролировать партию, ловко устранять конкурентов. Осторожный вопрос Бекетова насторожил Мумакина, не допуская в партийную жизнь посторонних влияний.

– Вы, Андрей Алексеевич, использовали свои технологии, когда работали с Чегодановым. Тогда от этих технологий трещала страна. –

Мумакин продемонстрировал Бекетову свою неприязнь и снова стал мягким и добродушным. Так металлический корпус подводной лодки покрывают слоями резины, благодаря чему лодка остается невидимой для акустических приборов противника. – Впрочем, все знают, что вы ушли от Чегоданова. Он и вас допек. Ну разве можно так издеваться над бедным народом? Строит дворцы, как арабский эмир. Скупает часы по миллиону долларов каждые, будто хочет купить само время. Жену сослал в монастырь, как Иван Грозный, и живет с развратной гадалкой. Позор на всю Россию. Что

ж, если вы стали патриотом, приходите к нам. Мы вам найдем хорошее место. Нам нужны талантливые осведомленные люди. Ленин брал на службу царских офицеров и чиновников. Кстати, как вы оцениваете политическую ситуацию?

– Ситуация напоминает варенье, в котором, как две мухи, заилипли Градобоев и Чегоданов.

– Подождите, я возьму блокнот.

Мумакин достал из ящика блокнот и авторучку, которую партия использовала в качестве сувенира. На ней была нанесена размашистая роспись «Мумакин».

– Рейтинг Чегоданова

колеблется у отметки тридцать шесть процентов. Протестная площадь дарит Градобоеву шестнадцать процентов. Разрыв сокращается. Но Градобоеву не хватает мощности, чтобы увеличить численность толпы и надавить на Чегоданова. Но от вас зависит конечный успех Градобоева.

Бекетов говорил, а Мумакин быстро писал, чуть высунув язык, как прилежный ученик. Была известна его манера записывать в блокнот мысли, почерпнутые в беседах.

— Необходимо резко, уже к следующему митингу, увеличить протестную толпу. Создать поле негодования и ненависти к Чегоданову, и его популярность

покатится вниз. Он утратит волю к сопротивлению, и его избирательная компания станет разваливаться. В схватку вступают темперамент, воля, психология. Необходимо сломить волю Чегоданова.

Мумакин писал, облизывая губы, наклоня лобастую голову. Казалось, он пишет диктант. Бекетов старался говорить медленнее, чтобы тот успевал записывать.

— Чтобы увеличить толпу, необходимо вам, Петр Сидорович, привести на площадь своих сторонников. Дайте приказ райкомам, чтобы они привели коммунистов, и площадь запылает красными флагами. То же пусть

сделают радикалы Лангустова с их черными масками и натренированными кулаками. То же – еврейские активисты Шахеса, способные собрать на Болотной все мировое еврейство. То же – мадам Ягайло, за которой явится на площадь весь безумный шоу-бизнес, все панки, рок-группы, гей-оркестры, превратив Болотную в карнавал.

Мумакин перестал писать. Бекетов покушался на его респектабельность. Приверженность традиционным ценностям гарантировала ему популярность среди «красных пенсионеров», но отталкивала молодежь и либеральных вольнодумцев. – Вы

хотите, чтобы я встал под одни знамена с Лангустовым, чью задницу не пропускает ни один гей? Хотите, чтобы я встал рядом с Шахесом, от которого будет разить чесноком на всю Болотную? Или с этой, прости господи, Ягайло, у которой под юбкой ползают мухи?

Диктофон Бекетова неслышно работал, заглатывая в свой крохотный зев все поношения.

— Вы не точно оцениваете отношение к вам Чегоданова, Петр Сидорович, — сказал Бекетов. — Он готовится устранить вас из политики, как только станет президентом. Он хочет заменить вас на более молодого и реформировать компартию,

превратив ее в социал-демократическую. Вам предстоит выдержать страшный пропагандистский удар, как только Чегоданов станет президентом.

Мумакин замер, и его синие, под белесыми ресницами глаза тревожно забегали.

— Мы выдерживали любые удары. Коммунисты выдерживали удары и оставались коммунистами.

— Вы думаете, Петр Сидорович, Чегоданов повторит пропагандистские трюки прежних лет? Выпустит тиражом три миллиона экземпляров грязную газету «Боже упаси», где станет пугать народ ГУЛАГом, называя вас

новым Сталиным? Или расскажет о вашем потаенном бизнесе в Сирии и о вашей банке на Кипре? Или напечатает фотографию вашей дачи, где вы, как римский патриций, расхаживаете среди обнаженных мраморных граций? Или опубликует ваш портрет в мундире царского фельдмаршала и рядом нищих русских людей?

Мумакин зло сдвинул брови, презрительно оттопырил губу:

— Вы, Андрей Алексеевич, долго находились в стороне от политики. Кто-то сказал, что вы, как преданный сеттер Чегоданова, потеряли нюх и поэтому он вас прогнал. Все, что вы мне сейчас изложили, давно не

действует. Наш народ научился отличать лживую пропаганду от правды. Думаю, Андрей Алексеевич, наша встреча подходит к концу.

Лицо Мумакина стало надменным, властным. Теперь он напоминал свой портрет, и у Бекетова мелькнула мысль, что Мумакин немало времени провел перед портретом, чтобы усвоить это величественное выражение.

— Вы меня не дослушали, Петр Сидорович. Чегоданов не станет повторять избитые пропагандистские штампы. Боюсь, что он прибегнет к новым формам. Я очень боюсь, что он может сделать одну вредную утечку.

Мумакин сжал веки, превратив глаза в узкие синие щелки. В них мерцали подозрительность, испуг, чуткая осторожность.

— Это какие же новые формы?

— Видите ли, Петр Сидорович, когда я работал в Администрации и был допущен к секретной документации, я видел один документ. В виде текста, скрепленного вашей подписью, и видеокассету, подтверждающую подлинность документа. Это очень серьезный текст, который хочет опубликовать Чегоданов, чтобы раз и навсегда устранить вас из политики.

— На что это вы намекаете? — побледнел Мумакин, и его желваки

стали желто-костяными.

— Это договор, заключенный вами с Администрацией первого президента, где гарантируется сохранность компартии как легальной политической силы. Там всего три пункта. В первом вы обязываетесь удерживать партию от радикальных революционных выступлений. Во втором вы обязуетесь не претендовать на высший пост в государстве. В третьем вы обещаете поддерживать президента по всем вопросам государственной важности. И ваша подпись, Петр Сидорович. А на видеокассете вы подписываете этот документ в присутствии главы

Администрации.

— Это подделка, фальшивка! — хрипло взревел Мумакин. Стал похожим на вепря белесыми, свиными ресницами, открывшимися зубами, лютыми испуганными глазами.

— Если эта бумага будет обнародована, Петр Сидорович, то станет понятным ваше обращение к членам партии в октябре девяносто третьего года, когда вы призвали коммунистов не выходить на улицы и не поддерживать революционный Дом Советов. Найдет объяснение ваш поступок в девяносто шестом году, когда вы фактически выиграли президентские выборы, но

поспешили поздравить своего соперника с победой, отказались от власти. И наконец, все ваше поведение в Государственной думе, когда вы голосовали за антинародный бюджет, утверждали на посту премьер-министра олигархических ставленников, оказывая власти неоценимую услугу.

— Нет такой бумаги, вы лжете! Шантаж не пройдет!

— Я представляю, какие комментарии в прессе последуют после опубликования документа. Вас назовут предателем почище Горбачева. Вас назовут тем, кто поймал в ловушку всю «красную» энергию, бушевавшую в партии, и

там ее умертвил. Вы будете главным могильщиком коммунизма и Советского Союза, наряду с Горбачевым и Ельциным. И вам не помогут ваши стертые штампы про «опытную команду» и «поддержку народа». Но вы избегнете позора, если Чегоданов не станет президентом. Помогите Градобоеву, Петр Сидорович.

Мумакин претерпевал странные превращения. То становился разъяренным вепрем, готовым броситься на Бекетова. То жалкой побитой собакой, получившей удар палкой. То бледнел, словно терял всю кровь. То наливался тяжелой сплошной краснотой, будто был

готов лопнуть и истечь дурной кровью. Наконец он сник, уменьшился, бессильно опустил плечи.

— Что я должен делать? — чуть слышно прошептал посинелыми губами.

— Если позволите, я вам подскажу.

Мумакин схватил блокнот и ручку и приготовился записывать.

— Вам следует встретиться с Градобоевым и договориться о стратегическом союзе. — Бекетов говорил медленно и отчетливо, чтобы Мумакин успевал записывать. — Он пообещает вам, в случае своей победы, назначить вас

премьер-министром. Должность
премьера — это огромный для вас
успех. Успех всей компартии.

Мумакин писал старательно,
высунув кончик языка, и, видимо,
этот привычный процесс
записывания вернул ему
самообладание. Его бледность
прошла, лицо стало розовым, глаза
наполнились смыслом. Бекетов
продолжал диктовать:

— Народ воспримет ваш союз с
энтузиазмом. Опытный матерый
политик, связанный с великим
советским прошлым, и молодой
энергичный патриот, олицетворение
будущего. Вы приведете на
следующий митинг своих

коммунистов, и площадь будет пламенеть красными флагами, один цвет которых вызовет у Чегоданова ужас. Его популярность резко упадет, его воля к борьбе будет подавлена, и он проиграет на выборах. Ваша позорная тайна никогда не всплывет.

— Да, но еще не созрело время. Еще надо шлифовать команду. Поработать над программой, — оторвавшись от блокнота, трусливо лепетал Мумакин.

— Это ваш звездный час, Петр Сидорович. Вы объявите партии, что все эти годы вы героически спасали организацию, готовя ее к победе. И этот час настал.

Мумакин снова писал. Бекетов

знал, что у Мумакина собрана целая библиотека этих исписанных блокнотов, где тот стенографировал умные высказывания, учился политическим премудростям. И Бекетову захотелось узнать, какие из его мыслей вошли в эту домашнюю картотеку.

— Партия осуществляет свою экономическую программу. Страна будет спасена, и вокруг партии объединятся все патриоты, бедные и богатые, православные и мусульмане. Я же, с моими скромными возможностями и ограниченными знаниями, берусь вам помогать. Стану вашим преданным помощником. И таким образом вы

впишете себя в русскую историю. Вы — великий преобразователь и спаситель Отечества, а не ренегат и иуда.

Бекетов умолк. Смотрел на Мумакина, который отложил блокнот и мучительно обдумывал ответ, которого ждал от него Бекетов. Вздыхал, потирал большой лоб, потел. Потом поднял на Бекетова измученные сомнениями глаза и произнес:

— Я согласен. Устройте мне встречу с Градобоевым.

Вошел охранник, неся телефон:

— Петр Сидорович, звонят из спортклуба.

Мумакин схватил телефон:

— Минутку, Андрей Алексеевич, — вышел с телефоном в соседнюю комнату.

Бекетов, оставшись один, смотрел на портрет фельдмаршала, на статуэтки Сталина и Ленина, на сноп пшеницы из какой-нибудь кубанской станицы. Ему вдруг мучительно захотелось заглянуть в блокнот Мумакина. Он потянулся к блокноту. На всех страницах ровно и аккуратно были выведены каракули, бессмысленная путаница ничего не значащих строк. Бекетов оторопело смотрел, а потом рассмеялся. Еще одна тайна последнего коммуниста России была разгадана.

В гостиную вернулся Мумакин:

— Собираемся поиграть в волейбол. Очень полезно, скажу я вам. Приходите, будем играть. Мы же теперь в одной команде.

— Натягивайте волейбольную сетку, Петр Сидорович. А я пойду расставлять другую.

Бекетов покидал дачу Мумакина, унося в диктофоне запись беседы. Тихо смеялся, вспоминая блокнот со священными каракулями.

ГЛАВА 12

Иногда Бекетову казалось, что у него два разума, два сердца, две души. Его жизнь движется двумя отдельными руслами. Первая, потаенная жизнь исполнена молчаливых и слезных переживаний, связанных с умершими родителями, с дедом и бабушкой, с давней родней, строго и чудесно взиравшей с фотографий семейного альбома. Было загадочным его появление в этом восхитительном и мучительном мире, в котором ему предстояло пробыть и погаснуть, так и не разгадав его тайну. Вторая жизнь, явная, суетная, переполнена

политикой, виртуозными
комбинациями, рискованными
интригами, бесчисленными
встречами, каждая из которых уносит
крохотный ломтик бытия, как эрозия
уносит с горы отлетевший камушек.
С каждым порывом ветра, с каждой
дождевой каплей или солнечным
лучом гора уменьшается, неуловимо
теряет свою высоту, свои очертания.

Но иногда два этих русла
совпадали, и ему открывалось, что
его жизнь драгоценна во всех
проявлениях. Он движется в
бездонном потоке времени, вмещает
в себя вселенские катастрофы и
беды, божественные озарения и
взлеты. И тогда в его жизни не

оказывалось мелочей и тусклых случайностей, а все было проявлением космического смысла. В эти мгновения он переживал вдохновение и бесстрашие, как если бы смотрел в ослепительное звездное небо, был частью одухотворенного Космоса.

Опять было зимнее утро, и белые цветы орхидеи, и чудесная встреча с мамой, которая смотрела на него из цветов. В доме витала бестелесная материнская тень, и иногда ему казалось, он слышит скрип комода, и это мама достает свое синее платье.

Он поцеловал цветы, надел под рубашку крохотный диктофон,

поместив его рядом с нательным крестом. И вышел в бесснежный, стальной город.

Штаб-квартира революционного писателя Лангустова помещалась в сумрачных переулках у Трех вокзалов. Суровые молодцы в кожаных куртках осмотрели Бекетова и пропустили в подвальное помещение. Оно напоминало бомбоубежище, разрисованное хлесткими граффити, — революционные бойцы водружали на баррикадах знамена. Другие бойцы схватились с отрядом ОМОНа, — шлемы, щиты и дубинки мешались с кулаками, сжимавшими камни, палки, обрезки арматуры. Тут же

сквозь тюремные решетки смотрели аскетические, волевые лица несломленных политических узников.

На бетонном полу среди этих фресок телегруппа расставляла штативы, осветительные приборы, серебристые зонтики и экраны. Стояли камеры на треногах. Сновали операторы, режиссеры. Слышалась французская речь.

Охранник провел Бекетова через импровизированную съемочную площадку и ввел в комнату, где взору Бекетова предстал Лангустов.

Он сидел в старом плетеном кресле. Его небольшое коричневое лицо было в сетках морщин,

пролежавших сразу в нескольких направлениях, каждое из которых говорило о прихотливых поворотах его судьбы, о страстях и страданиях, запечатленных в его блистательных книгах. Лицо Лангустова с коллекцией морщин и было собранием его сочинений, библиотекой его странствий, гонений, военных авантур и революционных затей. Бобрик на его голове был седой, жесткий и ожесточенный, как те уличные схватки, в которых участвовала его авангардная партия. Полицейские разгоняли дубинами демонстрации, а лидера тащили волоком в железный автозак, в котором прическа героя

обретала свой стальной нахохленный вид. На руках Лангустова переливались серебряные перстни с темно-зелеными изумрудами и агатами. В этих перстнях Бекетову почудилось что-то причудливое и порочное, говорившее о тайных пристрастиях революционера, о потаенной жизни, куда укрывался Лангустов от обожающих глаз единомышленников, от бдительных соглядатаев власти, от назойливых журналистских преследований. Его подбородок украшала острая бородка, тщательно скопированная с портрета Троцкого. Это эпатирующее сходство должно было указывать на близость Лангустова к европейским

левым интеллигентам,
проповедующим «перманентную
революцию». Но самым
удивительным в Лангустове были его
глаза. Зеленые, с металлическим
отливом, они напоминали бронзовых
жуков, поселившихся в глазницах. Не
связанные с его остальным обликом,
они обладали магической силой,
сочетали Лангустова с волшебными
мирами, откуда он черпал творческое
вдохновение. Все это моментальным
взором объял Бекетов, поместив
экстравагантный образ Лангустова в
замысел своей с ним беседы. Так
помещают в сафьяновый футляр
драгоценную скрипку.

— Признаться, удивлен, —

произнес Лангустов, усаживая Бекетова на шаткий неудобный стул, покачивая на голой ноге стоптанным шлепанцем. — Когда мне сказали, что вы пришли, я подумал, что в моей комнате должен был появиться дракон с чешуйчатым хвостом, перепончатыми крыльями и ядовитым пламенем. На его зубах остатки растерзанных политических организаций, а в когтях — головы замученных политиков и идеологов. А вы приняли облик заурядного человека.

— Не стоит обманываться, — ответил Бекетов. — Приглядитесь, и вы заметите чешую.

— В моих правилах не пускать в

свой дом врага. Но в вашем случае я сделал исключение. Мне захотелось посмотреть, как выглядит человек, изуродовавший весь идейный и политический ландшафт России. Вы оставили после себя мертвые овраги и ядовитые болота, где невозможна никакая жизнь. Мне хотелось увидеть того, кто загонял меня и мою партию в капканы и ловушки, как загоняют волков. Именно вы заставили меня и моих людей взяться за оружие. Благодаря вам несколько моих соратников все еще томятся в тюрьмах. Благодаря вам я изведаль сладость ареста, мед тюремных пыток и вкус баланды, которой меня потчевали на зоне.

Все это Лангустов произнес с дрожанием маленьких красивых губ. Казалось, в нем бьется наркотическая судорога. Зеленые глаза горели, как два бронзовых жука.

— Видите ли, — ответил Бекетов, — я делал все, чтобы хрупкое государство не превратилось в Гуляйполе, по которому из конца в конец носятся стрекочущие тачанки и конные армии Буденного.

— Вы тот, кто десять лет сдерживал русскую революцию. Стравливал одних революционеров с другими. Не давал состояться союзам. Разрушал репутации с помощью грязных интернет-

провокаций. Вы подкупали одних и запугивали других. Вы продлевали существование этого подлого режима, противного всем законам природы. Это вы не позволяли регистрировать нашу партию. Вы объявили ее фашистской. Вы подложили мне в постель проститутку и вывесили в Интернете интимные сцены. Это вы распространили слухи о моих гомосексуальных пристрастиях. Вы засылали в наши ряды шпионов, и один из них указал на склад автоматов, после чего арестовали меня и моих товарищей. Вы самый отвратительный и вероломный пособник Чегоданова и войдете в

историю наряду с Малютой Скуратовым, Победоносцевым или Гришкой Распутиным.

В Лангустове трепетала истерическая судорога, от которой дрожала голая нога. В глазах жужжали два бронзовых жука. Бекетов чувствовал исходящую от Лангустова ненависть. Казалось, вот-вот последует взрыв. Кулак, усыпанный перстнями, ударит в Бекетова, и седоватая борода остро вонзится в него.

— Вы правы, я мешал вам, потому что считал вас наиболее опасным среди всех возмутителей спокойствия. Вы один, со своим радикальным бесстрашием, своими

ошеломляющими художественными поступками, своими изумительными книгами, могли стать катализатором революции. Остальные были рыхлыми говорунами, тусклыми резонерами, пошлыми критиканами. Поэтому я мешал вам, как мог.

– Вы хотите, чтобы я благодарил вас за это?

– Но отрицая и уничтожая, я вас берег. Я сорвал операцию ФСБ, в процессе которой на вас должен был наехать грузовик. Когда у вас изымали автоматы и надевали на вас наручники, вас должны были застрелить при попытке к бегству. Я не позволил это сделать. Прокуратура требовала для вас

шестнадцать лет тюрьмы, но я повлиял на судью, и вам дали только четыре, и по моему настоянию через два года выпустили досрочно. Теперь я могу вам об этом сказать.

— Боже мой, я должен этому верить? Чем же я заслужил ваше расположение? — Зеленые жуки в глазницах шевелились, словно хотели улететь.

— Своими книгами. Я считаю вас великим писателем. Россия должна гордиться тем, что имеет такого писателя. И парадокс заключается в том, что ваши изумительные книги — плод ваших безумных походов, ваших военных и революционных авантур. То, что в моих глазах делало

вас опасным для государства и побуждало меня подавлять вас, это же, воплощенное в романы и повести, восхищало меня и заставляло вам помогать.

— Действительно, парадокс, — произнес Лангустов, вдруг успокаиваясь, и вместе с ним успокоились бронзовые жуки, раздумав улетать. Электрическая судорога перестала терзать его плоть. Жар ненависти отхлынул.

— Я понял, что ваше творчество есть непрерывный репортаж о своей собственной жизни. Жизнь отстает от вашей способности ее изображать, и для того, чтобы не иссякали сюжеты, вы форсируете вашу жизнь,

бросаетесь в авантюры, которые тут же переводятся в блистательные страницы. Поэтому, быть может, вы должны благодарить меня за свои злоключения. Я являюсь незримым соавтором ваших книг.

— Вы хотите, чтобы я поделился с вами гонораром? — захохотал Лангустов, и его седая борода смешно задрожала. Он уже не выглядел враждебным. Красуясь, любовался серебряными перстнями.

Бекетов угадал в Лангустове единственное незащищенное место, куда мог проникнуть хитроумный замысел. Лангустов, агрессивный и недоверчивый, был изведен преследованиями и предательствами.

Но он был восприимчив и доверчив, если речь заходила о его творчестве. Именно о творчестве гениального художника собирался говорить Бекетов. Так рыцари во время турниров били копьем в узкий прогал между шлемом и нагрудным доспехом, разрывая горло врагу. Так истребитель танков направлял снаряд под самую башню, пронзая сердцевину машины.

— Поразительно ваше описание пикника на берегу Гудзона в Нью-Йорке, где вы с двумя чернокожими жарили мясо и пили водку, а потом подрались. Как замечательно описана эта драка с черными бомжами под проливным дождем у

дымного костра. Вы оглоушили камнем негра, а мимо проплывала баржа, и матросы смотрели на вашу драку. Это мое любимое место.

Лангустов самодовольно кивнул. Согласился с тем, что это великолепный образец современной прозы. Поощрял Бекетова на дальнейший разговор.

— А это описание ночного кафе на Монмартре, где вы курили гашиш, и огненная Эйфелева башня раскачивалась над Парижем, как маятник, и проститутка в красных чулках танцевала на столе, позволяя художникам целовать свою голую грудь, и вы вскрыли себе вену осколком стекла и написали на

стене: «Натали», а потом лежали в клинике, и ржавое пятно на бинте напоминало бегущего зайца... Я перечитываю это место, наслаждаясь языком вашей прозы.

— Эта проститутка Натали умерла от передозировки. Ее нашли в канаве, недалеко от Сакра-Керра. — Лангустов мечтательно улыбнулся, то ли от сладостных парижских воспоминаний, то ли от творческих переживаний.

— И этот ваш рассказ о сербской пушке, которая обстреливала Сараево. Артиллеристы дергали за веревку, пушка с грохотом подпрыгивала, изрыгала дым. А усталые артиллеристы подносили

новый снаряд. Они предложили вам дернуть за веревку, ваш снаряд разорвался где-то в центре горящего города, и вы гадаете, кого мог убить ваш снаряд – ребенка, женщину или пробежавшую мимо собаку. Это был ваш вклад в сербское сопротивление. Вечером вы пили с артиллеристами кислое вино, и во тьме, как огромный уголь, тлел подожженный город.

– Наутро на позицию приехал Караджич, он подарил мне книжку своих стихов, а я преподнес ему мою знаменитую «Боснийскую сагу».

– А ваше описание баррикады у Дома Советов в девяносто третьем году. Как священник в золотой

епитрахили вел крестный ход среди обломков арматуры, поломанных досок, кусков асфальта. И в эту процессию вставали православные, и «красные» офицеры, и писатели, и бомжи, и юноши с деревянными ружьями, и жених с невестой в подвенечном облачении, и какой-то старик, похожий на языческого волхва, и гитарист с гитарой, и какой-то иностранец, не знавший русского языка. Все шли под блеклым солнцем, неся перед собой икону. Вы смотрели на них, и вам хотелось рыдать.

Лицо Лангустова, сухое, едкое, в колючих морщинах, умягчилось и стало печальным.

— Их всех сожгли в ночных крематориях. А меня судьба сберегла и куда-то продолжает вести. — Лангустов, казалось, забыл о Бекетове и погрузился в себя. В ту глубину, где таилась неразгаданная загадка судьбы, кидавшей его по парижским притонам, интеллектуальным европейским кружкам, военным окопам, русским тюрьмам, и он летел, оставляя искристый след своих стихов и романов. Как сгорающий в ночи бенгальский огонь. — Зачем вы ко мне пришли? Я знаю, что вы не у дел. Порвали с Чегодановым. Мне не ясна причина вашего разрыва.

— Я служил Чегоданову, помогал

ему, вдохновлял, устранял врагов, но только для того, чтобы уберечь Российское государство от падения. Мне казалось, что Чегоданов способен на рывок, на преобразование, на подвиг. Что он начнет наконец долгожданное русское развитие. Но он ничего не делал — строил дворцы, купался в лазурных бассейнах, катался на горных лыжах, предавался наслаждениям со своей придворной гадалкой Кларой. Страна сгнивала, народ вымирал, мы проваливались в пропасть. И я понял, что спасение в революции. Пусть будет взрыв, пусть будет пролитие крови, пусть последуют неисчислимые несчастья.

Но это остановит гниение, выведет на авансцену новых людей, спасет Россию. Выбирая между гниением и революцией, я выбрал Революцию. Но Революция — это вы. Вот почему я пришел.

— Но они украли у меня Революцию! — бурно воскликнул Лангустов, и зеленые жуки вспыхнули злобной бронзой. — Этот тупой буйвол Градобоев обокрал меня и увел мою возлюбленную, мою ненаглядную, мою неистовую красавицу Революцию. Он обманом овладел народной стихией и умертвил ее. Он превратил баррикады в эстрадную сцену. Уличные бои — в маскарадные

шествия. Террористические акты – в жалобы на кремлевское начальство. Он могильщик Революции. Он положил на глаза Революции два медных пятака со своим изображением. Ненавижу его!

Эти последние слова Лангустов выкрикнул тонким, сорвавшимся голосом. Его борода гневно трепетала. Морщины бежали в разные стороны, и казалось, вот-вот они разорвут кожу лица. Бекетов видел перед собой человека, снедаемого ревностью, изведенного ненавистью, которая лишила его чуткой бдительности. Делала беззащитным. Он был похож на черепаху, лишенную панциря. На

змею, скользнувшую из чешуйчатой кожи.

— Наступает ваше время. Революция выбирает вас. Вы должны прийти на Болотную площадь и встать рядом с Градобоевым.

Лангустов захлебнулся клекотом, задрожал маленьким злым кадыком:

— Вы хотите, чтобы я встал рядом с этим претенциозным самозванцем Градобоевым, вскормленным на деньги ЦРУ? Или вы пригласите меня встать рядом с этим коммунистическим пельменем Мумакиным? Или с этой вислозадой куртизанкой Ягайло? Или с Шахесом, с этой рыбой фиш в

чесночном соусе? С этими мелкими жуликами, смешными паяцами, колченогими карликами, которые за американские деньги имитируют русскую Революцию?

Лангустов хохотал, разбрызгивал блеск перстней, кожаная тапка с его ноги соскочила, и Бекетов увидел, что ногти его покрыты нежно-розовым лаком.

Диктофон на груди Бекетова бесшумно заглатывал этот дребезжащий хохот, визгливую брань, язвительные поношения.

— Я разделяю ваше презрение. — Бекетов направлял луч своей воли в маленький дрожащий кадык Лангустова, туда, где у древних

рыцарей находился просвет между шлемом и нагрудным доспехом. — Площадь, которую еще и еще раз станет собирать Градобоев, будет переполняться толпой. Толпа от раза к разу станет приближаться к критической массе, за которой последует революционный взрыв. Но чтобы площадь рванула, нужен взрыватель. Все перечисленные вами герои не годятся для роли взрывателя. Состоят из негорючих материалов. В них нет взрывчатки. Их порох либо сырой, либо вовсе отсутствует. Вы — взрыватель!

Голос Бекетова зазвенел певуче и сладостно. Лангустов замер, превратившись в птицу, которая

услышала манящий звук.

— Ваша маленькая яростная партия, как религиозный орден, готова воевать, жертвовать, побеждать. Вы воспитали когорту пассионарных бойцов, способных сдетонировать взрыв невиданной силы. Россия заминирована революцией. В каждом мегаполисе, в каждом городе, городке и селении притаилась революция, готовая полыхнуть и рвануть. Никто, кроме вас, не может крутануть взрыв-машинку. Никто не решится взорвать фугас революции. Но когда он взорвется, этой вспышкой озарится планета, содрогнутся небоскребы, авианосцы и храмы. Посыплются все

устои этого мерзкого
несправедливого мира. Побегут из
своих рублевских замков тучные
упыри. Кинутся вон из своих
кабинетов продажные министры и
депутаты. Станут улепетывать
казнокрады, телевизионные лгуны и
агенты полиции. Но их повсюду
будет настигать возмездие. Их трупы
в сточных канавах будут обгладывать
собаки. Пепел от их сгоревших
дворцов затмит солнце. И народ,
прекрасный и яростный, пройдет по
трупам своих мучителей, распевая
революционные песни. Слова этих
песен напишете вы, Лангустов.
Русская революция будет вашей
главной великой книгой, которую

переведут на все языки мира!

Морщины Лангустова, казалось, сошли с ума. Метались во всех направлениях. Сходились в коричневые жгуты. Скручивались в канаты. И вновь разлетались, протачивая новые русла. Лангустов выбирал себе новую судьбу, новую прекрасную авантюру. Его творческая энергия вновь обретала тему, находила героя. И этим героем был он сам, пророк и поэт революции.

Внезапно он замер. Зеленые жуки пламенели в его глазах, как раскаленные слитки. Морщины образовали новый узор, в котором угадывались его будущие лишения,

нестерпимые муки, невыносимые траты. И будущий великий триумф.

– Я вас услышал, – произнес Лангустов. – Я пойду на площадь с Градобоевым. Устройте мне с ним встречу.

Встал и пошел к дверям, развевая полы халата. Бекетов последовал за ним.

На стене, заслоня граффити, был повешен белый экран. На него светили прожекторы. Они озаряли красочную надпись: «Панк-балет «Лангустов». Затеяливо извивались нарисованные обнаженные девы. Худая женщина-режиссер встретила Лангустова. Заглядывая в тетрадь, стала говорить с ним по-французски.

Тот отвечал. Операторы прильнули к камерам, нацелив их на экран.

Лангустов приблизился к экрану. Сбросил халат и оказался голым, с тонкой перевязью на бедрах. Его морщинистая голова с седой бородкой поразительно отличалась от молодого гибкого тела, загорелого, без жира и складок, с гибкими тонкими мускулами. Женщина-режиссер взмахнула рукой. Из динамика ударила ухающая и звенящая музыка. Лангустов поднял руки на уровень плеч, превратившись в крест, задрал вверх клинышек бородки. Перстни сияли на пальцах. В глазницах зеленели и переливались бронзовые жуки. Он напоминал

распятое божество, языческого
Одина, из Старшей Эдды.

Внезапно, в свет прожекторов,
влетели три обнаженные девушки.
Бекетов узнал танцовщиц из панк-
группы «Бешеные мартышки», что
выступали на митингах оппозиции.
Босые, грациозные, с маленькими
плещущими грудями, они окружили
Лангустова. Касались его
прелестными телами, обвивали
руками, тянулись красными, в яркой
помаде губами. Лангустов оставался
недвижим, как и полагается
божеству, равнодушный к
поклонению жриц.

Девушки пали ниц, охватили
ноги божества, замерли у подножия

обожяемого идола. Лангустов оставался недвижим, воздев седую троцкистскую бородку. Бекетову стало неловко за этого немолодого, измученного, талантливое человека, не устававшего любыми способами привлекать к себе внимание. Но одновременно он испытывал мучительное любопытство, ибо ему открывалось языческое действо, которым чародей завораживает толпу, будит в ней дремлющие инстинкты. Превращает политику в магический обряд. Революция, которую выкликал Лангустов, не была революцией заводов и пашен, футурологов и космистов. Это была революция древних богов, языческих

таинств, оккультных мистерий.

Девушки отпрянули от колен Лангустова и стали извиваться в эротическом танце, лаская друг друга. Сплетались, как гибкие стебли. Страстно трепетали, словно стряхивали с пальцев незримые капли. Мчались в бешеном хороводе, отталкиваясь от пола гибкими стопами.

Это была мистерия, в которой клубились будущие восстания, террористические акты, покушения на президентов. Это была стихия, где созревали погромы и беспорядки, революционные оргии и публичные казни. Это была алхимия революции. Бекетову казалось, что он находится в

секретной лаборатории чародея.

Девушки кинулись к божеству, покрывая его с головы до ног поцелуями, оставляя на смуглом теле отпечатки алой помады. Отпрянули, отлетели и скрылись. Лангустов оставался стоять, весь покрытый алыми ранами, как древний бог, принесенный в жертву. В пустых глазницах была тьма.

Бекетов покидал подвал, и мимо пролетели, жужжа, два бронзовых жука.

ГЛАВА 13

Бекетов осознавал всю опасность работы, которую выполнял. Встречи, что он проводил, могли ему стоить жизни. И не только потому, что его могли разгадать, уличить во лжи, ликвидировать, как провокатора и лазутчика. Люди, с которыми он встречался, партии и движения, которыми манипулировал, были подобны электрическим жилам, пропускавшим ток гигантского напряжения. Бекетов обнажал эти жилы, соединял, изменял направление тока, сливал воедино гигантские энергии. Неосторожное движение или

неверное соединение контактов, ошибка в клемме или неправильный выбор полюсов — и полыхнет ослепительная молния, расплавит провода, убьет незадачливого электрика, разрушит все здание электростанции. Породит бесчисленную цепь катастроф и аварий.

Теперь он отправлялся ко Льву Семеновичу Шахесу, еврейскому активисту, директору одного из фондов, живущих на зарубежные средства. Фонд занимался правозащитной деятельностью, выявлял национал-экстремистов, помогал деятелям еврейской культуры, отправлял в Америку и

Израиль наиболее талантливых студентов. Шахес, распоряжаясь фондом, был в то же время негласным управляющим множеством еврейских сообществ, кружков, литературных и театральных студий, культурных инициатив и телевизионных программ. От него тянулись нити к еврейским банкирам, либеральным министрам, иностранным посольствам. Он перебирал эти нити, как опытный ткач, сплетая разноцветный ковер, куда вплетал политиков, финансистов, художников. Не он изобретал узоры ковра. Он лишь чутко реагировал на бесчисленные, поступавшие к нему

сигналы, из которых складывалась жизнь разветвленной еврейской среды, активной, нервной и бдительной.

Бекетов укрыл под рубашкой заветный диктофон. Поцеловал цветы орхидеи, пугаясь обнаружить в них следы увядания. Но цветы сохраняли свежесть, белоснежное целомудрие. Мама была по-прежнему с ним, напутствовала его безмолвной улыбкой. Он вышел из дома в рокот холодного туманного города с низкими облаками, из которых оседала промозглая изморозь.

Резиденция Шахеса помещалась в просторном офисе с окнами на

Новодевичий монастырь, который казался нежной розово-белой вышивкой с продернутой золотой нитью. Бекетов каждый раз, глядя на изысканные кружева наличников, на золотые всплески летящих в небеса куполов, испытывал нежность, умиление, благоговел перед целомудренной женственностью, витавшей над монастырем.

Шахес был маленький, круглый, курносый, с белыми толстыми щечками, покрытыми светлой щетинкой. Почти не имел шеи. В коротких беспокойных руках вертелась какая-то мятая резинка, похожая на мокрого червяка. Он обладал внешностью, за которую его

прозвали Наф-Наф, по имени одного из трех поросят. Когда он нервничал, то начинал так грассировать, что его речь становилась нечленораздельной и напоминала шелканье скворца.

Он встретил Бекетова радушно, усадив напротив окна с розовым видением монастыря. Распорядился принести чай в серебряном подстаканнике. Смотрел вопрошающими глазками, продолжая крутить в руках мятого червяка.

— Рад вас видеть, Андрей Алексеевич, в моей скромной, но уютной обители. Вы не можете не знать, как я вас уважаю. Вы несколько раз помогли мне в очень щекотливых делах, и, поверьте, я не

забываю добро, умею быть благодарным.

— Я всегда видел в вас, Лев Семенович, просвещенного, думающего человека, чья деятельность способствует укреплению гражданского общества. Все ваши инициативы я старался поддерживать и защищал вас от нападок явных и скрытых антисемитов, которых, увы, немало в президентской Администрации.

Они обменялись знаками дружелюбия, которые предполагали доверительную и обоюдно полезную беседу. Молчали. Шахес смотрел на Бекетова настороженными глазками, крутя в руках червяка. За окном

Новодевичий монастырь розовел своим дивным облачением, похожий на невесту с восторженными золотыми очами.

— Я сожалею, Андрей Алексеевич, что вы покинули Администрацию президента. Не только потому, что в вашем лице я встречал понимание в очень тонких вопросах. Но и потому, что, мне казалось, президент пользовался вашими советами, чтобы удерживать наше беспокойное общество в равновесии, гасить разрушительные инстинкты ненависти и ксенофобии, уберегать страну от погромов. — Шахес благодарно моргнул круглыми, в белых ресницах, глазами,

приглашая Бекетова начать разговор, ради которого тот появился в его кабинете.

— Вы заблуждаетесь, Лев Семенович, относительно Чегоданова. Когда он был президентом, он не сдерживал проявления ксенофобии и антисемитизма, а, напротив, тайно их поощрял. Он, при всей его внешней толерантности, ярый антисемит. Это во многом послужило причиной нашего разрыва. Мне стало отвратительно с ним работать.

— В самом деле? — Белые бровки Шахеса высоко взлетели над изумленными глазами. Резинка в его

пальчиках нервно закрутилась, как дождевой червяк, в который всаживают рыболовный крючок. Бекетову казалось, что это странный нервный отросток, черенок мозга, который реагирует на раздражающие сигналы, участвует загадочным образом в мыслительном процессе Шахеса. — В чем же проявляется юдофобство Федора Федоровича Чегоданова?

— Вы можете не поверить, но Чегоданов способствует финансированию ультранационалистических, юдофобских организаций. Он воздействовал на суд присяжных, оправдавший безумного полковника,

который готов стрелять в еврейских банкиров. Он тайный поклонник Сталина и при мне сожалел, что тот не успел выселить евреев в Биробиджан, и тогда, как он сказал, «воздух в Москве был бы чище». В узком кругу он называет видных представителей еврейской культуры «жидами». Он принимал у себя делегацию палестинских террористов хамас, обещая поставить им противотанковые ракеты «Корнет». Я слышал, как он язвительно отзывался о евреях, которые «сделали гешефт на холокосте», и предсказывал, что Германия в скором времени сбросит с себя «еврейское иго». А однажды,

когда я без предупреждения зашел в его кабинет, он с упоением смотрел фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли», и, когда колонны штурмовиков с ночными факелами образовали гигантскую свастику, на лице его блуждала безумная улыбка.

Резиновый червячок в руках Шахеса крутился, как пропеллер. Был крохотной антенной, разносившей тревожные сигналы по всем правозащитным организациям, культурным центрам, банковским и адвокатским конторам, телевизионным студиям и редакциям газет, по резиденциям олигархов и министерским кабинетам – повсюду, где обитало еврейское сообщество.

Сигналы тревожили и нервировали этот чуткий мир. Он приходил в движение, пульсировал, ожесточался, соединялся в организованное воинство, действовал согласованно на всех фронтах. Был готов к отпору, к подавлению врага.

Бекетов чувствовал, как посланный сигнал заставляет трепетать всю невидимую паутину, в которую ударило пролетавшее насекомое.

— Чегоданов маньяк, который повсюду видит еврейский заговор. Он верит в то, что Россия стала объектом грандиозной геополитической спецоперации под названием «Вторая Хазария». Суть ее

в том, что еврейский мир чувствует свою обреченность. Государство Израиль задыхается в арабских тисках. Планирует перенести свой центр в Россию, ибо здесь когда-то существовало Хазарское еврейское царство. Чегоданов видит в каждом еврее агента, который способствует реализации этого плана. Подавляет русскую культуру, вытесняет русских из политики, науки, бизнеса, насаждает дух Хазарского каганата.

— Но это же дичь! Черносотенство! Маниакальная ксенофобия! — Резинка в мелькавших пальчиках Шахеса превратилась в маленький вихрь, а сам он покраснел до ушей и начал грассировать так,

что речь его стала похожа на свист дрозда или свиристеля. Он вынужден был замолчать. Перевел дух и продолжал говорить, стараясь бережно обходиться с согласными. — Но это действительно паранойя, которая не оставляет русских сто лет. Какой еврейский заговор? Какая Хазария? Евреи влились в русскую жизнь и обогатили ее. Еврейские художники, музыканты, поэты. Еврейские врачи и ученые. Еврейские физики, которые создали русскую атомную бомбу и сберегли Россию, сберегли, если угодно, русскую государственность, которая бывает к евреям крайне неблагодарна. Мы должны быть

вместе. В России столько ресурсов, которыми русские не умеют воспользоваться. Нефть, лес, алмазы, пресная вода, даже снег, изумительный русский снег. Русские ресурсы и еврейский ум обеспечат нам процветание.

Шахес моргал круглыми глазками, как обиженный ребенок, который собирался расплакаться. Бекетов тайно торжествовал. Шахес утратил осторожность, перестал скрываться, как улитка, в своем домике. Обнаружил свою беззащитную, пульсирующую мякоть.

— Вы абсолютно правы, Лев Семенович. — Бекетов выражал благодарность за это откровенное

признание, которое совпадало с его, Бекетова, мнением. — Я объяснял Чегоданову. Русские и евреи — два мессианских народа, предлагающие человечеству свои символы веры. Идею совершенства. Но человечество отвергает эти символы веры и казнит евреев и русских за их мессианство. Русские и евреи несут неисчислимые траты, терпят гонения, нашествия, но не в силах отказаться от своего мессианства, вмененного им Богом. Так не настало ли время объединить наши усилия по исправлению рода людского? Наше мессианство и есть наш главный ресурс, а ум, о котором вы говорите, он не еврейский, не русский, а Божий.

Шахес перестал вращать резиновый стебелек. Молча смотрел на Бекетова. Обдумывал услышанное, сопоставляя с тем, что он думал, слышал и знал по этому поводу. А Бекетов смотрел на бело-розовое диво монастыря и вдруг вспомнил, как в детстве мама водила его в монастырь. Рассказывала о царевне Софье, Стрелецком бунте, и кругом была изумрудная весенняя зелень, золото куполов, старинные надгробия с именами генералов, советников, знаменитых писателей. И мама казалась такой красивой, среди весенних цветов и белых наличников.

Это воспоминание было

острым, ошеломляющим. Вдруг обесценило все, ради чего он появился в этом кабинете. Лукавил, притворялся, вел мучительную, не имеющую скончания игру. Отказался от подлинной, искренней жизни, в которой присутствовала нежность к матери, влечение к умершему отцу, молитвенные мысли об усопшей родне, когда вдруг в ночи он начинал молиться о них. И эта молитва переносила его в чудесный край, где все они были живы, любили его, сберегали из своей таинственной дали, ждали к себе, в чудесную обитель.

— Андрей Алексеевич. — Шахес прервал его воспоминания, вернул из

солнечного изумрудного утра в серый холод московской зимы. — Мне кажется, вас что-то тревожит. Вы хотите мне что-то сказать.

— Вы правы, Лев Семенович, у меня есть серьезные опасения относительно того, как развивается предвыборная кампания. Кто наполняет Болотную площадь, чтобы поддержать Градобоева. Там непрерывно увеличивается число националистов и число левых, которые охвачены националистическими настроениями. Если под напором миллионной толпы власть, не дожидаясь выборов, падет и Чегоданов сбежит из Кремля, эту

власть подхватят нацисты и ультраправые. И последствия будут ужасны. Террор, еврейские погромы, война всех против всех. Этот русский хаос никого не пощадит. Это меня ужасает, Лев Семенович.

– Такой сценарий очень и очень возможен. Союз левых и наци – это и есть национал-социализм. «Русский фашизм», в который никто не верил. – Резиновый отросток в руках Шахеса бурно вращался, рассылая сигналы бедствия. И эти сигналы принимали в правозащитных организациях, аптеках, творческих союзах, банках, на телеканалах и радиостанциях. Сообщество дельцов и художников, политиков и банкиров

возбуждалось, консолидировалось, оборонялось, переходило в атаку, подавляя очаги и центры опасности. Так подавляет артиллерия скрытые огневые точки, давно нанесенные на военную карту. — Что же вы предлагаете, Андрей Алексеевич?

— Вы должны привести на площадь своих людей. Должны войти в ближайшее окружение Градобоева, чтобы получить от него преференции. Должны возглавить протестное движение. Ваши люди должны стоять на трибуне рядом с Градобоевым и оттеснить от него нацистов. В ваших рядах есть интеллектуалы, есть политтехнологи, есть бывшие

министры и даже премьер-министр. Вы способны предложить будущему президенту Градобоеву стратегию и тактику, а если случится хаос, способны перехватить власть и оттеснить фашистов. В этом ваша историческая миссия, Лев Семенович, ваш вклад в русскую историю. Подумайте, Лев Семенович. Вы знаковая фигура. Вы лично должны появиться на трибуне и встать рядом с Градобоевым.

Щеки Шахеса под белесой щетинкой порозовели. Белые ресницы часто моргали. Курносый нос издал шмыгающий звук, и Шахес всем своим видом подтверждал свое прозвище Наф-Наф. Он засмеялся,

сотрясая свой круглый животик.

— Вы хотите, чтобы я встал рядом с Градобоевым, который публично усомнился в подлинности дневников Анны Франк? Чтобы я встал рядом с этой деревенщиной Мумакиным, который заявил, что в окружении Ленина было слишком много евреев? Чтобы я оказался рядом с этим гомосексуалистом Лангустовым, чей флаг слишком напоминает флаг Третьего рейха? Чтобы меня, доктора философских наук, почетного профессора Иерусалимского университета, окружал этот сброд?

Шахес смеялся. И этот смех, это странное фырканье курносого носа,

эти уничижающие слова фиксировал крохотный диктофон на груди у Бекетова. Шахес продолжал смеяться, тряся животиком, но постепенно смех его стал стихать, животик успокоился. И он задумчиво стал смотреть на Бекетова, словно отыскивал в нем какой-то признак, какую-то черту, позволявшую угадать вероломство, тайную интригу, куда Бекетов собирался его затянуть.

— А вы хорошо знаете Градобоева? — спросил Шахес.

— Не очень, — ответил Бекетов.

— Вы знаете, что он стажировался в Йельском университете у профессора Вунда, сына штандартенфюрера СС?

– Не знаю.

– А вы знаете, что его мать Анна Трефилова была активисткой печально известного Общества охраны памятников, откуда вышла фашистская «Память»?

– Я не изучал его родословную.

– И эта его нынешняя любовница, пресс-секретарь Елена Булавина посещала монастырь в Боголюбове, где общалась с православным сталинистом отцом Петром. Кстати, Елена Булавина была вам очень близка. Это ваш человек в окружении Градобоева?

Круглые глазки Шахеса ласково вопрошали. Бекетову вдруг стало страшно. Он почувствовал, что

прозрачен для Шахеса, который видит его насквозь, разгадал его лукавую затею, играет с ним. Он, Бекетов, вовсе не искусный режиссер, поместивший Шахеса в свой спектакль, а заурядный актер в театре Шахеса, выполняет его режиссерский замысел. Он, Бекетов, ошибся, соединил не те провода, перепутал полюса, и сейчас ударит сокрушительная молния, блеснет чудовищной силы вспышка, от которой взорвется монастырь за окном, рухнет бело-розовая колокольня, обуглятся золотые купола.

И он сидел, похолодев от ужаса, ожидая удара. Постепенно

успокаивался, чувствуя, как стучит сердце.

Лицо Шахеса стало задумчивым, печальным. Словно его мысль летела по огромным пространствам, где шел по пустыне народ, ведомый пророком, мудрецы листали пергаменты с древними письменами, еврейские революционеры взрывали царей и сановников, горели печи Бухенвальда, банкиры играли судьбой континентов, и звучал пленительный, как больная скрипка, стих Мандельштама. Мысль Шахеса, пролетев по необозримым пространствам, вернулась в Москву, в кабинет, где сидел Бекетов. Сложилась в умозаключение, суть

которого оставалась неведомой Бекетову.

— Я вас услышал, Андрей Алексеевич, — произнес Шахес. — Я пойду на Болотную площадь. Устройте мне свидание с Градобоевым.

За окном вдруг побелело. Пошел снег, густой, летучий. Занавесил монастырь, налипал на стекла, хотел влететь в кабинет. Метель играла, в ней возникали просветы, и тогда казалось, что колокольня танцует, купола летают, как золотые шары, монастырь отрывается от земли и мчится в снегопаде, как фантастический ковчег. И в этом ковчеге он, Бекетов, совсем еще

мальчик, и мама, и молодой отец, и бабушка, и погибший под Сталинградом дед, и вся старинная, любимая, незабвенная родня. И стрельцы, и царевна Софья, и царь Петр в Преображенском мундире, и этот ковчег русской истории несется из неоглядного прошлого в неоглядное будущее.

Шахес встал, подошел к окну, открыл его. В кабинет ворвался снежный аромат, прохладная белизна, колокольный звон. Шахес протянул маленькую ручку навстречу летящим снежинкам;

— Русский снег! Настоящий русский снег! Как много в России снега!

Степенный, задумчивый,
проводил Бекетова до дверей.

ГЛАВА 14

Елена пришла в книжный магазин на презентацию новой книги модного либерального писателя Лупашко. Среди книжных полок, пестрых корешков, нарядных обложек, среди вихрей покупателей был поставлен стол с микрофоном. Толпились почитатели, успевшие приобрести книгу своего кумира. Ждали момента, когда тот поставит на книге свою подпись. В толпе были видны другие писатели, друзья Лупашко, литературные критики, фотографы. Елена из толпы помахала Лупашко, и тот скорчил дружескую мину, послал воздушный поцелуй.

Она искала Бекетова, который обещал прийти на презентацию. Опаздывал, и это раздражало Елену. Раздражало не то, что он опаздывал, а то нетерпение, которое она испытывала, не находя его в толпе.

Презентация началась с небольшого вступительного слова Лупашко. Он держал пухлую руку на книге, как держит ее присягающий на Конституции президент.

— Книга эта смешная, беззлобная и посвящена нашему прошлому президенту Чегоданову, который снова тщится стать президентом. Он выведен под именем Многолетов. Намек на долгую политическую жизнь, на стремление еще и еще раз

избираться на пост президента, ибо народ желает видеть его на этом посту «многие лета». – Последние два слова Лупашко пропел басом, на церковный распев, что вызвало у слушателей одобрительный смех. – Президент Многолетов голый стоит перед зеркалом и не находит у себя пупка, а также не находит пиписьки. Это значит, что у него не было матери, с которой он был связан пуповиной. И у него нет семени, которое продолжит его род на земле. Он мучится вопросом: кто он такой? Откуда взялся? Кто его мама и папа? И почему ему, сироте, досталась в управление эта дикая страна Россия? – Лупашко комично

grimасничал. Его маленькие черные усики скакали над румяной губой. На пухлых малиновых щеках играли детские ямочки. А кудрявые смоляные волосы сально блестели. — Наконец один из его друзей-разведчиков ведет его в заброшенный подвал с протекающими канализационными трубами, грязными кафельными стенами, где их встречает старый сантехник Тихон с бородой, в клеенчатом фартуке. Многолетов вдруг испытывает к этим кафельным стенам, разбитым унитазам, вонючим трубам нежность и любовь, которую испытывают к своей малой родине. «Кто моя мать?» — спрашивает Многолетов у

сантехника Тихона. Тот ведет его в каморку с тусклой лампочкой, где стоит ржавая, окисленная ванна с какой-то жижей на дне. «Вот твоя мать», – указывает Тихон на ванну. И Многолетов чувствует к ванне сыновью нежность, благодарность, радость от долгожданной встречи. Обнимает и целует край ванны. «А кто мой папа?» Тихон указывает на изогнутый ржавый кран, из которого капает вода. «Вот твой папа». И Многолетов заключает в объятия кран, ловит губами пахнущие хлором капли. «А были у меня сестра и братья?» – спрашивает он у Тихона. Тот оказался акушером, принимавшим роды Многолетова.

Тихон молча ведет Многолетова в соседнюю комнату, с тем же расколотым кафелем и тусклой лампочкой. На полу в ряд стоят одинаковые эмалированные ванны, в них застыло клейкое прозрачное желе, и в этом студне, как рыбий холодец, лежат голые сонные люди, как две капли воды похожие на Многолетова. «Вот твои братья, — говорит Тихон, — и если ты умрешь или перестанешь исполнять предназначенную тебе роль, то твое место займет один из твоих братьев». И Многолетов понимает, что он синтезирован и тайна его происхождения является русской династической тайной, сутью

таинственной русской души, которой
вовек не понять примитивным
заморским мудрецам.

Лупашко торжествовал, хихикал,
его черные, как маслины, глаза
излучали веселое благодушие. А
Елене вдруг стало неприятно это
веселое глумление. Насмешка над
«малой родиной», которую воспели
русские писатели-деревенщики.
Насмешка над славянофильскими,
тютчевскими взглядами на «тайну
русской души».

Почитатели Лупашко
аплодировали. Какая-то нервная
дама, похожая на остроносую галку,
рвалась выступать. Какой-то
бородатый, библейского вида, старик

тянул к Лупашко исписанный лист.

Слово получили друзья писателя. Модный критик, болезненного вида, с лицом, на котором были смещены оси симметрии и нос уходил в одну сторону, а рот смещался в противоположную, — критик объяснял творческую сущность Лупашко:

— В своей прозе он срывает все табу, ломает все сургучные печати, удаляет все пломбы, которые культура повесила на человеческое существование. Он распечатывает все запреты, вскрывает все сейфы и выпускает на свободу множество духов, которые томились в темницах.

Он – освободитель, и мы благодарны ему за ветры свободы, что веют в его романах. – Критик кончиком пальца трогал свой нос, словно старался поставить его на место. Но тот то и дело съезжал в сторону, и его лицо напоминало портрет художника-авангардиста, где губы, глаза и ноздри находятся в пугающей дисгармонии. – Один из его романов написан на матерном языке. И в этом Лупашко обнаруживает виртуозное красноречие, которому позавидует любой рецидивист на зоне. В романе утверждается, что мат на Русь принесли Кирилл и Мефодий и первый список русской летописи был написан на матерном языке.

Выступал писатель Акулинов, в оранжевой блузе, с головой похожей на желтую тыкву, увешанный амулетами, как буддийский монах:

— Прекрасно место в романе, где описывается венчание матери и сына и их первая брачная ночь. Замечателен текст, где ветеран войны из деревни Победа пишет письмо немецким ветеранам вермахта, в котором сообщает, что хочет сдаться в плен. Ирония Лупашко не злая, а добрая. Он словно поглаживает своих героев по голове. А мы погладим по голове Лупашко.

Акулинов подошел к Лупашко и погладил его по голове под одобрителный смех читателей.

Все эти литераторы были знакомцы Елены. Со всеми она встречалась на вернисажах и книжных ярмарках. Старалась их привлечь в оппозицию, подружить с Градобоевым, чтобы их едкие насмешки, беспощадный нигилизм, эксцентричная образность были обращены против Чегоданова. Но ее пугало и отталкивало их неустанное желание ранить и обижать, попирать святое и сокровенное. Их веселое богохульство и святотатство. Они были остроумные и жестокие весельчаки, и их веселило людское страдание.

Поклонники окружили Лупашко, подсовывали ему книги для подписи.

Писатель Акулинов углядел Елену и закричал ей издалека:

– Мисс Оппозиция, к нам, к нам!

Но Елена вдруг заметила Бекетова. На его волосах блестел тающий снег. На нем было длиннополное пальто с небрежно затянутым поясом. Его лицо казалось худым и усталым, и эта худоба и бледность больно тронули Елену. Его глаза тревожно бегали по толпе, и она знала, что он ищет ее. Увидел, улыбнулся, махнул рукой. Но этот взмах показался нерешительным и усталым, а глаза, устремленные на нее, были печальны и неуверенны. И это вызвало в ней сострадание.

Они сидели в кафе у окна и глядели, как метет. Как в косой метели несутся автомобили, мелькают прохожие. Лица под меховыми шапками и платками возникали и исчезали, чтобы больше никогда не появиться. Это напоминало мгновенные рождения и смерти.

— Расскажи, как прошли встречи с Градобоевым моих протеже. Ты ведь присутствовала на всех свиданиях. — Бекетов спрашивал вяло, без интереса, глядя на белую метель, словно ждал, когда снег подхватит его и умчит, прекратив бренное бытие с земными зыбкими смыслами. Перенесет в иные миры,

где откроются волнующие тайны. — Был ли прок в моих усилиях?

— Еще какой прок! — Елена знала у Бекетова эти мгновения упадка, когда его кипучая энергия вдруг иссякала. Его неутомимый ищущий ум вдруг увядал, как увядают и иссякают солнечные струи фонтана. Казалось, его жизнь перемещалась из повседневной реальности в иную, где продолжал гореть его дух, светиться вопрошающий разум и где присутствовал кто-то, с кем было важно ему объясниться. В эти минуты Елена теряла его. Это пугало, с ней оставалась его хладеющая оболочка, а душа принадлежала кому-то другому, быть может

женщине. И это заставляло ее страдать. Теперь же, испытав это былое страдание и ревность, Елена испугалась своих неисчезнувших чувств, своей не исчезнувшей к нему нежности. — Еще какой прок от твоих ухищрений! Во-первых, пришел Мумакин и просил у Градобоева, когда тот станет президентом, пост премьера. Они много шутили, Мумакин рассказывал, как разводит в деревне пчел, как собирает грибы. Напоследок рассказал анекдот про еврея, который пришел к врачу. Подарил Градобоеву авторучку. Градобоев после его ухода долго смеялся, назвал Мумакина «коммунистическим валенком».

– Но Мумакин приведет на митинг своих людей под красными флагами? – спросил Бекетов.

– Обещал, что вся площадь будет в красных флагах. Потом явился Лангустов. Сказал, что путь в Кремль – не через избирательную урну, а через Спасские ворота, которые нужно штурмовать. Сказал, что войну недаром называют «театром военных действий», и предложил превратить митинг в грандиозный политический театр, где схватка с ОМОНОм – часть драматургии. Градобоев согласился, и Лангустов перед уходом подпрыгнул, ударил ножкой о ножку и, не прощаясь, вышел. Градобоев сказал, что он только что видел

Плисецкую.

— На площади будет его кордебалет?

— В полном составе. Потом явился Шахес. Он был похож на улиточку, которая то прячется в раковинку, то высовывает рожки. Он предложил создать координационный комитет, в который войдут все представители оппозиции. Последовал перечень всех еврейских активистов и правозащитников, так что Градобоев вынужден был спросить, не является ли он, Градобоев, лишним в этом списке. Они поладили, и Шахес обещал выступить на митинге. Так что я тебя поздравляю. Твои усилия

не пропали даром.

Бекетов прижал ладони к глазам и некоторое время сидел молча. Елена рассматривала его руки, вспоминая, как их целовала, и тогда между его длинными смуглыми пальцами выглядывал крохотный желтый лютик, милый луговой цветочек.

Он отнял от глаз руки и вздохнул:

— Я устал. Устал притворяться. Каждый из этих самонадеянных нарциссов считает, что Россия остро в нем нуждается. Они хотят вскарабкаться на древо власти и угнездиться на вершине. Но само это древо должен кто-нибудь взращивать.

Оберегать корни, охранять крону. Иначе оно может засохнуть, и эти честолюбцы окажутся на вершине мертвого дерева.

— Ты садовод. Взращаешь древо Государства Российского.

Он посмотрел на нее ожившим, благодарным взглядом, и она почувствовала, что он нуждается в ней. Хотела вдохновить его, удержать в его глазах этот мелькнувший свет.

— Ты всегда отличался от чванливых чиновников, от напыщенных депутатов, от кремлевских камергеров. Ты был служивый человек, но служил не Чегоданову, а государству. Оно для тебя было живым, одухотворенным,

как икона, на которую ты молился. Ты исповедовал религию государства, которое было для тебя божеством. Твоя вера увлекала меня. Ты открыл мне множество красот, множество знаний, множество переживаний. Я ими живу по сей день.

Бекетов благодарно улыбался. Но в улыбке его оставалась горечь, словно он сожалел об утраченном времени, когда они были вместе.

— Ты помнишь нашу поездку в Новгород? Ты проводил какое-то совещание, с утра до ночи пропадал с губернатором, а я гуляла по кремлю, любовалась иконами новгородского письма, стояла перед памятником

Государства Российского. Я вошла в Софию, когда прихожане готовились к причастию и все вместе, вслед за священником, читали Отче наш. Я стала читать изумительные слова, которым меня научила бабушка. «Да святится имя Твое, да приидет царствие Твое». И вдруг что-то случилось. Этот древний могучий храм, сумрачные голубые и алые фрески, лица, озаренные свечами, и бабушкино любимое лицо, и моя внезапная любовь, и восторг, и вера, соединившая меня с прихожанами, с седобородым батюшкой, с ангелом в синем хитоне. Чудесная, могучая сила колыхнула храм, и лампы, и золотой иконостас словно ожили, и я

вошла в их таинственную глубину, где скакали кони, плыли челны, сражались на озерном льду воины. Я пережила восхитительное чудо, когда сердце переполнилось небывалым счастьем, верой в бессмертие. Я не сказала тебе об этом чуде. Но после этого стала понимать твои пророчества о непрерывном русском времени, о пасхальном свете русской истории, о райских смыслах, о которых говорится в молитве: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя».

Елена видела, как светлеют глаза Бекетова, словно умоляют продолжить рассказ. Он нуждался в ней, она утоляла его печали,

вдохновляла в минуту усталости и неверия.

— А потом, ты помнишь, мы поехали за Волхов, в зеленые холмы, где стоит божественный храм Спас Нередица. Такого изящества, простоты и гармонии трудно сыскать. Храм казался то нежно-розовым, то прозрачно-голубым, то девственно-белым. Внутри на стенах кое-где сохранились фрески. Мы вошли в этот храм, и мне показалось, что время исчезло, нет ни прошлого, ни будущего, а есть безвременная вечность, как в раю. Храм был как челн, который взлетает в небо и возвращается на землю. Уносит в небо молитвы, а приносит на землю

благодать. Святые, пророки и праведники на фресках казались экипажем этого космического корабля. Мы с тобой совершили путешествие на небеса, в райский Космос, и вернулись обратно, принеся на землю Фаворский свет. Тот самый свет, который, как ты говорил, разлит во всей русской истории.

Он кивал, улыбался, протянул к ней руку, желая коснуться ее руки. Испугался, отвел руку, провел по своему широкому лбу, словно стирал тусклое время, отделявшее их от тех благословенных дней.

— А потом ты захотел показать мне могилу Вельямира Хлебникова,

златоуста и певца Русского Будущего. Мы поехали в глухую деревушку, среди непаханных нив, нищих сел, разбитых дорог. И на сельском кладбище увидели рухнувшую деревянную церковь, черную, сгнившую, без глав, с покосившимся коробом. Ты сказал, что это корабль, на котором Хлебников совершил свое последнее странствие, в то будущее, которого нет на земле, а только на небе. Мы нашли его могилу среди старых крестов. Могила была под одинокой, очень прямой сосной, стремящейся ввысь. Маленький памятник работы Вячеслава Клыкова напоминал купель, в которой лежал нежный отрок в короне.

«Космический мальчик», – сказал ты. А я сказала: «Маленький принц». Мне было так больно, так чудесно у могилы волшебника и мечтателя, выкликавшего Русское Будущее, верящего в Русское Чудо. Этим чудом оказался корабль истлевшего корабля, одинокое дерево, крохотный памятник на безвестном кладбище. Ты поцеловал памятник, поцеловал ствол сосны и прочитал стих Хлебникова: «Русь, ты вся поцелуй на морозе. Синеют ночные дорожки».

– Да, да, все это было! – воскликнул Бекетов. – Наши жизни проживаем в предчувствие Русского Чуда, в ожидании Русской Победы. Мы умираем, не дождавшись победы,

передаем это ожидание сыновьям и внукам, чтобы и они уповали на Чудо. Наше великое чаяние Русской Победы через все поражения, все беды и сокрушения.

Елена видела, как преобразилось его лицо. Она всегда пугалась этих мгновенных преобразений и восхищалась ими. Исчезли тени печали, разгладились горькие складки. Глаза округлились, стали наивными и восторженными, как у ребенка. Седина стала казаться свечением, окружавшим голову. А голос таинственно зазвенел, заволновался, как у проповедника.

— Наша Русская Победа, наша сокровенная мечта о благодатном

царстве. О наших священных пространствах между тремя океанами, которые вновь сойдутся, чтобы никогда не распасться. О симфонии народов, культур, божественных промыслов, которые соединят род людской в цветущую семью, где каждый – творец, герой, духовидец. Где государство, царь или вождь – рачительный и искусный садовник, взращивающий Райский сад. Где нет вражды, насилия, порока, а только восхитительное творчество, лучистая любовь, всеединый порыв, преодолевающий смерть. Смерть человека и реки, цветка и звезды небесной...

У Елены кружилась голова,

словно эти слова, тягучие, как мед, благоуханные, как смола, туманили окружающий мир. И открывалась бесконечная даль, бездонная лазурь, в которой было невозможно дышать, но которая влекла в свою необъятную глубину.

— Мы ведь верим с тобой — Русская Победа грядет. Верим — появится Русский лидер, который сквозь дым и мрак, сквозь всю непроглядную мглу узреет Звезду Победы. Этот лидер живет среди нас. Надо взглядеться в его лицо, окруженное дивным свечением. Надо пристально посмотреть ему на грудь, где мерцает бриллиантовая звезда. Лидер Победы живет среди нас.

– Кто он? – спросила Елена. – Градобоев?

– Не знаю. Может быть, он. А может, отрок из города двух цариц, который идет сейчас по заснеженной улочке, в оконцах мигают огоньки новогодних елок, у него под ногами поскрипывает снег, а над головой чуть заметное золотое свечение.

Она слушала его с упоением, как прежде. Подпадая под волшебное воздействие его слов, смысл которых исчезал, превращался в блаженство. Она не могла противиться его чарам, любила его, хотела, чтобы речи его не кончались и они летели в таинственную лазурь, обнявшись. Чтобы благоухали смолой те красные

сосняки и на губах не таял мед его поцелуев.

– У Русской Победы есть тайна. Пасхальная тайна русской истории. Тайна в том, что Русская Победа, несмотря на всю тьму и крошечность, невзирая на русский мор и несчастья, на пепелища городов и виселицы в деревнях, на танки с крестами под Волоколамском и Истрой, несмотря на обманщиков в Кремле и преступников в судах и церквях, — Русская Победа уже одержана. Она уже сияет из будущего, как чудесный бриллиант. Эта дивная Победа не является плодом наших усилий и подвигов, а наши усилия и подвиги

являются плодами этой одержанной Русской Победы. Она, как вселенский магнит, притягивает к себе все линии русской истории. И все, что мы ни делаем, все наши помыслы, ухищрения, наши неудачи, провалы, наши негодные средства и злые свершения, — все освящено уже случившейся, уже одержанной, уже воссиявшей Русской Победой.

— Ты считаешь, что все деяния, даже злые, даже преступные, совершенные во имя Победы, оправданны?

— Не знаю. Мне кажется, когда Сталин стоял на мавзолее, принимая Парад Победы, и к его ногам падали штандарты разгромленных

фашистских дивизий, на его лице не было торжества, а глубокая тишина. Вся кровь, все насилие, вся непомерная жестокость были оправданы священной Победой. Это она, лучезарная и священная, потребовала столько жертв и мучений, превратила русский народ в народ-мученик, а значит, в народ-победитель.

Она соглашалась с ним, не разумом, а своим любящим сердцем, в котором исчезла обида, попранная гордыня. Она верила, что их разлука была вынужденной и недолгой и он, покинув ее, продолжал служить все той же ослепительной мечте. Странствовал, сражался, терпел

лишения и наконец вернулся. И она приняла его, такого знакомого и любимого.

Они вышли из кафе, когда стемнело, и в метели неслись огни, пылали витрины, туманились алые и золотые рекламы. Елена не хотела, чтобы он уходил. Ее лицо горело в метели, а в глазах таял снег и блуждали таинственные видения, навеянные его чарами.

— Отпусти свою машину. Я подвезу тебя к дому, — сказала она.

Они катили по Садовой, окруженные блеском и белым сверканием. То часы с золотыми стрелками. То фасад со старинными рыцарями. То красные, летящие из

метели шары. То огненные кубы, полные пламени. Елена вела машину, улыбалась, слушая фантастическую музыку города. Заливался и гремел черный рояль. Сияли оглушительные медные трубы. Пели виолончели и скрипки. Звенели валторны и флейты. Бекетов был дирижер этого волшебного оркестра, который играл его музыку. Крымский мост казался огромной, прилетевшей с неба арфой с серебряными струнами.

— Встанем здесь ненадолго, — сказала она, продолжая грезить. Не понимала своих побуждений, опьяненная метелью и музыкой. — Погуляем в Парке культуры.

Они прошли сквозь арку и

очутились в пространстве, где исчезли звуки, тревожный гул, мелькание фар. Город вдруг отпрянул, и возникло безлюдье, белая пустота, озаренная лунным светом. Елена смотрела, как снег засыпает его голову, как он поднимает воротник, заслоняясь от белых вихрей. Ей казалось, они ступили в мир, где их не найдут назойливые и суетливые люди, не настигнут страхи и подозрения, куда не ворвутся черные разъяренные толпы и где кончается мучительное раздвоение. Только снег, серебристая пыль на его волосах, прозрачная арка из голубого льда.

Фонтан был засыпан снегом, и

над ним высилась в лучах,
ослепительная в столбе света,
Девушка с веслом. Фантастическая
танцовщица, божественная
великанша, царица снега,
окруженная серебряной бурей. Она
принесла эту бурю из далеких миров,
где лучистые вспышки, кристаллы
света, божественный холод и
чистота. Она танцевала, кружилась в
восхитительной нагоде. Казалось,
она оттолкнется от фонтана,
взмахнет веслом и умчится, унесет с
собой этот блеск, загадочный танец
иных миров, населенных богами.

Они вышли к катку. Лед сизый,
фиолетовый, розовый без мелькания
толпы, без шуршания и звона. Лишь в

метели кружился одинокий конькобежец. То удалялся, пропадал, словно его уносила метель. То возвращался на хрупкой искристой дуге. Неразлично его лицо, неуловимы движения гибкого тела. Только под ногами вдруг вспыхнет фиолетовая или зеленая искра. Елене казалось, что этот вещий конькобежец послан им, чтобы увлечь в бесконечную даль, умчать из этого города. Надо уловить мимолетное мгновение, разноцветную искру, скользнуть в нее и сквозь эту спектральную вспышку умчаться в иное пространство.

Среди пустоты возникла

пирамидальная новогодняя елка, одинокая, озаренная, пронизанная метелью, которая сыпала бесчисленные мерцания. Проникала в глубину ветвей. Качала стеклянные шары, похожие на небесные светила. Было странно видеть это нарядное дерево в тишине и безлюдье. Елена подумала, что ель нарядили для них двоих, ждали их здесь, встретили великолепием стекла и снега.

Огненная спираль сбегала от вершины к подножию, будто соскальзывала мерцающая змея. Трепетали и дрожали лучистые струны, натянутые сверху вниз, превращая ель в огненный шатер. И вдруг дерево озарялось, начинало

пылать, бесшумно содрогалось, горело стеклянными планетами, лунами. На вершине воспламенялась ослепительная серебряная звезда, волшебная в своей ликующей красоте.

Елене казалось, что об этой звезде говорил недавно Бекетов. Звезда, пленительная, победная, прилетела из таинственных далей по его повелению.

В сумрачном небе возникло темное, непомерно огромное колесо с неподвижными люльками, туманными спицами, громадным овалом, который исчезал среди снежного мрака. В крохотной будке светился огонек. Елена постучала в

оконце. Выглянула закутанная в платок женщина, крючконосая, в очках, – старая колдунья, которая прядет на огромной прялке снежную кудель.

– Ваш аттракцион работает?

– Садитесь, – сказала колдунья, и Елене показалось, что за очками блеснули зеленые, кошачьи глаза.

– Сколько оборотов можно сделать?

– Вам одного довольно, – сказала колдунья, отрывая билетик.

Они подошли к люльке. Бекетов смахнул с деревянной скамейки снег. Они уселись в шаткую зыбку, в которой было тесно, и они сидели, прижавшись. Колесо закрипело,

качнулось, и их стало возносить, тихо раскачивало, поднимало на темной спице в снежное небо. Выше танцующей девы с веслом, выше одинокого конькобежца, выше озаренной елки, которая оставалась внизу. Возникла Москва-река с ледяной полыньей, в которой струилось золото. Арена «Лужников» с пучками света, похожая на летающую тарелку. Бессчетные огни огромного города, который удалялся, превращался в белое зарево. А их уносило от бренной земли в небеса на огромном колесе, которое катилось в мироздание. Елена знала, что это колесо их общей судьбы, они перевиты единой нитью, которую не

разорвать, не рассечь. И они будут вместе, до последних дней неразлучны. Бекетов взял ее руку, и так они продолжали плыть среди небесных снегов.

Они подъехали к ее дому на Трифоновской.

– Пойдем ко мне. Угощу тебя чаем.

В прихожей, не зажигая огня, она помогла ему снять сырое пальто, обняла, поцеловала в мокрые волосы, в висок, в холодные губы.

– Что я делаю? Что я творю? Я не твоя, не твоя! – лепетала она, когда он сбрасывал на пол ее платье и прижимался губами к груди. – Отпусти меня! Все будет ужасно!

В зеркало, что стояло в головах ее постели, влетали шаровые молнии, начинали метаться по комнате, и она видела его голую грудь с серебряным крестиком, свой ослепительно-белый локоть и ладонь, скользящую в его волосах. А потом все молнии улетали, а его лицо продолжало светиться.

— Я уйду от Градобоева. Теперь я не могу с ним оставаться.

— Ты не уйдешь, — сказал Бекетов. — Этим ты все разрушишь. Я должен быть рядом с ним.

— Это нужно для Русской Победы? — горько спросила она.

Он не ответил. В зеркале взрывались бесшумные шары света.

Дома, подойдя к орхидее, целуя перед сном цветы, он заметил, что они увядают. В них больше не было свежести. В белизне появилась лиловая тень. Он испугался. Мама собиралась его покинуть. Он совершил проступок, который она осуждала.

– Не уходи! – умолял он. – Не уходи!

Ему казалось, он вот-вот разрыдается.

ГЛАВА 15

Градобоев набивал в компьютере калиброванный текст: «Если мы свободны и бесстрашны... Если хохочем в глаза насильникам... Если презираем кремлевских лгунов и стяжателей... Если черная тень Чегоданова не в силах заслонить золотое солнце России... Если благородство сильнее подлости... Если правда прекрасней лжи... Приходите ко мне на митинг в воскресенье на проспект великого Сахарова, в 17 часов, и мы скажем Чегоданову, что ему больше не быть президентом. Что его презирают в городах и ненавидят в деревнях. Что

его именем называют свирепых собак. Что свобода идет по земле, как весна, и тираны кончают свой век в петле, в клетке или в кровавой воронке от взрыва. Жду вас, други мои, и мы победим на выборах. Ваш *Градобоев*».

Он заряжал этим текстом свой блог, как снайпер вгоняет в ствол пулю, предназначенную для попадания в переносицу. В то место, где у Чегоданова сходятся белесые брови и пролегает вялая морщинка. Пуля просверлит лобную кость, взорвется в мозгу, выдавит огромные синие пузыри глаз, и тиран будет долго падать из золоченой ложи в переполненный зал театра с красным

сафьяном кресел.

Градобоев туманно улыбался, предаваясь сладостному зрелищу. Не торопился нажать на клавишу. Не торопился утопить спусковой крючок. Не торопился метнуть бесшумную молнию в громадный город, переполненный миллионами жизней. Предвкушал вторжение своей воли в людское скопище, которое затрепещет от восторга и ужаса.

Градобоев утопил клавишу. Так взрывается тополиный пух, скопившийся на асфальте, когда к нему поднесут зажженную спичку. Так разносится на гигантские расстояния электрический ток при

первом повороте ротора. Так бесчисленные крупницы железа поворачиваются все в одну сторону, если к ним приблизить магнит. Так тысячи рыб собираются в громадную стаю и несутся в пучине по невидимой силовой линии. Так расширяется эпидемия от одинокого вируса, попавшего в кровь, охватывая континенты. Точно так же, со скоростью мысли, распространялась в социальных сетях весть о митинге на проспекте Сахарова. Эта весть летела по сайтам газет, по форумам правозащитных организаций, по блогам популярных ньюсмейкеров. Ее подхватывали студенческие кружки, служащие корпораций и

банков, художники, поэты и музыканты. Ее ловили компьютеры спецслужб и Администрации президента, иностранные посольства и зарубежные информагентства. Интернет кипел, бушевал, ликовал, проклинал. Миллионы возбужденных людей глотали эту бестелесную сладость, пили горькие яды. Пьянели, отзывались на эту весть своими огненными репликами, стихами, прокламациями.

Бекетов наблюдал, как толпы движутся на митинг. Черные потоки текли от ближайших станций метро, людские сгустки катились с окрестных улиц, с площади Трех вокзалов, куда прибывали

переполненные электрички. Над головами клубился пар, от жгучего мороза заслонялись шарфами, поднятыми воротниками. Устье проспекта было перегорожено полицейскими кордонами, стояли рамки металлоискателей, полицейские охлопывали проходивших людей, проверяли сумки, рюкзаки. Кто-то в ответ язвил и смеялся, кто-то мрачно огрызался, другие послушно поднимали руки, поворачивались вокруг оси, проскальзывали в рамки. Все пространство проспекта, ограниченное призматическими зданиями, застекленными фасадами, медленно наполнялось толпой,

шевелилось, оглашалось рокотом, шелестом, гулом. На вершинах домов горело малиновое ледяное солнце. Воздух искрился от летучего инея.

Бекетов, кутаясь в шубу, опустив уши меховой шапки, смотрел, как люди, проходя сквозь рамки, начинают разворачивать флаги, прикрепляют к древкам транспаранты. Были

государственные трехцветные флаги. Были черно-золотые, имперские. Было много красных полотнищ. Вздymались флаги с эмблемами национал-большевиков. Струились экзотические стяги неизвестных организаций. Штандарты всевозможных союзов и

объединений. Бекетов, рассматривая флаги, убеждался, что его усилия не пропали даром. Обилие красного говорило о присутствии коммунистов Мумакина. Черные серпы и молоты, неуловимо напоминавшие свастики, свидетельствовали о последователях Лангустова. Пестрота правозащитных эмблем, радужные полотнища гей-сообществ указывали на сторонников Шахеса.

Бекетов торжествовал, волновался, видел, как его усилия, слабые толчки воли управляют лавиной людей. Он двигал массивы общественных настроений, перемешивал их в заданных пропорциях, создавал в замкнутом

пространстве проспекта гремучую смесь. Как алхимик, соединял в реторте вещества и растворы, надеясь получить философский камень, или чудовищной силы взрыв. В черное варево толпы вливались все новые и новые группы. Бекетов, как повар, готовил фантастическое блюдо из людских страстей, ненавистей, обожаний. Невидимый, священнодействовал на кухне, где варился жирный борщ революции.

Мимо проходил парень, по виду студент, в капюшоне, с рюкзачком за плечами, с белой тряпицей на воротнике. Весело посмотрел на Бекетова, воздел два пальца, изображая символ победы.

Пробежали три девушки, в меховых сапожках, в нарядных шубках, румяные и красивые, засмеялись, помахали бумажными белыми розами. Проковыляла женщина в замызганном камуфляже, с клюкой, в мужской шапке-ушанке, из-под которой истово сверкали глаза ветерана правозащитных митингов. Подскакивая и пританцовывая, пробежал странный человек в облачении средневекового шута, в красной хламиде, красном островерхом колпаке, красных, загнутых кверху чувяках. Бекетова поразило его изможденное лицо с сумасшедшими гримасами боли и счастья.

Вдалеке голубела трибуна,
окруженная черной толпой,
разноцветьем транспарантов и
флагов. Люди стекались к проспекту,
просачивались сквозь рамки,
сливались в густое месиво, которое
дышало и горбилось. Черный
верблюд толпы протискивался сквозь
игольное ушко металлоискателей.
Солнце смотрело с фасадов
малиновыми глазами.

Митинг рокотал, ухал, гремел
как бубен, сотрясая морозный воздух,
призмы домов, врытые в землю
фундаменты. Площадь
пританцовывала, подпрыгивала,
колыхала полотнищами. Казалось,
огромный шаман бьет в свой

колдовской инструмент, качаются здания Трех вокзалов, взлетает и падает идущая от Каланчевки электричка.

Градобоев, распахнув ворот, стянув косматую шапку, выдыхал длинные струи пара, из которых летели в толпу огненные слова. Взрывались, как снаряды, и в местах попадания открывалась полная воплей воронка. Толпа смыкалась, и только яростно крутились водовороты знамен.

— Наша митингующая площадь — это вся Россия между тремя океанами! К нам на митинг пришел весь оскорбленный народ, который принес Чегоданову черную метку!

Все нищие старики и старухи, у которых на рубище блестят ордена за труд и за подвиг! Все сироты и беспризорные, которые ночуют на помойках и свалках! Все обманутые в судах и изнасилованные в полиции! Все, кто требует правды и справедливости, а им в лицо суют полицейскую дубину и фальшивый бюллетень избиркома! Мы говорим Чегоданову: «Ты лжец и насильник! Ты вор и развратник! Уходи, пока цел! Ты хочешь заранее сфабриковать результаты выборов! Но знай, если это случится через час после того, как твои холуи в избиркоме объявят твою лживую победу, мы выйдем на улицу и выгоним тебя из Кремля!»

Градобоев был дрессировщик, полосующий хлыстом непокорного зверя. Площадь ревела, крутила красными стягами, словно открывалась черная пасть с алым языком. Чудовище рыкало, вставало на задние лапы, готовилось кинуться на дрессировщика, рвать его на куски. Но тот бросал в ревущую пасть комья сырого мяса, и чудовище жадно глотало, захлебывалось, давилось, забывая о дрессировщике.

— Неужели Чегоданову не идут впрок уроки Ливии и Египта? Неужели Чегоданов хочет, чтобы его возили в клетке по гнилым городам и разоренным деревням и люди кидали в него камни и пустые бутылки?

Неужели он не боится, что на него накинута железный трос, привяжут к бэтээру и поволокут по брусчатке? Неужели он не чувствует, что его ненавидит армия и полиция? Неужели он не видел кадры, на которых народ терзает ненавистное окровавленное тело Каддафи? За каждый сфабрикованный бюллетень, за каждый украденный голос Чегоданов заплатит страшную цену!

Он чувствовал толпу, как смертельную опасность, которая может его уничтожить. Пил эту опасность, наслаждался безумной игрой, как наслаждается альпинист, повисший над пропастью. Как одиночка-яхтсмен, попавший в

водоворот океанского смерча. Он дразнил толпу, увлекал ее за собой, собирал в сгусток ее разрушительные энергии. Был громовержец, сжимавший в кулаке раскаленные молнии. Был золоченой статуей на носу корабля, рассекавшей грудью свирепые волны. Был народный вождь, несомненный лидер.

— Я обещаю вам, братья, мы придем в Кремль! Мы соберемся в Георгиевском зале, где золотом начертаны имена гвардейских полков! Мы поднимем бокал за русский народ, за Победу! — Градобоев воздел кулак. — Победа! — выдохнул он. — Победа!

Площадь единым дыханием и

рыком вторила:

– Победа! Победа! – И от этого рыка поднялись в зеленое небо тысячи московских ворон, метались, загораясь золотом в лучах последнего солнца.

Мумакин, лидер компартии, крепко расставил ноги, сжимал в кулаке меховую кепку, был подобен великому предшественнику на башне броневика. Жадно, тревожно и вместе с тем счастливо и опьяненно смотрел на площадь. Там было множество красных флагов, неслись приветствия его сторонников.

– Мы говорим представителям исполнительной власти: «Проведите честные выборы! И на смену вам

придут те, кто имеет опыт руководства огромной страной. Те, кто строил великие заводы и университеты, выиграл самую страшную в истории войну, вывел человека в Космос! Посмотрите, во что вы превратили Россию! В обломок территории с вымирающим населением, у которого больше нет индустрии, армии и науки!» Мы, коммунисты, готовы поддержать Градобоева, войти в правительство. У нас есть команда. Есть опытные экономисты, политики, деятели культуры. Мы готовы немедленно начать восстановление страны!

Ему в ответ кричали «ура», размахивали полотнищами, пускали

вверх розовые и красные шарики. Мумакин упивался, его принимала площадь, видела в нем борца за свободу. Он выдержал испытание, сохранил партию, уберег ее от смертельных ударов. Его компромиссы оборачиваются ослепительным успехом. Власть, которой его пугали, которую у него отнимали, теперь падает ему в руки, как созревшее румяное яблоко.

Мумакин выбросил вперед кулак с зажатой шапкой, застыл, как бронзовое изваяние. Красные флаги бушевали, как паруса, и с разных концов площади неслось восхищенное: «Союз! Союз!»

Елена, в своей негреющей

норковой шубке, смотрела из-за кулис на площадь. Сгущались сумерки, толпа напоминала мостовую, вымощенную головами. Когда начинался рев, Елене казалось, что к ее телу прижимают раскаленный морозом шкворень, она задыхалась, сердце останавливалось. Она видела Градобоева. Возбужденный и яростный, он готовился к броску, окутанный паром, в мохнатой шубе, как поднявшийся из берлоги медведь. Видела Бекетова, который в куртке, отороченной мехом, зачарованно смотрел на площадь. Казалось, что-то считал, измерял, как вулканолог у края кратера. Ей было невыносимо.

Оба они делали ее жизнь ужасной. Оба влекли к себе, и оба отталкивали. Обоим она лгала, и оба не хотели замечать ее лжи. Обоим она служила, уверяя себя, что служит великим целям, и ради этих целей, ради пленительной Русской Победы должна терпеть унижения. Но эта ложь обесценивала служение. Ей хотелось убежать с этой трибуны, чтобы не видеть разрумяненного, яростного Градобоева, бледного, шепчущего Бекетова. Скрыться, чтобы избежать несчастья. Она не понимала смысла произносимых речей, но, когда площадь, вымощенная головами, взрывалась ревом, ей казалось, что из недр

площади вырывается то один, то другой булыжник, бьет в нее и ее побивают камнями.

Выступал Лангустов, в черной кожаной куртке, в фуражке, с бородкой и в миниатюрных очках. Его маленькое морщинистое лицо пребывало в мерцающем пятне света, который направляли на него телегруппы, расположившиеся у основания трибуны. Еще несколько корреспондентов и репортеров направили на него объективы. Он знал о телегруппах, о журналистах из «Либерасьон» и «Пари матч» и позировал. То делал энергичный шаг вперед, салютуя сжатым кулаком. То резко оборачивался в профиль,

замирая, позволяя сделать
эффектный кадр. То застывал,
прижимая руки к бедрам, как солдат
в почетном карауле.

— Вся эта власть, этот ужасный
Кремль — всего лишь тухлое яйцо, в
котором давно сдох птенец. Разбейте
это яйцо, и из него потечет
зловонная жижа, выпадет уродец с
головой Чегоданова. Не нужно
бояться власти! Не нужно бояться
могилы, которая зовется кремлевской
властью! Власть существует, пока
существует наш страх. Возьмем в
руки ремни с пряжками и
велосипедные цепи и пойдем на
ОМОН. И он, видя наши волчьи
улыбки, наши веселые звериные

глаза, разбежится. Революцию делают герои. Вы – герои, избранники свободы. «Свобода! – говорю я вам. – Свобода или смерть». Мы, не боящиеся смерти, делаем историю России. Мы, избранники свободы, пишем великолепную книгу войны. «Свобода или смерть!»

Он дергал кулаком, словно бил в колокол. Его сторонники, одетые в кожанки, были похожи на черных жуков в блестящих хитинах. На красных, с белым кругом знаменах трепетали чуткие черные пауки. Знамена наклонялись в сторону вождя, и множество восхищенных голосов вторило: «Свобода! Свобода!.. Смерть! Смерть!»

Бекетов, прячась под меховой капюшон, неотрывно смотрел на площадь, на ее конвульсии, на вздутия и впадины, выбросы и всплески энергий. Соизмерял с этими выбросами слова ораторов, их политические воззрения, остроту или затуманенность смыслов. Площадь казалась ему громадной машиной, которую он сконструировал. Могучим реактором, которым управлял. Двигал графитовые стержни, замедляя или убыстряя реакцию. Контролировал уровни радиации, балансируя у красной отметки. Измерял температуру раскаленного пара. Силу тока на клеммах генератора. Он

использовал топливо людской ненависти и обожания, переводил ее в социальную энергию протеста, воздействовал этой энергией на электоральные предпочтения, политические симпатии, будущие результаты выборов. Он проводил эксперимент, последствия которого были до конца не ясны. Он увеличивал мощность реакции, не зная допустимый предел. Управлял множеством факторов, не зная, какой из них главный. Страстная воля Градобоева или осторожное лавирование Мумакина. Революционное безумие Лангустова или социальный страх, живущий в сознании людей. Он признавал, что

поступает вероломно и гадко по отношению к Елене, использует ее вспыхнувшее чувство. Но это вероломство было оправдано громадным риском, которому он подвергал государство. Все, выступавшие на митинге, все, наполнявшие площадь, и он сам, измеряющий социальную энергию митинга, и Елена с несчастным лицом, и Чегоданов, наблюдавший митинг перед монитором, — все они были топливом громадного реактора, толкавшего вперед русскую историю.

Бекетов видел, как в сумерках мерцает на площади множество вспышек, и ему казалось, что это искрят проложенные в толпе

провода.

Выступал Шахес. Маленький, круглый, в колючей шубе, он был похож на смешного ежа, вставшего на задние лапки. Водил по сторонам чутким носиком, словно принюхивался, чем пахнет окутанная дымкой толпа. В его пальчиках трепетал замусоленный червячок.

— Мы собрались здесь, чтобы заявить во всеуслышание: «Соблюдайте права человека! Соблюдайте гражданские права! Нет ксенофобии! Нет неправым судам! Свободу политическим заключенным!»

Шахес прокричал все это в микрофон и замер, испугавшись

собственных слов. Стал пугливо
оглядывать площадь, не
протискиваются ли к трибуне
молодцы из ОМОНа, не летят ли в
его сторону яйца, брошенные
нацистами. Червячок в его пальцах
испуганно замер. Но никто не
протискивался, ничто не летело.
Площадь одобрительно рокотала,
развевались радужные флаги геев,
вздымались транспаранты
правозащитников. Шахес осмелел:

— Пусть меня услышит кандидат
в президенты Чегоданов. Пусть меня
услышат лидеры европейских
государств. Пусть меня услышит
президент Соединенных Штатов.
Мы, русские, хотим жить в

цивилизированной стране. Это наш выбор!

Шахес, при мысли, что его слова слышат сейчас в Кремле, на Капитолийском холме, в Берлине, Париже и Лондоне, так разволновался, что язык его стал отчаянно вращаться. Мысли обгоняли слова, он проглатывал согласные, грассировал. Его речь превратилась в стрекот, свист, щебет, и в этом птичьем треске можно было с трудом разобрать: «Ходорковский», «Магнитский», «Политковская». А когда он выговорился, иссяк и напоследок вновь обрел дар человеческой речи, только и мог что выкрикнуть:

— Господа, мы же люди! — Он поднес к губам своего загадочного червячка, словно собирался его съесть. Раздумал и убежал в глубь трибуны.

И площадь скандировала:

— Люди! Люди!

Выступали представители творческой интеллигенции.

Художник Скороходов, который выскочил на трибуну в птичьем оперении, в маске Чегоданова. Он подпрыгивал, хлопал себя по бедрам, изображал полет, тонко выкрикивая:

— Чегоданов, стань птицей!
Улетай туда, где раки зимуют!
Счастливого полета!

Следом слово получил писатель

Лупашко. Он вынес на сцену эмалированный таз. Лил в него клейкую жижу. Кидал обрывки газет. Смахивал с тарелки пищевые объедки. Плюнул и крикнул:

— Чегоданов, разве ты президент? — В тазу зашипело, заискрилось, и поднялось мутное облако дыма. Лупашко кланялся, как факир. Площадь в восторге ревела.

Завершал митинг Градобоев. В распахнутой шубе, с заиндевелыми волосами, вырвался на край трибуны, подняв вверх сжатый кулак. Словно командир, поднимающий в атаку солдат. Грудь навстречу пулям. Офицерский ТТ в кулаке. Крик, переходящий в певучий,

торжествующий вопль:

— На нашей стороне правда! На нашей стороне русский народ! На нашей стороне Господь Бог!

Площадь неистово ревела. Он был ее кумир, ее божество. Он повелевал ею. Мог приказать, и она окаменеет. Мог вытянуть перст указующий, и она вся с гулом помчится туда, куда он указал. Мог огненным взглядом, как небесным лучом, ужалить, воспламенить, и она вся превратится в бушующий пожар.

Градобоев жег ее глазами, стремился запалить черное варево, страстно желал, умолял, чтобы среди черных голов вспыхнул огонь. И вдруг там, где летал его жгучий

взгляд, над толпой взлетело узкое пламя. Возник человек, бегущий по головам. На нем было оранжевое облачение, красный колпак шута. На загровке бушевало рыжее пламя. Он беззвучно кричал, гримасничал, поливал себя из пластмассовой бутылки прозрачной жидкостью, которая воспламенялась, и он, как жуткий факел, скакал по головам и кривлялся. Провалился вниз, в толпу, исчез в черной гуще, и оттуда, куда он канул, поднимался дым.

Градобоев ужасался и восхищался зрелищем самосожженца, который подтвердил колдовскую мощь его взгляда. И этот взгляд продолжал поджигать. В

разных концах площади из толпы
вверх полетели пучки огня,
ослепительные струи. Взрывались в
высоте разноцветными вспышками,
пылающими букетами. Словно
загорались драгоценные люстры,
озаряли ликующие лица, знамена.
Восторженными кликами славил
площадь салют победы.

Бекетов видел счастливое, с
безумным взором лицо Градобоева.
И Елену, ее бледное, ужаснувшееся
лицо, обращенное к пучкам
небесного пламени.

ГЛАВА 16

Бекетов прильнул к телевизору, где начиналась программа Михаила Немвროзова «Смута». Немвровов, статный, с лицом записного красавца, в черном костюме и белой манишке с галстуком-бабочкой, был обличительно-страстный.

«Всмотритесь в эти неистовые лица! В эти жестокие жесты! В эти гримасы ненависти и злобы! – На экране возникали Градобоев, воздевший кулак, Мумакин с шапкой в руке, Лангустов с бородкой Троцкого, Шахес, крутивший в руке загадочного червячка. И множество других лиц среди кричащей толпы. –

Они хотят не свободы, а крови! Не справедливости, а насилия! Не прав человека, а виселиц и плах! Снова на Россию надвигается кровавая смута! Вот так это было в феврале семнадцатого года! — На экране бежали кадры хроники с демонстрациями в Петрограде, с Керенским на митинге, с флагами и транспарантами, с солдатами и рабочими. — А чем закончилось? — Вздымались черные взрывы, мчалась свирепая конница, падали главы храма Христа Спасителя, тянулись по дорогам беженцы и погорельцы, наганы стреляли в затылки стоящим на коленях людям. — Вот так это начиналось в августе девяносто

первого! – Ликующие демонстранты братались с танкистами у Белого дома, толпа несла по Садовой громадное трехцветное полотнище, под свист и улюлюканье сволакивали с постамента памятники. – А чем завершилось? – Страшные развалины Грозного. Чеченцы режут горло контрактникам. Вагоны, оборудованные под морги, полные скрюченных трупов. – А вот как начиналась «арабская весна», эта «оранжевая» революция в Северной Африке! – Залитая толпой громадная площадь Тахрир. Мечети, полные благоговейно молящихся. – А вот чем завершилась «весна»! – Пылающие развалины Триполи, пикирующие

самолеты, изуродованный труп Каддафи, в который неистово продолжают стрелять. – Сегодня на Болотную площадь и проспект Сахарова выходят борцы за права человека, но завтра они будут рубить головы и устраивать публичные казни!»

Возникло лицо Градобоева, его окутанный паром рот.

«Неужели Чегоданов не боится, что его станут возить в клетке? Неужели он не боится, что на него накинута железный трос, привяжут к бэтээру и поволокут по брусчатке?» И вслед за этим снова расплющенное, изрытое пулями лицо Каддафи, и автоматные очереди,

вонзающие в труп свинец.

Бекетов, восхищаясь артистической работой Немвროзова, не смог сдержать смех:

— Ай да Мишка, ай да сукин сын!

Его опасный эксперимент удавался. Чем гуще и громогласнее была толпа на площади, тем сильнее было отторжение обывателей, испуганных угрозой «великих потрясений», которые истребят их утлый быт и погубят их скромный достаток.

«О, Родина-Мать! О, Родина-Мать! — слезно воскликнул Немвровов. На экране появилась корова, пятнистая, черно-белая, с худыми боками и вислым выменем.

Она ошалело бежала, понукаемая погонщиком, который дубиной охаживал ее бока. – О, Родина-Мать!»

Корову загнали в тесный железный бокс. Облили струей воды, которая расплющивалась о ее голову блестящей брошкой. Опустили к голове электрод, вонзили в лоб между рогов. Полыхнула вспышка. Корова рухнула на железное дно, которое растворилось, и оглушенная туша полетела вниз, на кафельный пол, озаренный лампами. Работники набросили на задние ноги коровы стальную цепь, вздернули, и корова закачалась, забилась, мотая оглушенной головой. Работник блестящим ножом полоснул ее по

горлу, и оттуда хлынула черно-алая кровь, громко забила в жестяное корыто.

«Родина-Мать! Родина-Мать!» — рыдал Немврозоз.

И тут же возникало лицо Градобоева, восхищенное и неистовое.

Работник бензопилой отсек копыта, обрубки упали на кафельный пол. Ноги дергались белыми костями, и из них хлестала кровь.

Работник ножом вел разрез по коровьему брюху, а другой с треском сволакивал шкуру, словно снимал тяжелую шубу. Красная липкая туша качалась на цепи, и в голове жутко сверкали черные остановившиеся

глаза.

— Родина-Мать! Что они делают с тобой, о, Родина-Мать!

Лицо Градобоева, исступленное, с искаженным ртом, занимало весь экран.

Ударами тесаков вскрывали чрево. Вываливали красно-лиловые кишки. Громадное, как черный булыжник, сердце. Липкую, как моллюск, печень. Работник бензопилой раскраивал тушу надвое, и две половины раскачивались, розовея ребрами. А работники, голые по пояс, перепачканные кровью, казались палачами.

«За что они тебя, наша матушка! За что они, изверги, мучают тебя и

казнят!»

Площадь волновалась толпой. Трибуна казалась эшафотом. На ней в безумном упоении улыбался Градобоев.

Работники острыми совками вычерпывали из глазниц выпученные, с огромными белками глаза. Вырезали язык. Отсекали губы. Безгубая, с обнаженными зубами голов, жутко смеялась.

«Вглядитесь в это лицо! Не Антихрист ли пришел на Русскую землю?»

Возникло лицо Градобоева в счастливой судороге, озаренное салютом.

«Родина, отстоим тебя от

захватчиков! Есть кому тебя защитить!»

Возник истребитель, замедляющий бег по бетонному полю. Из кабины поднимался Чегоданов, в камуфлированном облачении, в стратосферном шлеме.

Шел легкой походкой, и его приветствовал строй солдат-победителей.

Немврозов эффектно простился со зрителями. Бекетов налил бокал шабли и медленно, с наслаждением выпил.

ГЛАВА 17

В Доме Правительства собрался предвыборный штаб Чегоданова, чтобы обсудить последствия митинга на проспекте Сахарова. В кабинете, во главе стола, сидел Чегоданов, внимательный, строгий, в своем любимом темно-синем галстуке, который он надевал в особо торжественных случаях. Глава штаба режиссер Купатов, сумрачный и усталый, похожий на лысого льва, вертел в руках неизменную трубку с холодным пеплом. Подносил ее к седым усам и вдыхал сладостно-горький дух. Глава президентской Администрации Любашин, с

траурным лицом, весь в черном, напоминал печального пастора, которого пригласили на исповедь к неизлечимо больному. Министр внутренних дел Закиров, с морскими звездами на плечах, преданно смотрел на Чегоданова, обнаруживая трепетную готовность выполнять его указания. Председатель Центральной избирательной комиссии Погребец, с железной бородой старообрядца, с огромным иконописным лбом, был невозмутим и выражал готовность стоически встретить любые превратности судьбы. Начальник личной охраны Божок, с крепкими плечами и могучей шеей, недружелюбно посматривал на

собравшихся, ревнуя их к Чегоданову. На мясистом безбровом лице остро поблескивали синие глазки, то злые, то веселые. За столом оставались свободные места. Не занимая их, в стороне, в удобном кресле сидел президент Стоцкий. Ему не было места во главе стола, где восседал Чегоданов, но он не желал выглядеть подвластным Чегоданову, подобно остальным членам штаба. Поэтому занял нейтральную позицию, вне иерархии. Так же в стороне сидела Клара, неизменная спутница Чегоданова, с распущенными черно-стеклянными волосами, в платье с глубоким вырезом, в котором круглились смуглые груди. Ее яркие

восточные глаза с обожанием смотрели на Чегоданова и с недоверием и отчуждением — на придворную свиту.

— Я приветствую всех собравшихся и прошу высказать свои соображения относительно последних событий, случившихся в Москве на протестных митингах. — Чегоданов говорил тихо и вкрадчиво, как это водилось за ним, когда дело касалось особенно тревожных событий. — Начнем с вас, Ярослав Аркадьевич, — обратился он к режиссеру Купатову.

— Признаюсь, я ходил на митинг и смотрел не отрываясь. Это грандиозное действо, в нем было

что-то античное, — отдельные актеры и сопровождавший их хор. И когда в морозном небе, над тысячной толпой взлетел салют, я, признаюсь, пережил момент катарсиса. Отличная режиссура, отличный состав актеров, отличный театр под открытым небом. — Купатов со значительным видом умолк, полагая, что на подобную оценку не способен никто другой.

— Приятно узнать, что вы получили художественное наслаждение, Ярослав Аркадьевич. — Губы Чегоданова побледнели и сложились в трубочку, что выдавало в нем крайнее раздражение. — Значит, у оппозиции есть талантливый

режиссер. А разве у нас нет талантливой режиссеры? Разве вы, Ярослав Аркадьевич, не способны предложить встречную режиссуру? Разве вам нечего нам предложить?

— Ну, отчего же. Я думал об этом. Мы тоже могли бы ответить. Например, народный молебен об изгнании из Москвы Антихриста. По телевизору уже прозвучало, что Градобоев — Антихрист. Так вот, в воскресенье на всех московских церквях звенят колокола, и от церкви к церкви идут крестные ходы с хоругвями и иконами. Они стекаются к проспекту Сахарова, где проходил митинг, и священники кропят закланое место, изгоняют из Москвы

злой дух. Это транслируется на всю Россию. – Все это Купатов произнес не слишком уверенно. Было видно, что театральное действо не до конца им продумано.

Чегоданов язвительно улыбнулся и тихим шелестящим голосом произнес:

– Спасибо, Ярослав Аркадьевич. Это напоминает «Хованщину».

Глава Администрации Любашин, стараясь угадать тайный замысел Чегоданова, чтобы быть созвучным этому замыслу, произнес:

– Не пора ли начать спецоперации, Федор Федорович? Коммунист Мумакин нарушил взятые обязательства, и мы можем

опубликовать видеозапись, где он обязуется удерживать партию от радикальных действий. Пускай его растерзают его же коммунисты. Почему бы нам не запустить в Интернет фотографию Лангустова, где он играет в постели с хорошеньким белокурым мальчиком? Не думаю, что это понравится нашему консервативному народу. А Шахес, этот вероломный прохвост, — мы расскажем публике, как его благовидный фонд получает деньги американских евреев и эти деньги идут на подавление русских националистических организаций. Что касается Градобоева, у него есть ахиллесова пята, куда можно вонзить

острие. Его любовница Елена Булавина. Ей можно сделать больно, и это заставит Градобоева остановиться? – Любашин произнес все это тихо, потупив глаза, в своем черном облачении похожий на лютеранского пастора.

Клара гневно блеснула лучистым ненавидящим взглядом. Чегоданов уловил ее порыв, гася эту вспышку ненависти.

– Ваши предложения не блещут новизной. Никто не удивится, если у Лангустова в постели найдут козу. Мумакину мы увеличим тайное финансирование его партии на десять процентов, и он улетит с этими процентами в клюве, как

цапля с лягушкой. У Шахеса еврейские деньги? А вы хотите, чтобы это были юани? Что касается Градобоева, он только и ждет, чтобы его сделали мучеником. Вместо одной любовницы он найдет другую. К тому же с женщинами мы не воюем. У каждого из нас есть женщина, а значит, ахиллесова пята. — Чегоданов взглянул на Клару, и та ответила благодарным обожающим взглядом. — В наших действиях мы должны соблюдать осторожность. Общество перенасыщено протестными настроениями. Один неверный шаг, и возникнет цепная реакция революции. Нужны нетривиальные

системные решения.

— Системное решение есть, Федор Федорович. — Министр внутренних дел Закиров шевельнул плечами, все его звезды ожили. Казалось, сейчас они начнут падать с плеч и разбегаться по столу. — Спецоперации на Кавказе становятся все многочисленнее, и можно, при желании, придать им видимость военных действий. Война на Кавказе, террористические акты в российских городах, в том числе и в Москве, — весомый повод отменить выборы. Мы выиграем эту войну, и вы проведете парад победы в Махачкале или в Назрани. После этого вам гарантирована победа на выборах. —

Звезды на плечах министра замерли, он ждал ответа на свое системное предложение.

— Вы хотите, чтобы установки залпового огня разрушили... — со злой иронией произнес Чегоданов. — Вы Махачкалу? Хотите, чтобы все ваххабиты мира примчались на Кавказ из Сирии, Ливии и Ирака? Вы хотите, чтобы «Аль-Каида» обустроила базы на вещевых рынках Москвы? Занимайтесь лучше охраной общественного порядка во время митингов и демонстраций.

Министр уязвленно молчал, и звезды на его плечах обиженно нахмурились.

— Федор Федорович,

гарантирую, мы проведем выборы на самом высоком уровне. Восемьдесят процентов поддержки я вам гарантирую. Разве когда-нибудь система «ГАЗ-Выборы» нас подводила? Если восемьдесят процентов кажутся вам недостаточными, добьемся девяноста двух. — Председатель Центризбиркома Погребец невозмутимо смотрел чистыми глазами, проведя белой ладонью по стальной бороде.

— Сергей Артамонович, да будет вам известно, в «оранжевых» революциях тема нечестных выборов занимает главное место. Если вы перестараетесь с вашими

процентами, то на улицы выйдет вся Москва. Реальные рейтинги не должны расплываться и тонуть в дутых цифрах. Нужно повысить мою популярность до уровня, при котором ваши надбавки будут выглядеть правдоподобно. Я хочу получить от вас, коллеги, предложения, каким образом переломить негативную тенденцию и выиграть выборы. — Чегоданов сложил губы трубочкой, отчего вместо рта образовался сердитый хоботок, и слова излетали с характерным злым шелестом. — Мне нужны творческие идеи. Мы должны выявить изъяны в наших действиях.

Молчавший все это время

личный охранник Божок мерцал синими глазками, которые то смеялись, то превращались в злые красные угольки.

— А я вам скажу, Федор Федорович, отчего ваша кривая ползет вниз, можно сказать, падает набок. Вот вы пригласили обратно Бекетова, доверились ему, дали ему полномочия. Я не стал вас отговаривать, хотя Андрей Алексеевич — человек сложный, ох сложный! Ведь вы недаром его от себя удалили, мы оба знаем, было за что. А вот теперь взяли обратно. Так вот, мои люди сообщают, что Андрей Алексеевич работает на Градобоева. Тайно встречается с ним, снабжает

информацией, дает ему идеи. Он, по поручению Градобоева, привел на митинг и Мумакина, и Лангустова, и этого русофоба Шахеса. Вы ему доверяете, раскрываете карты, а он бежит к врагу и выдает секреты. Вот кому нужно сделать больно, и кривая сразу полезет вверх. С «кротами» как обращаются? Шкурки снимают. С предателей надо шкурки снимать. — Божок, смеясь синими глазками, показал, как вскрывают пойманному зверьку брюхо и сдирают мягкую шкурку.

Президент Стоцкий отстраненно, с рассеянной улыбкой, внимал разговорам. Неожиданно встрепенулся в кресле, несколько раз

взмахнул маленькой точеной ручкой, прежде чем заговорил.

– Предательство благодетеля – неотмолимый грех! У Данте в центре ада сидит Вельзевул и страшными гнилыми зубами грызет предателя! Предателя надо расстреливать, топить, вешать, как собаку. Бекетов предал Федора Федоровича в самый трудный момент и сбежал. Ты, Федор, опрометчиво его вернул. Доверился ему в этот сложный момент, зная, что он предатель. Среди близких тебе людей нет предателей. Мы верны тебе, готовы жертвовать во имя тебя. Я поклялся тебе в верности и держу клятву. Если бы ты знал, сколько мерзавцев в эти

годы, что я президент, подбивали меня стать предателем. Говорили: «Одна твоя подпись, и Чегоданов уходит в отставку, и больше никогда, никогда не встанет на твоём пути!» Я их всех отвергал с презрением. Для меня наша дружба священна. Я служил и служу тебе. Если в тебя станут стрелять, я заслоню тебя своей грудью! — Стоцкий сбивался, размахивал точеными ручками.

Чегоданов пристально смотрел на него и, казалось, взвешивал на невидимых весах эти признания в верности.

— Я бы хотел узнать, сколько людей приходило к Градобоеву на митинг. А также какой у меня

рейтинг на сегодняшний день.

Глава Администрации кинулся к телефону и что-то негромко спросил. Повернулся к Чегоданову:

– На Болотной площади было пятьдесят тысяч, а на проспекте Сахарова – сто двадцать тысяч.

Все охнули, Купатов схватился за лысую голову. Министр внутренних дел мучительно сжал кулаки. Божок мерцал красными угольками.

– А рейтинг, рейтинг? – спросил в нетерпении Чегоданов.

– Ваш рейтинг, Федор Федорович, поднялся с тридцати шести до сорока одного процента.

Все изумленно молчали.

– Так что видите, коллеги,

кривая моей популярности стала расти, — засмеялся Чегоданов. — Еще далеко до победы, но прогресс налицо. Так что «кроту» не надо делать больно. Не надо сдирать с него шкурку.

Чегоданов поднялся, оставляя членов штаба в недоумении. Удалился в соседнюю комнату отдыха, увлекая за собой Клару.

Лежал на парчовом диване с золоченой спинкой. Положил голову Кларе на колени, чувствуя слабое волнение ее тела, сладостные дурманы ее волос, скольжение ее пальцев у себя на груди.

— Ты заступился за Елену Булавину, возлюбленную Градобоева.

Ты благородный, добрый, – говорила она.

– У меня много ненавистников и врагов, – сказал он. – Желая уязвить меня, они могут причинить зло тебе. Народ ненавидел Муссолини и вместе с ним повесил его возлюбленную.

– Меня такой удел не страшит. Я бы хотела лежать с тобой в одном кургане.

– Ты будешь ехать со мной в президентском автомобиле, и люди станут бросать под колеса цветы.

– Ты считаешь, такое возможно?

– Мои дочери выросли и во мне не нуждаются. Моя бедная жена тяжело больна, и я вправе взять

развод. Мы поженимся, и нас обвенчает патриарх в храме Христа Спасителя.

— Я же колдунья. Он не станет меня венчать.

— Тогда мы поедем к удмуртским шаманам, и они тайно нас обвенчают.

— Любашин — коварный и злой. Он может причинить Елене Булавиной зло. Я пойду к ней и предупрежу об опасности.

— Любашин не нарушит моего запрета. Он хоть и злая собака, но послушная.

Клара вынула из волос костяной гребень, усыпанный крохотными бриллиантами. Черный блестящий

ливень волос обрушился на лицо Чегоданова, и он задохнулся от пьянящих ароматов, стеклянной тьмы, от нежности к ее близкому дышащему телу, обнаженной груди, которой коснулась его рука.

— Ты моя колдунья, сберегаешь меня.

Темный сверкающий шатер накрывал его, и он скрывался под этим душистым покровом, который был непроницаем для зла, для ищущих его, ненавидящих и грозящих. Эта дивная завеса заслоняла его от бестолковых министров, от лукавых и чванливых советников, не умевших управлять государством. От черной толпы,

заливавшей московские улицы, из которой неслись проклятия и злые насмешки. От Кавказа, где все жарче и неуклоннее разгоралась война и самолеты бомбили отряды повстанцев. От банкиров и олигархов, которые уводили из страны миллиарды, оставляя крохи изнуренному и вымирающему народу. От злобных зарубежных газет, которые именовали его «фашистом», рисуя образ чудовища. От сирийских городов, где стреляли танки и российские советники управляли зенитно-ракетными комплексами, готовясь к «бесконтактной войне». От Китая, нависавшего над Россией непомерной громадой, готовой

рухнуть на безлюдную Сибирь и Приморье. От приближенных, друзей и соратников, в которых таилось предательство, и он в глазах самых близких вдруг улавливал огонек вероломства. От жены, страдающей тяжким недугом с припадками и слезами, с истериками и угрозами покончить с собой, что побудило заточить ее в дальний псковский монастырь, откуда доносились ее несчастные вопли.

Волшебный душистый шатер укрывал его от напастей и мук, и он хотел оставаться под этим дивным покровом, вдыхать пьянящую сладость, гладить ее теплую грудь, чувствуя, как наливаются и твердеют

соски.

— Какое счастье, что ты есть у меня. Какое счастье, что я натолкнулся на этот смешной журнал «Оракул» и прочел о тебе заметку. В то лето в России жутко горели леса, а зимой вдруг выпали ледяные дожди, и страна оказалась замороженной в глыбу льда. Я не знал, что делать. Не помогали спасатели, не помогали молебны, и вдруг помог этот наивный журнал, где был твой портрет с алой розой в восхитительных распущенных волосах. Я попросил, чтобы тебя пригласили в Кремль.

— Леса подожгли себя сами. Это было самосожжение русских лесов.

Ледяные дожди и ветры рвали провода, замораживали города, покрывали коркой аэродромы, превращали дороги в скользкие ледники. Падали самолеты, разбивались машины, сходили с рельс поезда. Я спрашивала у духов, за что они ополчились на людей, отчего случилось это восстание природы. И духи мне объяснили, что это месть за отравление Байкала. Байкал — это верховное Божество русской природы, и природа мстила за осквернение своего Божества. Я старалась тебе сообщить об этом, но все мои послания не достигали тебя. Тогда я заказала заметку в журнале «Оракул», поместила в него мою

фотографию и наколдовала, чтобы журнал попал к тебе в руки. Так и состоялось наше знакомство.

— Помню этот весенний день, мы гуляли по Ивановской площади, и колокольня Ивана Великого казалась розовой и дышащей. Мы говорили о пожарах и ледяных дождях. Я тут же отдал приказ немедленно закрыть комбинат, который отравлял байкальскую воду, и летом не было пожаров.

— Как ты, бедный, метался среди горящих лесов, словно хотел сгореть вместе с ними! Ты был Человеком Огня. Зимой ты стоял среди стеклянных деревьев, и мертвое солнце сверкало в поникших

вершинах. Ты был Человеком Льда. Я поняла, что духи не могут простить людей, покуда ты не попросишь у духов прощения.

Ее темные волосы накрывали его серебристым ливнем, и каждый волосок переливался тончайшей радугой.

— Я помню, помню, ты отправила меня просить у природы прощение. Отправила к духам, которые жили в лесах, в океанах и реках. Непосвященные люди смеялись, когда видели, как я целую северного оленя и уссурийского тигра, отпускаю в реку пойманную горбушу или обнимаю детеныша нерпы. Они думали, что это

безмозглый пиар, не ведая, что я исполнял твои наиздания, просил у природы прощения.

Она колдовала, ворожила, целовала, проливала на него темные водопады волос. Она сама была гибкой нерпой, скользящей в синих волнах. Играющей рыбой, прыгающей через речной пережат. Изысканной ланью, летящей через лесную поляну. Бесшумной тигрицей, притаившейся в тростниках. Она была восхитительной птицей, с лазурными крыльями, белоснежной грудью, в шелковом оперении, и он летел вместе с ней, касаясь ее крылом. А внизу проплывали озера, цветущие

леса и долины, и за ними, вытянув тонкие шеи, тянулся косяк журавлей.

– Ты все знаешь, колдунья. Как пройдут мои выборы?

– Тебя ждут триумф и победа.

– А дальше? Что меня ждет впереди? Волнения, революции, войны? Почему кругом столько ненависти? Почему в России никак не наступит покой? Почему вся русская жизнь – непрерывная судорога? У кого я должен просить прощение? Какое зло, случившееся в русской истории, я должен искупить?

– Это зло – убийство царя. Царь – поруганный дух русской истории. Ты должен искупить злодеяние. Ты

должен венчаться на царство.

— Я? — слабо произнес Чегоданов. Он был усыплен ее колдовством, тихими поцелуями, волшебными ароматами, цветком алой розы, вдруг возникшим у нее в волосах. Шатер волос превратился в своды собора. Горели лампы, сияли жаркие свечи, рокотали басы, светились озаренные лица. Он стоял на коленях в наброшенной горностаевой мантии, и патриарх в золоченой митре, усыпанный солнечными бриллиантами, раскрыл над ним золотую книгу. Он не слышал слов патриарха, а только бархатный рокот. Смотрел на властное, с седой бородой лицо. Это

лицо приближалось, рокот слов превращался в угрожающий рык, и вдруг из-под митры прынул на него разъяренный кабан — косматая шерсть, мокрые черные бивни. Огромный зверь ударил его, сокрушил.

Чегоданов с криком очнулся:

— Где я? Что?

Комната была пуста. В сумерках тускло золотились завитки на спинке дивана. На ковре лежала оброненная красная роза.

ГЛАВА 18

Градобоев просматривал прокремлевские сайты, которые демонизировали его. Выуживали из его многочисленных интервью и высказываний порочащие признаки. Его обвиняли в подготовке государственного переворота и призывах убить президента. Подозревали в связях с чеченскими террористами, с которыми он якобы встречался на конспиративной квартире. Вскрывали финансовые поступления, которые шли через неправительственные организации. Напекали на еврейское происхождение. Приводились

свидетельства проституток, которые рассказывали о его мужских немощах.

Сайтов было множество, они слипались в клейкую массу. Их содержание травмировало Градобоева, и он находил утешение, читая другие, либеральные сайты, где его превозносили, прочили в президенты России.

Его отвлек охранник Хуторянин. Он вошел бесшумно, с манерами осторожного разведчика, которым он и являлся, работая прежде в органах безопасности.

— Иван Александрович, к вам редактор «Честной газеты» Луцкер. Без предварительного звонка.

Утверждает, что срочное дело. Прикажете отказать? Или направить к пресс-секретарю? — Хуторянин бегал глазами по кабинету, словно ощупывал воздух вокруг Градобоева, убеждаясь, что в воздухе отсутствует опасность.

— Пригласите. — Градобоева заинтересовало неурочное явление Луцкера. — Семен Семенович, не волнуйтесь. Проверено, мин нет, — усмехнулся он, ценя преданную бдительность телохранителя.

Луцкер с шумом вошел, рыхлый, неопрятный, похожий на перезрелый гриб, пропитанный водой, изъеденный лесными улитками. Он пугливо оглянулся, отыскивая по

углам скрытые камеры и подслушивающие устройства. Приблизил шевелящиеся губы к уху Градобоева и страстно зашептал:

— Это ваш шанс! Немедленно! Мне было непросто! Кругом глаза и уши! Переломный момент в политическом процессе! Я очень рискую!

— Да что случилось? — Градобоев отстранился от Луцкера, спасаясь от волны кислых испарений.

— Валентин Лаврентьевич приглашает! Прямо сейчас! В нужном месте!

— Да кто такой Валентин Лаврентьевич? — не понимал Градобоев.

– Да боже ж мой! Да Стоцкий Валентин Лаврентьевич, президент!

– Хочет видеть меня?

– Да, да, да! И немедленно! Собирайтесь! Это громадный шанс для всех нас!

Вошел Хуторянин:

– Все в порядке, Иван Александрович?

– Я уезжаю, вы со мной. – Градобоев стал одеваться.

Уселся в машину Луцкера, усадив рядом с собой Хуторянина.

– Да зачем вы берете охрану? – всполошился Луцкер. – Да боже ж мой, вас не похищают.

– Со мной всегда находится преданный мне офицер, – ответил

Градобоев, поймав благодарный взгляд телохранителя.

В вечерней метели они проплыли в вязком месиве Садового кольца. Скользнули в железные ворота ампирного особняка. Оказались в тесном дворе. Здесь их поджидала другая машина, у которой стояли два рослых охранника, одинаково строгие и статные.

– Прошу вас, – произнес один, открывая перед Градобоевым дверцу.

– Вам лучше остаться, – бросил второй, оттесняя Луцкера и Хуторянина.

– Я не поеду без моего человека, – сказал Градобоев.

Луцкер обиженно отошел.

Машина, где на заднем сиденье поместились Градобоев и Хуторянин, мягко покинула двор через другие ворота. Снова погрузились в вязкий поток, в котором терлись друг о друга лакированные автомобили, гневно вспыхивали фары, сыпал мокрый московский снег. Долго выбирались из этого ртутного варева, пересекли огненную Кольцевую дорогу и понеслись по Дмитровскому шоссе, включая сирену. Градобоев чувствовал этот маршрут как таинственную линию своей судьбы, совершающей еще один причудливый поворот.

Съехали с шоссе на лесную дорогу. Миновали шлагбаум с будкой.

В глубине соснового бора открылся особняк с оранжевыми горящими окнами. Градобоев оказался в теплой прихожей с коврами и большой китайской вазой с драконами. Ему помогли раздеться. Хуторянин остался в прихожей, а Градобоева провели по коврам в гостиную. Мягко золотились деревянные стены, горел камин, был накрыт стол на две персоны, мерцала под потолком уютная лампа из разноцветных стекол. Градобоев не успел оглядеться, не успел протянуть к камину руки, как в гостиную быстро вошел президент Стоцкий.

— Признателен, Иван Александрович, за то, что

откликнулись на мое приглашение. Подарили мне время, которое вы бы могли использовать в своей яркой политической деятельности. — Они пожали друг другу руки, и Градобоева поразило нервное, цепкое пожатие маленьких острых пальцев. В лице Стоцкого присутствовало одновременно два выражения, наложенные одно на другое. Высокомерное достоинство повелителя и заискивающая неуверенность, детская застенчивость, боязнь упрека. И эта двойственность мешала Градобоеву, внушала опасение. — Давайте поужинаем, Иван Александрович. А заодно дружески поболтаем.

Официант в белом сюртуке с золотыми позументами приносил блюда. Предлагал вина, водку, виски. Стоцкий и Градобоев согласились пить белое шабли. Стоцкий перехватил у официанта бутылку, наклонил над бокалом Градобоева:

— Вы знаете, когда король Швеции принимал меня в своей резиденции, он собственноручно наливал мне вино, ухаживал за мной. Это было очень мило, как-то по-домашнему. — Золотое вино лилось в бокал. — А вот на ранчо президента Буша мы вообще не пили вина. Как известно, Буш-младший когда-то страдал от запоев, и этикет этих камерных приемов исключал

спиртное. Один из сенаторов как-то зло пошутил, что лицо Буша напоминает этикетку от виски. — Стоцкий наполнил бокал Градобоева, уронив на скатерть несколько капель, принялся наполнять свой бокал. — Зато президент Абама, принимая меня в Кемп-Девиде, решил сделать мне приятное. Выпил рюмку русской водки, закусив соленым огурцом. — Стоцкий засмеялся, поднял бокал. — За нашу встречу, Иван Александрович.

Градобоев чокнулся, сдержанно улыбаясь. Стоцкий вовлекал его в непринужденную беседу, при этом, упоминая сильных мира сего, давал

понять Градобоеву, какая честь ему оказана, какая дистанция между ними.

— Наивны эти русологи, или, как раньше их называли, советологи. Только что у меня была встреча с членами клуба «Валдай». Эти господа из Германии, Америки, Франции высказывали свое видение российской политики. Ее конфликты и тенденции. Все, казалось бы, правильно. Но они не понимают, что в центре российской политики лежит не военный, не политический фактор, а психологический. Психологические отношения всего нескольких лиц, иные из которых вообще неизвестны политологам.

Как раньше, так и теперь, Кремль полон византийских интриг. Отношения двоих людей могут перевернуть кверху ногами всю политику. Например, наши с вами отношения.

Появлялся официант с золотыми галунами, меняя блюда. Был великолепен средиземноморский салат с осьминогами. Французский луковый суп с гренками был изысканно пикантен. Телячьи медальоны под сладким соусом таяли во рту. Градобоев чутко вслушивался в интонации Стоцкого, то исполненные превосходства, то дружеские и шутливые, словно они были добрыми друзьями. Градобоеву

льстила эта нежданная встреча, говорившая, как выросла его политическая роль, какой вес он приобрел своими митингами, блогами, манифестами и разоблачениями. Но он не позволял себе упиваться честолюбивыми переживаниями. Слушал, как, позванивая, раскручивается пружинка их разговора.

— Должен сделать вам комплимент, Иван Александрович. Вы на редкость искусный политик. Некоторые ваши пассажи вызывают восхищение. Вы политик нового типа, каких не знала Россия. Вы политик эры Интернета, и вам удастся сломить тупую мощь

государственных телеканалов. Ваше виртуозное скольжение среди информационных бурь подобно виндсерфингу. Ваши разоблачения, ваши обличительные воззвания, ваши огненные призывы войдут в хрестоматию современной политики. — Стоцкий важно поощрял Градобоева, одобрительно кивал, как ценитель, наблюдающий фигурное катание, знающий толк в рискованных фуэте. И это слегка раздражало и забавляло Градобоева. Ибо сам Стоцкий был политик «византийского толка», получил свою власть благодаря мучительной закулисной интриге. — Но когда-нибудь время площадей и

интернетных флешмобов для вас закончится, и наступит период традиционной политики. А в ней совсем иные законы, нежели на площади. И среди этих тихих политических омутов и невидимых волчьих ям вам бы пригодился поводырь и советчик. — Стоцкий лукаво улыбнулся, и его влажные фиолетовые глаза посмотрели на Градобоева с нежностью.

— Я чувствую недостаток политической практики, — потупился Градобоев, чтобы Стоцкий не уловил промелькнувшую в глазах искру смеха. — Я часто ошибаюсь в людях, в выборе союзников.

— Не скромничайте. Вы

обаятельны, у вас поразительный дар убеждать. Вы сумели привлечь на свою сторону таких мнительных эгоцентриков, как Мумакин, Лангустов, Шахес. Кстати, уморительно было видеть, как Лангустов на последнем митинге танцует балет. А Шахес выступает с синагогальной проповедью. А Мумакин проводит партийный пленум. Все тривиальны, только вы непредсказуемы, искренни, искрометны! – Он льстил Градобоеву, и тому казалось, что эта лесть чрезмерна. Не привлекает, а отпугивает. – Если бы вы знали, господин Градобоев, как вас ненавидит Чегоданов! Как вас

боится! – неожиданно воскликнул Стоцкий, его щеки задрожали, покрылись алыми пятнами, вилка упала на пол. – Вы для Чегоданова смертельный враг!

Официант бесшумно поднял вилку. Положил на скатерть чистую. Стоцкий сжал маленькие кулачки, его фиолетовые воловь глаза трепетали ненавистью.

– Чегоданов чудовище, мерзкое, грязное! Он вор, ненасытный, безумный! Он захватил Россию и грабит, выскребает, хапает! Он главарь банды, которая изгрызла страну, не оставляя ей шанса выжить. У него счета во всех банках мира, он хозяин тысяч корпораций и фирм. Он

присваивает себе нефть, газ, сталь, оружие, хлеб. Его министры – воры. Его министр обороны своровал все довольствие армии, все вооружение. Чегоданов обворовывает космос, детские сады, ветеранов, больных туберкулезом. Он жестокий маньяк. Замучил жену, посадил ее на наркотик, чтобы она не мешала ему развратничать. Ходит в церковь, молится на виду Господу Богу, а ночами ворожит, слушает колдуний, гадает на крови! И при этом сибарит, тяготится государственными делами. Полдня плавает в бассейне, играет в теннис, принимает массажи. Обожает дорогие авто, виллы, общество европейских аристократов,

которые тайно смеются над ним. Он мнителен, боится заговора, и когда-нибудь этот заговор осуществится. Его убьют золотой табакеркой в сумрачном коридоре дворца! Он — гибель России! Гибель русского народа! Россия его не вынесет! Помогите убрать его!

Градобоев был ошеломлен. К нему за помощью обращался могущественный властитель, в руках которого находился ядерный кейс, и тысячи ракет, по его мановению, могли взлететь, превращая планету в огненный шар. Этот маленький хитроумный властитель, искушенный в интригах власти, повелевающий армией, тайной полицией, агентами,

предназначенными для убийства, умолял его о помощи. Нуждался в нем, не мог без него обойтись. От этого бросило в жар. Он неся с ледяной горы среди свистящего ветра и солнца, вписываясь в безумный поворот. Сердце замирало от счастья и ужаса. Судьба обретала скорость, способную протолкнуть его сквозь все препятствия. Одолеть угрюмую гравитацию. Вознести к заветной цели, мистической мечте. К недостижимой власти, которая однажды опьянила его и с тех пор была путеводной звездой, волшебным бриллиантом. Тогда, в детстве, стоя босиком на крыльце, он увидел драгоценную росинку,

которая своей красотой, сказочными переливами вызвала в нем восхищение, а потом, погаснув, — смертельную тоску и печаль. С тех пор всю жизнь он искал эту волшебную каплю, отравившую его своими небесными переливами. И теперь Градобоеву казалось, что этот бриллиант вот-вот вспыхнет в бокале вина, среди горящих в камине поленьев, в темных, трепещущих безумной страстью глазах президента.

— Как я могу вам помочь?

— Приближаются выборы! Вам на них не победить. Готовится безумная фальсификация! Печатаются фальшивые бюллетени,

сбрасываются директивы
губернаторам, все спецслужбы, вся
пресса, все банкиры и бизнесмены
нацелены на победу Чегоданова!
Система «ГАЗ-Выборы», этот
электронный наперсточник,
обеспечит победу Чегоданова и ваш
проигрыш. Вы должны восстать!
Объявить результаты чудовищной
подделкой! Вывести на улицы
миллион граждан! Повести их на
Кремль, с требованием отменить
результаты голосования. А я, волею
президента, отменю итоги выборов.
Назначу новые выборы. По закону в
этих новых выборах не сможете
участвовать ни Чегоданов, ни вы. Я
снова выдвигаюсь в президенты. Вы

поддержите меня. Став президентом, делаю вас премьер-министром! Это огромное для вас достижение. На этом посту вы пройдете политическую школу, возмужаете, вас узнает мировое сообщество. И на следующих выборах у вас не будет конкурентов! Вы президент!

Все это Стоцкий выпалил страстно, захлебываясь, выталкивая из себя пузыри ярости, мольбы, страха. Его щеки дрожали, из глаз выплескивался фиолетовый огонь, какой бывает у глубоководных существ, внезапно всплывших на поверхность. Градобоев пугался этой откровенности, которая была для него смертельно опасна. Пугался

заговора, куда вовлекали его, как в воронку. Но сквозь фиолетовое свечение, в темной глубине водоворота мерещилась драгоценная бриллиантовая звезда.

— Но если толпа пойдет на Кремль, Чегоданов кинет войска. Я не хочу пролития крови, — произнес Градобоев, стараясь владеть собой.

— Есть вещи более важные, чем кровь! — жестоко сказал Стоцкий. — За власть всегда приходится расплачиваться кровью! К тому же Чегоданов не пойдет на пролитие крови. Он трус. Увидев Красную площадь, заполненную миллионной толпой, он сбежит из Кремля. Улетит на голубом вертолете. Американцы

запретили ему стрелять в народ. Об этом сказал госсекретарь, прилетев неделю назад в Москву. Американцы требуют честных выборов. И они их получают, когда мы проведем с вами голосование без Чегоданова!

Градобоева страшило открывшееся пространство, где господствовали грозные силы, к которым он не прикасался доселе. Это был не Интернет с моментальным возгоранием тысяч воспаленных умов, которые гасли столь же быстро, как и зажигались. Это были не митинги с эффектными речами и воздушными шарами над ликующей толпой. Не пресс-конференции и интервью. Не тайные

получения денег от анонимных жертвователей. Не мелкие происки спецслужб, взламывающих его сайты и устраивающих слежку. Это были тектонические силы, сотрясающие век от века континент России, перемещавшие глыбы русской истории, под которыми хлюпала кровь и трещали кости. И ему, Градобоеву, предстояло шагнуть на эти плиты, ощутить стопами их страшное трясение, омыться кровью, оглохнуть от хруста костей. Такова была природа русской власти, воля, которая приближала его к этой власти.

— Ваше предложение застало меня врасплох. Я должен подумать.

– Вам нечего думать! Вы станете премьером, и мы проведем реформу, делающую премьера главным человеком в стране, а президента отодвинем на задний план! Мне не нужна абсолютная власть! Мне нужно устранить Чегоданова! Спасти от него Россию! Решайтесь, я вам помогу. Вы получите огромные деньги, поддержку зарубежных СМИ, поддержку Америки. В ближайшие дни может состояться ваша встреча с американским послом. Я буду вашим советчиком. Мы станем действовать сообща, вы по одну сторону Кремлевской стены, а я по другую. Решайте!

Градобоев испытал подобие

сладкого обморока. В душе взорвалась ослепительная вспышка счастья, и вся его воля, разум, представления о зле и добре расплавились в этой упоительной вспышке.

— Я должен подумать, — произнес он слабо, как если бы возвращался в явь после наркотического сна.

Официант принес вазу с фруктами. Круглились румяные яблоки. Свисали зелено-золотые и синие гроздья винограда. Краснела спелая клубника. Торчали перья над чешуйчатым ананасом.

Пили вино, вкушали фрукты. Стоцкий был бледен. Казался

опустошенным. Он не получил от Градобоева желанный ответ, и эта неопределенность снесла его. Он медленно потянулся к яблоку, перенося его из вазы на тарелку. Взял нож, намереваясь очистить плод. Внезапно ударил ножом в яблоко. Раз, другой. Яростно воскликнул:

– Ненавижу! Одни унижения! Его мало убить, убить, убить! – наносил по яблоку удары, прокалывал, рассекал. По его полным дрожащим щекам бежали прозрачные слезы.

Градобоев проделал обратный путь от коттеджа в сосновом бору до туманной вечерней Москвы, чавкающей, жующей мглистые огни,

бетонные фасады, лакированные машины. У ампирного особняка он пересел в свою машину, которая понесла его в штаб.

— Спасибо за верную службу, Семен Семенович, — улыбнулся Градобоев Хуторянину, выходя из машины. Тот преданно, благодарно кивнул.

Градобоев вернулся к компьютеру, который забыл выключить. Стал снова процеживать прокремлевские сайты, где его обвиняли в коррупции, в сожительстве с актрисами Художественного театра.

Тем временем в укромном переулке у Песчаных улиц съехались

две машины. В одной сидел
телохранитель Чегоданова Божок. Из
другой в первую пересел
телохранитель Градобоева
Хуторянин. Передал Божку
крохотный диктофон.

— Здесь все, о чем они говорили.
Четкая запись, — сказал Хуторянин.

— Спасибо. — Божок спрятал
диктофон на груди.

— А помнишь, Петя, как под
Первомайской ты меня по снегу
тащил?

— Такое, Сема, забыть
невозможно.

— Ну, бывай.

Две машины разлетелись,
исчезая среди снега, рокота,

туманных огней.

ГЛАВА 19

Градобоев держал в руках свежий номер «Нью-Йорк тайме», наслаждаясь особым шелестом просторных страниц, неповторимым запахом, который исходил от серебряно-черных полос. Так пахла заморская цивилизация Америки с ее небоскребами, подводными лодками, прическами рыжих плясуний, танцующих в мюзикле на Бродвее.

В газете была помещена статья московского корреспондента Джеффри Стикса, где тот рассказывал о ходе президентской гонки и о возможном победителе на выборах Градобоеве. Преподносился образ

сильного прогрессивного человека, русского патриота, приверженца европейских ценностей, умеренного критика американской политики, который тем не менее признает главенство Америки в однополярном мире. Статья включала в себя несколько психоаналитических характеристик, таких как тайное влечение к католическим символам и глубинное соотнесение себя с символами Древнего Вавилона. Эти пикантные домыслы Джеффри Стикс почерпнул из желтых газет, которым Градобоев давал интервью, дурачась и фантазируя.

Статья была стратегически важной для Градобоева, делала его

фигурой международного уровня, придавала мировую известность. Это была аттестация, пропускавшая его на следующий этаж политической карьеры, говорившая о поддержке его персоны со стороны влиятельных американских кругов.

Градобоев еще и еще раз перечитывал статью, торжествовал, подносил к лицу шелестящие страницы. Вдыхал горьковатый запах миндаля, легированной стали и женских волос, запах заморской цивилизации, приславшей ему свою весть.

На столе лежал белоснежный конверт с золотым американским орлом. В конверте находилось

сообщение, гласившее, что посол Соединенных Штатов в Москве Марк Кромли имеет честь пригласить господина Градобоева отобедать в резиденции посла в Спас-Хаус.

Особняк посла, желто-белый, с голубоватыми тенями, среди ослепительного солнца и снега, казался барской усадьбой, во дворе которой вот-вот загремят бубенцы и покажется тройка, запряженная в санный возок. Золотая солома, аляповатые цветы на возке, пар из лошадиных ноздрей, и на крыльце появляется барин в тяжелой собольей шубе. Так мимолетно подумал Градобоев, проходя мимо морского пехотинца с фиолетовым

толстогубым лицом. Тот оглядел его отчужденно и холодно, блеснув из-под берета огромными белками.

В прихожей его встретил сухощавый господин с рыжеватой бородкой и зелеными рысьими глазами.

– Майкл Грэм, второй секретарь посольства, – представился он, остро вонзая в Градобоева свой пронзительный взгляд, словно просвечивал его рыжими окулярами приборов. Градобоев с неприязнью подумал, что где-то в соседней комнате на экране отобразился его скелет. – Прошу вас, господин посол сейчас выйдет. – И провел Градобоева в комнату, где был

накрыт стол и сквозь шторы лился чудесный свет серебряного зимнего солнца.

Посол Марк Кромли появился внезапно, словно вкатился в комнату, маленький, круглый, лысенький, с пухлыми щечками, с остатками белесых волос, сквозь которые просвечивал розовый веснушчатый череп. Радостно улыбался Градобоеву, сунул маленькую руку с полной ладошкой, которую позволял мять, не отвечая на рукопожатие.

— Мороз и солнце, день чудесный! Еще ты дремлешь, друг прелестный! Пора, красавица, проснись! — Он взмахнул рукой, приглашая любоваться солнечным

сиянием за окнами. Перенес этот восторженный взмах в направлении стола с белой скатертью, сверкающим стеклом и фарфором. — Прошу, господин Градобоев. Спасибо, что откликнулись на мое приглашение.

Его русский язык был безукоризнен, чувствовалось лишь легкое напряжение в произнесении некоторых слов и радость, оттого что это произнесение удавалось.

Они уселись за стол, Градобоев и посол визави, а Майкл Грэм рядом с послом, чуть в стороне.

— «Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя,

плетется рысью как-нибудь». — Посол продолжал щеголять знанием русской поэзии. Гостеприимно улыбался. Очаровывал Градобоева непринужденной манерой, веселостью, любовью к Пушкину, к России, к зимнему московскому солнцу.

Градобоев очаровывался, кивал, восхищаясь послом-русофилом. Вдруг почувствовал, что в глубине этого пухлого тела, среди обворожительных улыбок, смеющихся глаз, притаилась крохотная дробинка, чудовищно твердая и тяжелая, несущая в себе сокрушительную силу удара. Это открытие заставило его содрогнуться,

и он поспешил унять невольную дрожь. Видел, как исследуют его рыжие глаза Майкла Грэма, улавливая малейшие колебания его чувств.

– Вы прекрасно знаете русскую поэзию, – произнес Градобоев комплиментарно. – Я слышал, у вас есть работа по русскому Серебряному веку. Россия для вас – не чужая страна. – Произнес и спохватился – как бы исследующий его Майкл Грэм не усмотрел в его словах тонкой язвительности, скрытого антиамериканизма, неприязни к послу, орудующему в России как у себя дома.

– Прошлым летом я совершил

путешествие по северным русским озерам. Я наконец увидел Кижь. Незабываемое впечатление! Как будто на острове стоят ракеты, вот-вот взмоют в небо.

— Кое-кто из наших либеральных политиков хотел бы, чтобы у России остались только деревянные ракеты.

— Да, но ведь, кажется, это вы утверждали, что если бы Россия отказалась от своих ядерных ракет, то отношения между нашими странами резко улучшились? Как будто вы говорили об этом в своем интервью?

— Нет, — ответил Градобоев. — Я излагал точку зрения некоторых наших либералов, и я эту точку зрения не разделяю.

— Согласен с вами. Россия слишком большая страна, и она должна сама себя защищать, не полагаясь на чужие ракеты. Великие народы должны себя защищать.

Градобоев был доволен собой. Он не перечил послу, но и не подыгрывал ему. Оставался патриотом, самостоятельным политиком, не скрывая своих суждений. Не обнаруживал того унижительного низкопоклонства, которым грешили некоторые мелкотравчатые либералы.

Они обедали. Служитель бесшумно менял тарелки, подливал в бокалы вино. Майкл Грэм молча слушал, наводя на Градобоева свои

рыже-зеленые глаза, и тому казалось, что его голову поместили в невидимый томограф, нарезают тонкие пластины мозга. Процеживают, просматривают, исследуя все оттенки мыслей.

— А как вы считаете, что заставляет людей выходить на улицы? Ведь это, кажется, вполне обеспеченные люди. Работают в банках, корпорациях. Их нельзя назвать обездоленными. — Посол отправлял в рот ломтик бифштекса, самозабвенно его пережевывая. Казалось, что заданный вопрос интересует его меньше, чем вкус мяса.

— Не хлебом единым жив

человек, – ответил Градобоев. – В России выросло поколение, для которого чувство собственного достоинства важнее материального достатка.

– Да? – Посол сделал вид, что изумлен услышанным. Выпил вино, покачивая головой, одобряя то ли ответ, то ли вкус мяса.

Градобоев рассматривал вставные зубы посла, жующие мясо, рыжеватые пигментные пятна на черепе, маленький приплюснутый нос с торчащими волосками. И думал, что за этим добродушным толстячком таятся гигантские силы, управляющие миром с помощью авианосцев, банков и тайных знаний,

которые закабалили мир, держат его в наркотическом обмороке. А если мир вдруг начинает просыпаться от ядовитых снотворных, то его посыпают умными бомбами, дырявят сверхточным оружием.

— Вы приобрели популярность своими разоблачениями коррумпированных чиновников, — произнес посол, поддевая зеленый листик салата. — Каких скандалов следует ожидать накануне выборов?

Посол хрустел сочным листиком, и можно было подумать, что вопрос задан случайно, чтобы только поддержать разговор, и питательный листик важнее ему любых коррупционных скандалов.

– Большие хищения обнаружены в Министерстве обороны. Миллиарды рублей. Когда это всплывет наружу, министр обороны может уйти в отставку.

– В самом деле? – Посол перестал жевать. – Но ведь министр обороны – это человек господина Чегоданова. Не ослабит ли этим господин Чегоданов свою команду накануне выборов?

– Министр обороны ушел от Чегоданова под крыло президента Стоцкого. Вместе они закупили для Российского флота французский вертолетоносец, получив при этом большие личные выгоды. Отставка министра обороны произойдет сразу

после президентских выборов, если, конечно, на них победит Чегоданов.

Посол глубокомысленно возвел к потолку глаза и дожевывал листик салата.

Градобоев вдруг подумал, что за этот листик салата он передал послу конфиденциальную информацию, которая может повредить государству. И тут же оправдал себя тем, что государство давно уже находится в плену у этого благодушного толстячка, управляется им через бесчисленные организации и фонды, денежные гранты и транши, зависимых министров и депутатов. Разгромленное и поверженное, государство

выплачивает победителю репарации, которые не оставляют народу средств к существованию. Гибнет и разрушается. Он, Градобоев, мечтая спасти государство, вынужден обращаться за помощью к врагу. Ищет его одобрение и поддержку, завоевывает доверие, усыпляет бдительность. Обманывает рыжие глаза Майкла Грэма, который угадывает сейчас его смятение, готов уличить в неискренности.

— Самое опасное для страны, когда происходит раскол элит, — важно заметил посол. — Тогда может начаться смута. В русской истории смута случалась, когда элиты раскалывались. Бояре и царь Иван

Грозный. Последний Император и Государственная дума. Большевики и Временное правительство. Горбачев и Ельцин. Я знаю, что отношения между господином Чегодановым и господином Стоцким далеко не идеальны. Здесь таится возможность очередной русской смуты. — Посол отложил приборы, отодвинул бокал с вином и прямо, жестко, с холодным спокойствием посмотрел на Градобоева. — Выборы, в которых вы участвуете, могут спровоцировать очередную русскую смуту. У вас в руках «золотая акция», и то, как вы ею распорядитесь, может решить судьбу России. В любом случае мы станем вам помогать.

Градобоев ощутил слабое сжатие сердца, которое на секунду остановилось. И в этом перебое сердца открылась упоительная, отталкивающая и неудержимо влекущая истина. Та, ради которой он явился на свет, возрастал, проходил искушения, обретал уникальные знания, отдавал себя на волю судьбы, сам выстраивал свою жизнь жестоко и твердо. Продвигался к заветной мечте, к прекрасной звезде, именуемой властью. Эта звезда, ослепив его однажды волшебной росинкой, стала звездой путеводной. И теперь, глядя в жестокие, как у кобры, глаза посла, он понимал, что эта звезда вдруг страшно

приблизилась. Он влетает в ее
опалаяющий огонь и неизбежно
погибнет. И нужно сейчас подняться,
кинуть на пол салфетку и мимо негра
в берете выбежать на ослепительный
снег. Умчаться прочь из Москвы,
чтобы затерялись его следы среди
необъятных русских снегов, ледяных
рек, хмурых боров. Чтобы все забыли
о нем, не вспоминали во веки веков,
и он сбережет свою жизнь для
любимой женщины, осмысленных
тихих трудов, как миллионы других
людей. Градобоев сидел, глядя в
ледяные глаза посла, сердце громко
билося, и не было пути к
отступлению. Пламенная звезда
приближалась.

— Мы не заинтересованы в русской смуте. Не заинтересованы в распаде России. Мы не заинтересованы в хаосе на шестой части планеты, где стоят атомные станции, ядерные ракеты, изношенные гидросооружения и вредные химические производства. Мы заинтересованы в гармоническом переходе власти от Чегоданова к следующему президенту. Не исключаю, что им можете стать вы. Мы будем вам помогать.

Посол Марк Кромли говорил так, словно давал директивы, подлежащие немедленному исполнению. Исполнителем был он,

Градобоев, и роль подчиненного не тяготила его. Он готов был ее принять, чтобы достичь высшей цели – коснуться рукой звезды. А потом, уповая на свой виртуозный разум, на благую судьбу, на таинственные законы русской истории и русской власти, он избавится от изнурительной зависимости, станет суверенным русским президентом.

Второй секретарь посольства Майкл Грэм мерцал зелено-желтыми глазами, делал тонкие срезы его полушарий, вскрывал его тайные помыслы, уличал в лукавстве. Градобоев гасил свои тайные замыслы, укутывал их в сумбурные эмоции благодарности и почтения,

надеясь обмануть посла.

— Америка не была заинтересована в распаде Советского Союза, — твердо и директивно продолжал посол. — Мы лишь хотели, чтобы Советский Союз перестал быть врагом Америки и продолжал контролировать свои республики. Горбачев не сумел справиться с нарастающей русской смутой. Мы готовы помогать вам в той мере, в какой вы станете препятствовать русской смуте. Если вы станете президентом, вы должны взывать к переменам, но к переменам неразрушительным. «Как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных». — Эти последние слова

посол произнес весело и взволнованно, бравлируя своим знанием Пушкина. Снова был добродушным хозяином, милым толстяком, который располагал к дружелюбной беседе. – Майкл Грэм будет иногда встречаться с вами, и вы станете обмениваться с ним своими мнениями. Как друзья. – С этими словами Марк Кромли стал подниматься, протянул Градобоеву мягкую, безвольную ручку, и Градобоев помял ее в своих сильных пальцах.

Майкл Грэм помогал Градобоеву одеться.

– Мне хочется сделать вам подарок, Иван Александрович. В

одном своем интервью вы сказали, что любите бифштекс из вавилонского зверя. Пусть эта книга заменит вам книгу о вкусной и здоровой пище. — Майкл Грэм протянул Градобоеву великолепно изданный альбом с английской надписью «Вавилон». На обложке был изображен загадочный древний дракон. Голова змеи, передние ноги льва, задние ноги — от птицы, покрыт рыбьей чешуей и звериной гривой. Градобоев, с благодарностью принимая подарок, подумал, что это животное и есть образ Америки. Тотемный зверь господина посла. И тут же, чтобы обмануть ясновидящего Майкла Грэма,

произнес:

— Как хорошо, Майкл, что гербами наших стран являются орлы, а не эти звероящеры!

Градобоев вернулся в свою резиденцию возбужденный, ликующий. Выходя из машины, успел вдохнуть морозный солнечный воздух. Увидел вдалеке переулка набережную Москвы-реки с льющим блеском машин и памятник, похожий на вавилонского зверя.

Елена встретила его, предлагая рассмотреть список газет и сайтов, желающих получить у него интервью.

— Подожди, — остановил ее

Градобоев. — Знаешь, чем я отличаюсь от Георгия Победоносца? Святой Георгий вел бой с обыкновенным змием, знал его повадки и уязвимые места. Я же веду бой с вавилонским зверем. Он и змея, и лев, и орел, и рыба, и конь, и единорог. И все они против меня. И Чегоданов, и Стоцкий, и Мумакин, и Шахес, и посол Марк Кромли. И я их всех одолею! — Его переполняла страсть, жаркая сила, не позволявшая обратиться к рутинным делам. Он искал выход этой жгучей нестерпимой страсти. Обнял Елену, притянул к себе, погружая губы в душистые волосы, проникая ладонью под ее блузку.

Она отшатнулась. Вырвалась из объятий.

– Не надо... Не сейчас... Мне нездоровится...

В глазах ее Градобоев увидел промелькнувшее темное негодование, отвержение, и это уязвило его.

– Хорошо, – сказал он холодно. – Показывай, кто там еще меня помогается.

ГЛАВА 20

Утром Бекетов обнаружил, что цветы орхидеи опали, все разом, словно их отломил порыв ветра. Этот порыв был дуновением, которое унесло маму. Она оставила дом и вернулась туда, где пребывала вместе с отцом среди благоуханных садов. Кто-то невидимый, повелевающий лазурью, отпустил ее ненадолго к сыну и теперь отозвал. Бекетов стоял, держа на ладони опавшие цветы. Испытывал боль, слезную нежность, непреодолимость разлуки, обрекавшей его на одиночество.

С тех дней, как не стало родителей, прошло больше

пятнадцать лет. Ошеломленно он вдруг находил материнский платок в глубине платяного шкафа или отцовский галстук, от которого, казалось, еще пахло табаком. Эти внезапные встречи, и книги в библиотеке отца, и иконы, перед которыми молилась мать, и чашки в буфете, оставшиеся от их чаепитий, и высокие бокалы, из которых в Новый год они пили шампанское, — все это горько напоминало о них. Домашняя елка переливалась милыми огоньками, и другая, огромная елка туманно и восхитительно пылала среди Тверского бульвара. Эти воспоминания опрокидывали его. Останавливали среди безумной

гонки, в которую превратилась его жизнь. Были окнами, в которые он мог вырваться и улететь из клубящегося, размытого бытия, где терялся счет дням, неделям, годам. Он рассматривал фотографию, на которой отец и мать прижались друг к другу щеками, обнимая хрупкого серьезного мальчика с удивленными и печальными глазами. Бекетов, как космонавт в невесомости, уплывал в это окно, погружаясь в исчезнувшее драгоценное прошлое.

Он помнил свое детство как постоянные проводы отца. Офицер разведки, отец то и дело уезжал в командировки, короткие и длительные. Мать каждый раз

собирала его кожаный чемодан, и Бекетов помнил материнские руки, которые укладывали стопки рубашек, аптечку с лекарствами. Ее красивое, с опечаленными глазами лицо. Они втроем спускались на лифте во двор, где отца поджидала черная «Волга», уносила его, и мать махала вслед, а он видел, как бежали по ее щекам слезы. Ожидание отца было тревожным течением дней. Он старался, как можно подробнее, узнать из книг, газет, географических справочников об Афганистане, или Кампучии, или Никарагуа, или о Мозамбике. Он открывал атлас офицера, находил Анголу или Эфиопию, читал название городов,

гор и пустынь и представлял, что где-то среди раскаленных песков, под палящим солнцем, шагает его отец. Он, сын, посылал ему через океаны и материки свое умоляющее сыновье благословение. Отец возвращался внезапно, и Бекетов помнил, как мать кидалась к нему, жадно оглядывала его худое загорелое лицо, убеждаясь, что он жив. Отец опускал в прихожей свой кожаный чемодан, садился в изнеможении на диван. И, как правило, ничего не рассказывал о поездке. Только извлекал из чемодана черную африканскую маску, или бирюзовое ожерелье, или старинный восточный кинжал, или бронзовый колокольчик с пляшущей

танцовщицей. Постепенно на книжных полках скапливались эти фетиши. Бекетов любил их перебирать, представляя страны, города и народы, среди которых проходила загадочная деятельность отца. Был среди них обрывок обгорелой пулеметной ленты с пустыми мятыми гильзами, — после той поездки отец лежал в госпитале, изживая последствия контузии. Еще один фетиш являл собой алюминиевый лепесток самолета, — после той командировки отца упрятали в инфекционный бокс, где он лечился от тропической малярии, мать перед маленькой иконкой молилась о его исцелении.

Когда рухнуло государство, отец перестал ездить и вышел в отставку. Вдруг страшно запил, молча и жутко вливая в себя стакан за стаканом. Падал на диван замертво, и мать, прикладывая к его голове мокрые полотенца, плакала над ним, а отец что-то выкрикивал то на фарси, то на английском, то на испанском. Он сжигал, испепелял в себе что-то огромное, живое и ужасное. Очнувшись от недельного запоя, он уехал на подмосковную дачу и стал заниматься разведением фиалок. Посвятил цветам все отпущенное ему на пенсии время. Он умер, упав лицом в фиалки, таким его нашли соседи по даче. Боевые ордена отца,

лежащие в сафьяновом ящичке, и фетиши, стоящие на книжных полках, хранили тайны отцовских командировок, тайны пьяных бредов и предсмертных снов.

Теперь Бекетов пристально всматривался в коллекцию отцовских трофеев, улавливал таинственное, исходящее от них излучение.

Это излучение исходило от деревянных, стеклянных и металлических предметов, из таинственного мира, куда удалился отец. Это излучение было посланием отца к сыну. Было бестелесной субстанцией, позволявшей приблизиться к отцу, слиться с ним, вернуть на землю. Бекетов

неотрывно смотрел на отцовские амулеты, боролся с отцовской смертью, совершая акт воскрешения.

Излучение сгущалось, туманилось, в нем чудилось изображение отца, добытое Бекетовым из глины, стекла и дерева. И вдруг явственно, с пугающей громкостью, он услышал произнесенное отцом свое имя:

– Андрюша!

Обернулся, кинулся в пустоту, из которой прозвучал отцовский голос. Обнял эту пустоту, целовал ее, гладил, удерживая рыдания.

Загудел домофон.

– Это я, – услышал он голос Елены. – Проезжала мимо. Не

удержалась. Можно войти?

Рыдания, которые рвались наружу, отступили, остановились в груди и ждали мгновения, когда хлынут наружу.

Елена отдала ему шубку. Он вдохнул запах меха, в котором еще удерживался студеный воздух, быстро таяли седые снежинки. Елена прошла в комнаты, зорко, счастливо оглядываясь. Убеждалась в незыблемости знакомых предметов, в сохранности старинного, с зеленым сукном стола, тяжелого, черно-малинового ковра на стене, потолка с лепниной, под которым висел драгоценный, из разноцветных стекол, фонарь. Глянула в окно, за

которым мерцал и вздрагивал город, словно море ударяло в гранитный берег.

— Все как прежде. Но не хватает женской руки, — засмеялась она, касаясь пальцами запыленных, разбросанных книг, забытых повсюду чашек с недопитым чаем.

Рыдания оставались близко, под сердцем. Бекетов ждал: когда будет один, он даст им излиться.

— У Градобоева состоялось несколько важных встреч. Но с кем — я не знаю. Он держит в секрете. Мне кажется, что он не доверяет мне. Чувствует мой обман.

— В политике все друг друга обманывают, — тускло сказал

Бекетов.

— И ты меня обманываешь?

— Я тебя не обманываю.

Взгляд его серых глаз был печальным и отрешенным, словно он видел не ее, а нечто другое, туманное, недоступное.

— Так тревожно, так
неспокойно, — сказала она,
опечаленная. — Кругом что-то
копится, темное, безымянное,
страшное. Оно не имеет названия, но
вселяет в людей ненависть, страх,
помешательство. Кругом убийства,
моры, жестокость. Как будто
чудовище вселилось в народ. Что
будет? Война? Революция? Опять
брат на брата? Опять библиотеки

горят, расстреливают в подворотнях? Опять Россия в крови, в надрыве? Градобоев рыцарь, подвижник. Но когда он говорит толпе, толпа превращается в чудовище, в вавилонского зверя, который растерзает город. Мне страшно.

— Градобоев — дрессировщик, который злит и усмиряет толпу. Дрессировщик вавилонского зверя.

— Хочешь, бросим все и уедем? Прочь от этих митингов, тайных и явных угроз. Прочь от шпионов, клеветников и завистников. Скроемся от глаз, которые постоянно отслеживают, подглядывают, желают зла. Мы пережили с тобой разлуку, судьба опять нас свела. Нам никто не

нужен. Уедем куда-нибудь в тихий городок, в уютный домик с садиком и цветами. К людям, которые улыбаются при встрече. Скроемся от этой роковой тьмы, которая опять подступила и вот-вот всех накроет.

— Ты же знаешь, что я не могу уехать. Действую, чтобы тьма не накрыла Россию. Хочу успеть завершить свое дело до наступления тьмы. Я должен выиграть у истории еще шесть лет, удерживать тьму, и тогда Россия спасется.

— Почему шесть лет?

— Есть предсказание. Через шесть лет появится спаситель России. Он еще не явлен, но уже среди нас. Через шесть лет он

чудесным образом себя обнаружит.

– Откуда ты знаешь?

– Предсказание. Будет явлен в городе двух цариц, где кривые улочки, слепые оконца, часозвонь с курантами, вороньи гнезда в старинном парке и старый монах-предсказатель.

– Градобоев – не спаситель России?

– Быть может, он Предтеча. Идет впереди Спасителя.

Рыдания давили грудь. Отец лежал лицом на синих фиалках. Материнский платок таился в глубине комода. Опавшие цветы орхидеи белели на подоконнике. Женщина, которую он обманывал,

смотрела любящими глазами. Темные глыбы двигались, нависали над ними. И он своей слабой волей, своей некрепкой верой стремился их удержать.

— Я всегда тебе удивлялась и тобой восхищалась. Кругом была непроглядная тьма, а ты разрезал ее лучом света. Кругом было безнадежное поражение, а ты воспевал победу. Ты проповедовал святыни, от которых все отказались. Ты вдохновлял тех, кто уже умер духовно. Ты действовал так, будто за тобой армия тебе подобных, но ты был один, абсолютно один. Ты стремился совершить работу, от которой отказался целый народ. Не

знаю, что тобой движет. Какой источник света в тебе горит, из какого океана «живой воды» ты пьешь... Но ты продолжаешь сражаться, когда все войско разбито, одна его половина полегла, а другая сдалась в плен. Кто тебя ведет, не дает упасть?

– Вера в Чудо. В Русское Чудо. В то неизбежное, божественное, неизреченное, что таится в русском народе, ради чего наш народ был создан Господом и выпущен на просторы всемирной истории. Мы должны были множество раз погибнуть, кануть в черную пропасть, стать добычей других народов. Но каждый раз восставали

из пропасти, ибо народ, погибая, сберегал чудотворную золотую икону. И она спасала народ, который шел за ней крестным ходом. Вся русская история – это крестный ход, которым идем, неся перед собой райскую золотую икону. Она не дает нам пропасть, выводит из огней и потоков. Ибо нам суждено, не теперь, не завтра, но построить Райское Царство, создать земной рай, поселить в нем другие народы, преодолеть чудовищное расторжение, одолеть зло и ненависть, сделать мир прозрачным для света. Чудо – не исторический фактор. Чудо действует вопреки истории. Чудо – это прямое

вмешательство Бога в земную жизнь. В жизнь русского народа, к которому Господь благоволит, не дает пропасть, посылает дальше по тернистой дороге в Рай. Чудо – это моментальное преобразование зла в добро, уныния в радость, поражения в победу. Я верю в Чудо, знаю, что оно неизбежно. Как могу, его приближаю.

Эти последние слова Бекетов произнес торопливо, спасая их от жестокой боли, от волны рыдающего звука. Он рыдал, стоя посреди кабинета, где пылились на полке отцовские фетиши, круглился на столе стеклянный шар с запаянной лазоревой бабочкой, которым он

играл в детстве. Смотрела на него женщина, которая никогда не родит ему детей. Громоздились вокруг непомерные страшные глыбы, которые он хотел удержать своей ослабевшей волей и нестойкой верой. Бекетов рыдал, сотрясался, обливался слезами. Елена обнимала его, гладила, целовала мокрые глаза.

— Прости, прости. — Он всхлипывал, прижимая к губам ее пальцы.

ГЛАВА 21

Бекетов управлял потоками социальных энергий. В клубках и протуберанцах протеста он различал струи ненависти, негодования, страха. Едкие кислотные всплески еврейской интеллигенции. Огненные слепые вспышки русских националистов. Глухое задавленное горение кавказских диаспор. Мучительное тление коммунистов. Бенгальские вспышки радикалов и анархистов. Истерику сексуальных меньшинств. Угрюмое кипение московского люда, спальных районов и пригородов. В это варево мутной злобы, непредсказуемой ярости,

восторженного романтизма постоянно вбрасывались реактивы, порождающие локальные взрывы, очаги возгорания, вихри агрессии. Волновалась и перемешивалась вся разноликая смесь партий, движений, организаций. Процесс превращался в непознаваемое явление. И только прозорливость и счастливое угадывание позволяли Бекетову среди пестрого хаоса видеть истинную картину. Понимать, как проходят митинги, какие силы бушуют на площади, увеличивая или уменьшая шансы Градобоева и Чегоданова.

Его проект заключался в том, чтобы усиливать взрывную ненависть

площади, увеличивать ее массу, добавлять в нее все новые и новые сгустки агрессии. Эти сгустки направлялись на Кремль, Чегоданова, на само изолгавшееся и прогнившее государство. И эта агрессия, грозящая сломом страны и низвержением государства, должна была сеять в народе страх перед хаосом. Будить генетические воспоминания о всех смутах, далеких и близких, обрекавших народ на неисчислимые беды. Эта генетическая память, по мнению Бекетова, должна была вооружать страну против мятежной Москвы, препятствовать распространению смуты, собрать вокруг нелюбимого

Чегоданова все новых и новых сторонников.

Бекетов создал агрегат, состоящий из двух котлов. Чем сильнее была ненависть к Чегоданову в московском котле, тем меньше ее было в другом котле, заключавшем в себе всю Россию. Бекетов, один, без помощи спецслужб, политологических центров, органов государственной власти, спасал государство. Хрупкой тростинкой перемещал тектонические плиты русской истории.

После недавнего срыва, рыданий, чувства тщеты и абсурда он вновь, с упорством подвижника, вернулся к прежней работе.

Теперь он отправлялся с визитом к председателю националистической партии «Русский закон» Валентину Коростылеву, чтобы побудить его пополнить своим воинством шествие оппозиции, которое предполагалось в конце зимы. Бекетов надел под рубашку миниатюрный диктофон, еще не понимая до конца, зачем ему пригодится запись предстоящей беседы.

Штаб-квартира партии размещалась в неказистом доме в районе Сокольников. Во дворе несколько партийцев в коротких полушубках, с портупелями разгребали лопатами снег. У входа

стоял дежурный, в фуражке, с бородкой, напоминавший царского офицера. Он не сразу пропустил Бекетова, послал вестового на этажи, только когда тот принес разрешение, пригласил Бекетова.

Партийный лидер Валентин Коростылев принял его в просторном кабинете, где в углу на божнице стояла красно-золотая икона царских мучеников. Над головой Коростылева красовался деревянный, инкрустированный серебром и перламутром герб Российской империи. Коростылев, худощавый, широкий в плечах и узкий в талии, в черной рубаше, привстал и, не подавая руки, пригласил Бекетова в

кресло. Лицо Коростылева было бледно, с золотистыми усами и бородкой, и напоминало лицо последнего Государя. На этом спокойном лице светились серые внимательные глаза, которые осмотрели Бекетова с холодным отчуждением. Не враждебно, а отстраненно, как постороннего и чужого.

— Мне говорили, господин Бекетов, что вы попали в опалу и были удалены из Кремля. Судьба царедворцев изменчива, а нрав монархов капризен. — В этих словах не было иронии, не было сочувствия, а только изысканный холод и аристократическая вычурность.

— В трудные для государства минуты Государь раскаивается в содеянном, вызывает опального вельможу из далекого поместья, и у русского войска появляется полководец, который гонит Наполеона до Парижа.

— Вы хотите сказать, что французы уже взяли Смоленск? — тонко улыбнулся Коростылев, которому понравились иносказания.

— В каком-то смысле французы окружили Кремль. Но, поверьте, мой случай ничем не напоминает Кутузова. Я явился из опалы не по зову Чегоданова, а по собственной воле, чтобы, в меру сил, способствовать спасению страны.

Победа Чегоданова на выборах – это гибель России.

– Мне странно вас слышать, господин Бекетов. До этого времени все, что вы делали, способствовало укреплению Чегоданова. Ваше усердие в подавлении русских националистов хорошо известно. Вы сейчас пришли к тому, кого открыто называли «русским фашистом». К тому, чьих товарищей по партии судили по закону об экстремизме и давали немалые сроки.

– Не стану вам говорить, скольких ваших товарищей я уберег от ареста. Но вы должны знать, что это я предупредил ваших соратников об обыске в помещении партии, где

вы хранили целый арсенал, и вы успели его убрать. Это я убедил известного вам банкира оказывать партии помощь, и он передавал и продолжает передавать вам деньги.

— В самом деле? — Коростылев приподнял золотистую бровь. — Что же вас побуждало так действовать?

— Я понимал, что в России должна быть партия русских националистов, которая отстаивает интересы самого большого и самого угнетенного народа — русских. Вы знаете не хуже меня, что самым мучительным страданием является сознание того, что гибнет твой народ. Это ни с чем не сравнимо.

— Да, так, — произнес

Коростылев, – Господь придумал для человека множество мучений, но мучение русского, сознающего, что его великий народ гибнет под беспощадным игом, – это страшная мука. Что вас ко мне привело?

– Желание искупить вину. Желание восполнить нанесенные траты. Я до последнего верил, что судьба России – это имперская судьба. А миссия русского народа – созидание империи. Я надеялся, что Чегоданов – имперский правитель и он поставит перед русскими имперскую задачу. Вернет русским вековую имперскую работу, в которой русские обретали свое Божественное предназначение.

Совершали великие деяния, создавали бесценные творения, одерживали невиданные победы. В этих победах крепили, захватывали в поле своей имперской цивилизации другие народы, обеспечивая им цветение. Я обманулся в своих ожиданиях. Чегоданов оказался временщиком, глухим к мессианским идеям. Он оказался властолюбивым стяжателем, в котором так и не родился русский вождь и правитель. В котором умер русский человек. Он отдал русский народ в рабство еврейским олигархам и кавказским разбойникам. Отнял у русских их земли, недра, природные богатства, погасил веру, опоил водкой, отсекал от

культуры, от исторической памяти. Это привело к одичанию, тупой покорности, стремительному вымиранию. Имперская идея, в которую я верил, увы, в правление Чегоданова, рухнула. И единственное спасение народа – это национализм. Вы видите перед собой русского националиста, проделавшего мучительный путь эволюции. Я пришел к вам, как приходит к отцу блудный сын.

Коростылев был бледен, словно вся кровь отхлынула в сердце, где спеклась в огненный уголь.

– Вы не правы! Империя жива! Бутон империи не умер, и он раскроет свои пламенные лепестки.

Цветок империи расцветет между тремя океанами! Те, кто называют себя русскими националистами и при этом готовы отказаться от Кавказа, татарского Поволжья, от Сибири и Дальнего Востока, — это предатели русской идеи! Предатели великой православной империи! — Коростылев огненно взглянул на образ и страстно перекрестился. — Русские сбросят иго еврейских банкиров и кавказских разбойников и установят русскую диктатуру! Своей возрожденной волей, своей вспыхнувшей верой, своим единым порывом, воплощенным в вожде, восстановят империю!

На скулах Коростылева

загорелись два маленьких малиновых пятнышка. Золотая бородка и усы стали похожи на раскаленный слиток. В серых глазах сверкала яростная стальная жестокость.

— Меч русской диктатуры будет ужасен для всех, кто мучил русский народ. Мы их будем казнить публично. Вешать, расстреливать, топить в негашеной извести, вбивать в лоб гвозди, бросать в голодные ямы. Мы обнародуем все зверские виды насилия, какими были умерщвлены русские новомученики, крестьяне, священники, русские поэты и инженеры. И воспроизведем эти виды казней по отношению к нашим мучителям!

Бекетов чувствовал, как воздух вокруг Коростылева обретаёт вид раскаленного вихря. Этот вихрь втягивает в себя все окаянные муки, все лютые глумления, все кровавое прошлое и отвратное настоящее. Превращает русские муки в слепую беспощадную ненависть, в ярость возмездия. И он сам, Бекетов, преисполнен этой священной яростью, этой праведной ненавистью.

— Мы будем за волосы тащить на плаху министров, которые обирают народ, отдают каждую русскую копейку чужеземным банкам. Корзины с их отрубленными головами будем выставлять в

витринах овощных магазинов. Мы будем сажать на колы олигархов, отнявших у народа его богатства, загнавших в офшоры русские деньги. Они сделали самый богатый в мире народ нищим калекой. Они будут корчиться на колах вдоль набережной Москвы-реки, и люди станут плевать в их мерзкие лица. Мы повесим за ноги продажных депутатов, представителей табачной и водочной мафии, наймитов наркотической мафии. Пусть болтаются на липах Тверского бульвара, и московские вороны станут выклевывать их выпученные глаза. Мы будем топить в проруби у Каменного моста главарей преступных телеканалов,

которые опаивали народ ядами, мерзкой дурью, похабным варевом лживых телепрограмм. Там русский народ назывался «тупиковым народом», русская история «тупиком мирового развития», а каждый русский герой или вождь именовался палачом или неучем. Мы привяжем к их ногам бетонные плиты и спустим под воду, и потом через несколько лет будут всплывать их отвратительные скелеты, пугая пассажиров речных трамвайчиков.

Бекетов чувствовал, как его захватывает раскаленный вихрь ненависти, скручивает в тугую спираль, которая распрямится со свистом и ударит разящей сталью в

ненавистных врагов. И опять запылают дворцы, черные толпы хлынут в усадьбы Рублевки, и откроют свой зев сотни Ганиных ям. Он пережил потрясение, воздух стал красным, словно молекулы воздуха наполнились кровью. Овладел собой.

— Вы правы, но прежде, чем установить диктатуру, нужно взять власть. Как вы возьмете власть?

— У нас есть организация. Есть отделения в регионах. Есть боевое крыло. Есть политики, установившие отношения с родственными партиями в Европе. Есть банки, которые нас финансируют. Наша партия — это структура, готовая превратиться в государственную

власть. — По лицу Коростылева пробежала судорога, словно он передернул затвор.

— Но власть не дается даром. Ее надо брать. Помимо вас существует много охотников, стремящихся в Кремль. Например, Градобоев. Или Мумакин. Или Лангустов. Или Шахес. Все они метят в Кремль.

Коростылев зло рассмеялся:

— Вы думаете, в священных кремлевских палатах есть место этому фальшивомонетчику Градобоеву, которого вырастили в колбе ЦРУ и похоронят на Арлингтонском кладбище? Или этому ленинцу Мумакину, на фирменном пиджаке которого

засохла кровь убиенного Государя Императора и невинных царевен? Или этому певцу мужеложства Лангустову, которого застали в объятиях большого фиолетового негра на берегу Гудзона? Или этому еврейскому провизору Шахесу, внучатому племяннику начальника КАРЛАГа, который обливал на морозе водой русских профессоров и поэтов?

Диктофон сквозь рубашку Бекетова бесшумно глотал ядовитые комочки слов. Бекетов не знал, как распорядится тайной записью, но его поражала та злая неприязнь, которую испытывали друг к другу лидеры оппозиции.

— Быть может, вы правы относительно расстрельной стенки, но остается проблема захвата власти. — Бекетов владел собой, не позволяя вихрям ненависти вовлечь его в разрушительное слепое кружение. Коростылев, охваченный ненавистью, был открыт для внушения. — Сейчас наступает момент, когда русские патриоты могут взять власть. Идет вулканическое извержение, и Москву заливают лава. Она подступает к стенам Кремля. Когда, накануне выборов, на улицы выйдет полмиллиона и пойдет на Кремль, Чегоданов и этот временщик Стоцкий в панике убегут. Кремль

окажется пустым, и его хозяином станет тот, кто первый сядет на трон. Этим первым должны быть вы.

Коростылев замер, как замирает охотник, услышав сквозь шум леса едва уловимый свист птицы. Он разглядывал Бекетова остро и зорко, угадывая в нем лжеца, провокатора, коварного врага, засланного агента.

— В чем ваше предложение?

— Выводите своих людей на улицу. Включайтесь в общий марш своими колоннами. Увеличивайте общее число демонстрантов, чтобы оно приближалось к миллиону. Толпа пойдет на Кремль. Перед ней будет двигаться могучая волна ненависти, от которой в ужасе разбегутся

войска. Солдаты побросают щиты и каски. Кремлевский полк станет брататься с народом. А Чегоданов улетит в вертолете, если ему в хвост не ударит зенитная ракета.

— Вы думаете, войска не начнут стрелять?

— Американцы запретили Чегоданову стрелять в народ, пригрозив ему участием Саддама Хусейна и Каддафи. Он трус, не отдаст приказа стрелять. Побежит к вертолету вместе со своей наложницей Кларой, как только услышит гул миллионной толпы.

— Я это знаю! У него нет воли, потому что воля вождя питается волей народа! Народ отвернулся от

Чегоданова, и тот стал пустым и легким, как пластиковый пакет. Народ повернулся ко мне, вручил мне свою волю, и я обрел тяжесть стального метеорита. Я выведу моих соратников на улицу. Мы понесем наше имперское знамя и водрузим его над Кремлем. Мы сшили знамя из чистейшего шелка и освятили на Афоне! Монахи сказали, что оно взовется над священным Кремлем!

Коростылев позвонил в колокольчик, что стоял на столе. В кабинет вошел соратник, в черной рубахе и черных штанах, заправленных в короткие сапоги. Он был в портуpee, с такой же золотистой бородкой, что и

Коростылев.

– Достань имперское знамя!

Соратник раскрыл узкую высокую тумбу. Извлек свернутое вокруг древка черно-бело-золотое знамя. Коростылев распахнул окно. В комнату ворвался морозный воздух, шум города. Соратник сунул знамя в окно, стал крутить древко. Огромное шелковое полотнище заволновалось, заплескалось. Черная, белоснежная, золотая волны одна за другой заслоняли окно. Внизу раздавались восторженные возгласы: «Слава России!» Коростылев пламенно крестился на образ.

ГЛАВА 22

Бекетов верил в райские сады на земле. Верил в райскую мечту о Царстве Божием на земле. Глубоко переживал единственную, заповеданную Христом молитву Отче наш, в которой, по наущению Господа, люди ждали, когда «приидет царствие Твое» и восторжествует «воля Твоя, как на небе, так и на земле».

Он жил среди чудовищного зла, лютой ненависти, свирепого себялюбия. Жил среди народа, в котором поселилось чудовище. Жил в России, превращенной в страну бесправия и уныния. Но он верил в

Божественную сущность России, в сады русского рая, которые не увядали среди мороза и льда. Этими садами была русская литература, русская музыка, русская философия, говорившие о райских смыслах, о любви и бессмертии.

Он верил в преображение, когда моментально, без видимых внешних усилий, крошечное зло превращается в добро, когда озверевший убийца становится праведником, стяжатель и сребролюбец преображается в исповедника. Он верил в преображение чудовищной своры воров, населивших Кремль, преображение лживых судей и льстивых царедворцев,

телевизионных пакостников и растленных министров. Верил в преобразование Чегоданова, забывшего о мессианстве русского вождя. Он верил, что Перст Божий коснется его остывшего сердца и Россия получит своего долгожданного избавителя.

Он верил в Русское Чудо, спасавшее Россию каждый раз, когда она безнадежно гибла. Когда смута съедала царство, когда падала власть, когда временщики на троне сменяли один другого. Когда русская история сворачивалась в свиток, как сворачивается горящая береста. И каждый раз таинственной силой кто-то выносил золотистую икону, и за этой иконой из черной бездны

выходил народ и воздвигал на пепелище новое царство. Чудом было явление Андрея Боголюбского, перенесшего икону России из гибнущего Киева во Владимир. Чудом было явление Минина и Пожарского, предвосхитивших царство Романовых. Чудом было явление Сталина, «императора» «красной империи».

Бекетов верил в Чудо, молитвенно его приближал. Действовал среди кромешного зла, сам пропитанный злом.

Теперь он направлял стопы в гости к модной телеведущей Паоле Ягайло. Ее обожала провинциальная молодежь, принимавшая участие в

телепередаче «Постель-3». Молодые пары помещались в замкнутое помещение на неделю, за ними велось скрытое наблюдение, и телезрители имели возможность созерцать их соития, омовения в ванне, походы в туалет, ссоры, измены, иногда драки, рыдания и исповеди. Таким образом, обнаруживался внутренний мир молодых самцов и самок, одержимых половыми влечениями. Так ученые наблюдают за крысами, помещенными в бокс. Паола комментировала происходящее в боксе с объективностью зоолога, пересыпая свои комментарии остроумными и пикантными

шуточками, получавшими хождение в молодежной среде. Паола слыла светской львицей, без нее не обходилась ни одна блистательная вечеринка. Меняла мужей и поклонников, празднуя с одинаковой пышностью свадьбы и разводы.

Однако в последнее время Паола Ягайло сменила образ. Перевоплотилась из светской львицы в политического деятеля, оппозиционного к Чегоданову. Курьез этой оппозиционности состоял в том, что Чегоданов, мишень ее нападок, способствовал ее карьере. Ибо она была дочерью известного демократа, который в свое время пригрел Чегоданова. Тот работал у

отца Паолы до начала своей блистательной карьеры. Чегоданов всю жизнь был благодарен своему патрону. Когда достиг вершин власти, опекал дряхлеющего демократа, помогал выпутываться из неприятностей, а когда тот внезапно скончался, покровительствовал его вдове и дочери. Удивительным было восстание Паолы против своего благодетеля. Необъяснимыми казались ее язвительные выпады против того, кто сделал ее знаменитой и богатой, освятил своим именем ее веселые скандалы и бесстыдные выходки. Именно к ней, вооружившись тайным самописцем, отправился Бекетов, желая вовлечь

Паолу в свой рискованный проект.

Свидание состоялось в роскошной квартире Паолы в Южанском переулке. Эта квартира была известна на всю страну благодаря многочисленным интервью, которые Паола давала журналистам в своем великолепном чертоге. То в старомодной аристократической гостиной. То в столовой, оформленной французским дизайнером. То в зеркальной спальне, которой позавидовала бы сама Помпадур. И даже в ванной, где хозяйка, как Афродита, вся в перламутровой пене, поднималась из джакузи.

В прихожей Бекетова встретила

служанка с фиолетовой кожей, африканскими белками, малиновыми сочными губами. Она приняла от Бекетова пальто, открывая в улыбке ослепительные белые зубы. Стены прихожей были обиты коровьими шкурами, белыми, золотистыми, черными, пятнистыми. Бекетов подумал, что эти шкуры содраны с тех юношей и девушек, которых Паола запирала в своем телевизионном стойле и превращала в животных.

Из прихожей была видна кухня, с разноцветными ромбами и люстрой, напоминавшей космический корабль. А также, сквозь приоткрытую дверь, сверкала

своим кафелем и фаянсом знаменитая ванная, в которой, казалось, плещется невидимое пленительное тело.

Бекетов снял испачканные грязным снегом туфли. Служанка опустила перед ним шлепанцы, отороченные мехом. На каждом сверкал крохотный бриллиант. Служанка помогала Бекетову надеть шлепанцы, и он видел ее бархатную темную грудь. Африканка пахла, как пахнут спелые, истекающие сладостью плоды.

Он вошел в гостиную, в которой не оказалось хозяйки, и у него было время оглядеться. Мебель медового цвета из карельской березы.

Атласные, шитые серебром подушки на диване. Полки с коллекцией сосудов из цветного стекла, и в каждом, уловленный, трепетал голубой, изумрудный, рубиновый луч. На стене, в золоченой раме, портрет отца Паолы, писанный кистью модного художника. Надменное и одновременно трусливое лицо, властный и одновременно пугливый взгляд. Приоткрытые ненасытные губы, готовые вкушать, алкать и непрерывно, без устали, говорить что-то значительное и одновременно бессмысленное. Таким запомнился Бекетову этот демократический вития. Таким его увидел талантливый

живописец.

Дверь из гостиной вела в библиотеку, где стояли высокие застекленные шкафы с фарфоровыми вазами. Дальше в приоткрытую дверь виднелась спальня – розово-голубая, с зеркальным блеском, соблазнительная и прельстительная, многократно описанная в бульварных журналах. Место таинственных и сокровенных встреч светской львицы со своими избранниками.

Из этого розово-голубого тумана, из зеркального блеска появилась Паола. Она приближалась к Бекетову в длинных, до пола, мехах, бесшумно ступая босыми ногами, с золотистой античной прической, в

которой вольно сплетенная коса была уложена вокруг головы. Ее лицо было белым, с чуть заметным румянцем. Сильный нос, волевой подбородок и мягкие робкие губы делали ее похожей на отца. Бекетов искал на этом лице то знакомое, запечатленное множеством глянцевого фотографий выражение, в котором вульгарное и развратное сочеталось с застенчивым и целомудренным. Что, по-видимому, нравилось олигархическим женихам и богатым любовникам, украшавшим ее куртуазный список.

Она приблизилась к Бекетову, протянула руку для поцелуя. Прикасаясь губами к теплым

холеным пальцам, он вдохнул исходящее от нее томительно-сладкое благоухание. Норковый мех колыхнулся, на мгновение блеснула телесная белизна.

— Не удивляйтесь, — обворожительно улыбнулась Паола, оглаживая сияющий мех. — Я примеряла мою новую шубу.

Отводя глаза от струящегося меха, где мелькнула соблазнительная нагота, Бекетов вновь подумал, что Паола превращает обезумевших от похоти провинциальных юношей в тупых бычков, с которых сдирают шкуры. А миллиардеров, посетивших ее спальню, обращает в песцов и норок, из которых шьет себе шубы.

— Здравствуйте, Андрей Алексеевич, рада видеть вас в моем тихом доме. — Царственным жестом она указала Бекетову кресло и сама уселась на диван из янтарной карельской березы. — Что привело вас к скромной девушке, столь далекой от предвыборных бурь и страстей?

Мех закрывал ее ноги, и только прекрасные ухоженные стопы с малиновым лаком ногтей чуть шевелились, дразня воображение.

— Не скромничайте, дорогая Паола. С тех пор как вы оставили шоу-бизнес и стали заниматься политикой, вы на глазах превращаетесь в ярчайшую

политическую звезду. Уникальную среди потускневших светил, почти утративших свое излучение. Вы привнесли в политику тончайший эротизм, что делает вас кумиром молодежи. Те, кто когда-то участвовал в вашей волшебной передаче «Постель-3» или смотрел ее, – все они теперь устремились за вами в протестное движение. Вам бы следовало создать партию того же названия. – Бекетов произнес это с дружелюбной иронией, которую уловила Паола, благосклонно кивнув своей античной головой.

– Я не забыла, Андрей Алексеевич, как вы помогали мне найти себя в шоу-бизнесе. Как

говорили с продюсерами, руководством телеканала. Тогда они воспринимали ваши указания как волю самого президента. Я считала президента моим покровителем, который платит мне добром за добро, полученное от отца. С тех пор, увы, многое изменилось. Вы ушли из Кремля, не вынесли деспотизма. Я пошла в политику, чтобы отстаивать идеалы, за которые всю жизнь боролся мой отец. Сегодня все граждане должны поднять голос, защищать свои права, свои свободы. Чегоданов, любимый соратник отца, оказался деспотом и тираном. Ему чужды европейские ценности, и он выродился в обыкновенного

азиатского самодержца.

— Я читал ваше последнее интервью, где вы называли Россию «тупиковой страной», «пустырем истории». Где вы описывали «русскую идею» как синтез плахи и виселицы. Где все русские князья, цари и вожди — это палачи или слабоумные. Должен сказать, это очень смелое, блестящее интервью. Думаю, оно не понравилось в Кремле.

— Я продолжаю дело отца. Он недавно мне снился и во сне благословлял меня. Он одобряет мой переход из шоу-бизнеса в политику. Мы все осознаем себя гражданами, и нам отвратительна страна, где

главную роль играют солдаты и попы-мракобесы. С одной стороны – плахи и виселицы, а с другой – герои и мученики, такие как боярыня Морозова и Анна Ахматова. – Паола подняла руку с двуперстием, изображая боярыню Морозову на картине Сурикова. На белом запястье блеснул золотой браслет.

– Но вы, дорогая Паола, многим рискуете. Чегоданов мстителен. Он не прощает измен. Он считает, что вы всем обязаны ему, и он видит в вас предателя. Это чекистское мышление или, если угодно, бандитское мышление. Из банды не отпускают живым. Говорю вам так, потому что чувствую на себе его ненавидящий

взгляд. Ледяной взгляд змеи.

— Вы мужественный, честный человек, Андрей Алексеевич. Мы с вами похожи. Но вы действуете только из гражданских побуждений, а я — из чувства мести. Я мщу за отца. Я убеждена, что моего отца убил Чегоданов. Отец знал о нем нечто такое, что могло погубить Чегоданова. И он устранил отца. Какой-нибудь кагэбистский яд, какой-нибудь укол, и — разрыв сердца. Мама говорила, что незадолго до смерти он шептал ей: «Я знаю, он хочет меня убить!» В его смерти присутствует какая-то ужасная тайна. Папа приснился мне, босой, в белой рубахе, как мученик

на церковной фреске. Он говорил мне: «Отомсти! Отомсти!» — Прекрасное лицо Паолы подурнело от ненависти, как на античной маске, у которой рот вдруг превратился в черную яму, а на лбу пролегла кривая морщина. — «Отомсти! Отомсти!»

Бекетов смотрел на прекрасное жемчужное лицо Паолы, которое вдруг обезобразила тень ненависти. Хотел понять природу этой испепеляющей ненависти, которая помутила разум красавицы, вызвала галлюцинации и бреды.

— У вас есть для этого все возможности. — Бекетов осторожно приближал Паолу к теме, ради которой он нанес ей визит. Так

рыбак, поймав на крючок тяжелую рыбу, играя леской, подводит к сачку, чтобы выхватить из воды в блеске солнечных брызг. — Чегоданов слаб, как никогда. Время его завершается. Народ восстал, сметает его. У России будет другой президент. Пусть на улицы выйдут полмиллиона граждан, и диктатор сбежит. Вы бы могли привести на площадь своих сторонников.

— Я могу, я в силах. — Паола гордо подняла волевой подбородок, напоминая воительницу, за которой двинется несметное войско. — Меня упрекали за мою передачу «Постель-3». Говорили, что я растлевала целомудренную

молодежь. Но я их спасала от чудовищной жизни. От тоски, на которую они были обречены в своих бараках, гнилых домах, среди пьянства и поножовщины, среди мертвой, как зловонный склеп, русской провинции. Я привозила их в столицу, показывала другую жизнь, иные возможности. Будила их сонные души. Они вождেলели, желали меня. Пьянели от запаха моих духов. Сходили с ума, если я показывала им свою обнаженную грудь. Они были готовы идти за мной через моря и материки, были готовы покорять царства, сражаясь за право поцеловать мою руку. Теперь, когда я стала политическим лидером, они —

моя партия, мои боевые отряды. Они внесут меня в Кремль на руках, а Чегоданова сбросят с колокольни Ивана Великого.

— Вы — античная богиня, Афина Паллада. Вы лидер нового типа, не похожий на изнурительных старомодных политиков. Вместо унылых речей вы издаете любовный стон, и на этот упоительный звук стекаются сотни тысяч. Вместо бесцветных и тусклых транспарантов вы показываете свое ослепительно-белое плечо, и толпа обожает вас, как небожителя. Вам удалось разбудить реликтовые коды в душе молодых мужчин и женщин и использовать их в политике. Вам нет равных. Если вы

будете последовательны, вы в конце концов станете президентом России. Первая в русской истории женщина – национальный лидер.

– Я думала об этом. Размышляю, какие мне предпринять шаги.

– Вы, Паола, должны влиться в протестное движение и поддержать Градобоева. Повести свою преданную, обожающую вас гвардию на протестный марш. Встать рядом с оппозиционными лидерами, среди которых вы будете самой яркой, самой восхитительной. Пусть Градобоев превратится в Зевса, Зевс превратился в быка и похитил Европу. Вы, Паола, с вашими европейскими ценностями, –

истинная Европа.

— Вы хотите, чтобы я во время протестного марша сидела на спине у Градобоева?

— Я хочу, чтобы вы появились на марше, как Немезида с мечом, готовая отомстить за отца, за поруганную честь вашей семьи, за поруганный народ, за поруганную Россию. Без вас, дорогая Паола, революция не состоится. Вы, как Жанна д'Арк, всколыхнете народное море, поведете народ на штурм Кремля. Преображение, о котором я мечтал, совершилось. Из куртуазной красавицы вы превратились в национального лидера. Русская история открыла перед вами свою

белую страницу. Вы сделаете своей прекрасной рукой огненную запись.

— Я согласна. Я поведу моих поклонников на площадь. Вот только шубу сниму. — Паола улыбнулась, сбросила с плеч скользящий мех и предстала перед Бекетовым во всей ослепительной наготе. Он на секунду ослеп от вида полных грудей, смуглых сосков, плавных бедер, округлого живота с золотым завитком лобка, на котором трепетала капля бриллианта. Бекетов овладел собой, склонился перед ней и целомудренно поцеловал ее руку. Рыба трепетала в сачке во всем своем дивном перламутре.

ГЛАВА 23

В Москве на площадях, на бульварах и заснеженных скверах появились новогодние елки. Волшебнo и чудно вырастали среди каменных громад, вонзались стеклянным блеском в морозное небо, волновали взор своими бриллиантами, алыми и золотыми шарами, сбегавшими с вершин огненными ручьями. На Манежной площади, у алых кремлевских стен елка трепетала в метели фантастическими рыбами, дивными птицами, сказочными существами. Казалась деревом райского сада с лучистой Вифлеемской звездой. У

Большого театра, среди белоснежных колонн елка была подобна императрице. Парчовое платье, самоцветы на кольцах, алмазное кольцо на дышащей груди. Маленькую гордую голову увенчивала алмазная корона, от которой летела бриллиантовая пыль, оседая на стеклах автомобилей. Елка на Лубянской площади напоминала шатровую колокольню с золотыми колоколами, лучами морозного солнца, перламутровыми изразцами. Казалось, в темной хвое скрывается звонарь, ликуя, сотрясает певучими звонами румяное небо, в котором летят в Замоскворечье сусальные облака.

Так видел Бекетов предновогоднюю Москву. Он ехал к Чегоданову, с которым не встречался после их первого свидания. Не желая афишировать их отношения, ограничивался краткими телефонными звонками. Теперь же предстояла тайная встреча.

Миновал две каменные арки с военной стражей. Оказался перед знакомой усадьбой Новоогарево, где была назначена встреча. Шагая от машины по хрустящему снегу, разглядел на сосне голубую белку, которая распрямила упругую спираль и полетела, вытянув цепкие лапки.

Чегоданов принял его во все той же гостиной с убранством

брежневской эпохи, сочетавшей аскетическую строгость и тучную пышность застоя. Чегоданов был в домашней вязаной блузе и рубаше апаш. Лицо его было розовым, редкие белесые волосы еще не совсем высохли после бассейна, и, когда он обнимал Бекетова, тот почувствовал упругость натренированной мускулатуры.

– Как я рад тебя видеть, Андрей. Эта чертова конспирация лишает меня удовольствия беседовать с тобой. Крутом одни узколобые тупицы или утомительные пустобрехи. Каждый их совет подобен яме, куда они меня толкают. Иногда мне кажется, что все они

работают на Градобоева и желают моего поражения. Но ты мне скажи, мы победим? – В его вопросе была надежда человека, который ведет опасную, с непредсказуемым итогом игру. – Ты веришь, что мы победим?

– Это вопрос не веры, а математических знаний и магических искусств, которыми управляется толпа. Мы начали рискованную операцию, и, похоже, наш риск оправдывается.

– Да, да, ты прав. На площадях закипает революция, и Градобоев требует моей головы. Но страна отворачивается от него. Страна выбирает меня. Мне каждый день кладут на стол замеры общественных

настроений. Чем больше людей в Москве размахивают дурацкими флагами, тем больше у меня сторонников в других городах России. На каждую тысячу Градобоева у меня миллион. Ты, Андрюша, великий маг и волшебник.

– Операция далеко не окончена. Нам нужно обсудить ее продолжение.

– Обсудим, конечно обсудим. Больше не с кем обсуждать. Ты мой друг, мой советник. Тебе одному доверяю. Ты же знаешь, как я одинок. Кругом дураки и изменники. Ждут, когда оступлюсь. Если проиграю, они сдадут меня первые. Международный трибунал. Горы

грязи. Капельки яда в тюремное поило. Я страшно одинок, Андрей. Только Клара, любимая женщина, и ты, верный друг!

Чегоданов жаловался, исповедовался. Казалось, он боится, что Бекетов может уйти и он снова окажется в одиночестве, среди врагов и предателей.

— Ты, Федор, должен укрепнуть духом. — Бекетову было больно видеть Чегоданова в момент его слабости. Он помнил его властным и неколебимым, ироничным и насмешливым, беспощадным и жестоким. Таким его полюбила страна, когда он принимал военный парад в дымящемся Грозном. Когда

стоял с потрясенным лицом среди рыдающих вдов после гибели лодки. Брезгливо язвил, комментируя смерти чеченских полевых командиров. Тогда он был властным и дерзким, обещал России стремительный взлет. Но взлет не случился. Тяжелая, с обломанными крыльями, махина страны осталась на взлетном поле, среди ямин и несусветных колдобин. И он, командир корабля, надолго покинул кабину.

– Ты прав! – угадал его мысли Чегоданов. – Меня опоили зельем, околдовали и одурманили. Ты знаешь, Клара, она волшебница и чародейка, и я отмаливаю ее в

церкви. Каюсь перед духовником за то, что связал с ней свою судьбу. Стоцкий, этот мстительный карлик и интриган, ездил в Америку. Тайно встречался с великим магом Копперфильдом, который состоит на службе в Госдепе и участвует в тайных операциях ЦРУ. Стоцкий показал колдуну мои гороскопы, мои психические и духовные коды, и тот произвел волхвование. Парализовал мою волю, затуманил разум, отсек меня от животворящих источников. Тех, которые всегда питали русских царей и вождей. Я заснул наяву, забыл о стране. Колдун направил меня к ложным целям. Эти мировые правители, эти ненавистники России

затянули меня в свой масонский кружок и обольстили меня. Но ты разбудил меня, Андрей. Ты прогнал злые чары, и я снова увидел Россию. Вспомнил о своем предназначении. Я посетил патриарха и просил, чтобы он молился обо мне! Чтобы молитвы монахов окружили меня спасительным кольцом, как железным занавесом, сквозь который не проникнут чары злобного мага. Я просил патриарха, чтобы он привез в Россию пояс Пресвятой Богородицы, и Дева Мария защитит Россию от мирового зла. Ты часто говоришь о Чуде, которое преобразит Россию. Ты и есть Чудо, Андрюша! Ты преобразил меня! — Чегоданов

вскочил, обнял Бекетова, прижался лицом к его плечу и вернулся на место. Бекетов видел, что глаза его блестят от слез.

Бекетов подождал, когда Чегоданов овладеет собой, и произнес:

— Теперь мы видим, наш расчет оказался правильным. Запущенный нами двигатель будет работать. Мы станем добавлять в него топливо, и он увеличит свои обороты.

— Да, да, обороты, — вторил Чегоданов. — Ты великий конструктор. Сконструировал двигатель нашей победы!

— Мы подключим к массовым выступлениям либеральную

интеллигенцию с ее ядовитой энергией. Пусть она ходит по московским бульварам и читает издевательские стихи, рассказывает ужасы о твоём правлении, показывает оскорбительные карикатуры, где ты изображен в виде животного. Провинция будет видеть их носатые лица, слышать их картавые речи и возненавидит Москву и Градобоева еще больше.

— Продажное сучье племя! Не я ли одаривал их премиями, посылал на казенные деньги за границу, создавал им репутацию! Я ходил на их ублюбочные выставки, где вместо картин — груды мусора и пустых бутылок. Я приглашал их в Кремль,

называя «духовными лидерами». А они в благодарность поливают меня помоями!

— Мы должны подвигнуть их на акт богохульства. Пусть осквернят православную святыню, испоганят алтарь. Народ возненавидит их за это. Еще больше качнется в твою сторону. Патриарх привезет в Москву пояс Пресвятой Богородицы. Пусть они осквернят этот пояс, и патриарх предаст их анафеме. Господь простит нас с тобой за это. Мы сделаем это во имя России.

— Так и будет! Пусть осквернят! А патриарх предаст их анафеме! — Чегоданов смеялся, потирал сухие ладони, и казалось, что из рук его

сыплются колючие искры.

Бекетов чувствовал свою власть над Чегодановым. Тот слепо ему верил, вручал свою судьбу в его руки. Чегоданов был беспомощный пациент, лежащий на операционном столе, и Бекетов, как хирург, погружал в него блестящую сталь. Удалял опухоли и полипы. Вливал обезболивающие растворы. Продлевал его жизнь.

— Но теперь наступил второй этап операции. Я еду в провинцию, по заводам, по оборонным предприятиям, в Сибирь, на Урал. Говорю с директорами, с рабочими, объясняю, чем грозит им «оранжевая» революция в Москве.

Какой разрухой, каким ужасным повторением окаянных девяностых. Тогда громили конвейеры, лаборатории и научные школы. Рабочим по полгода не выдавали зарплату. Я буду готовить их поход на Москву. Начну собирать ополчение, как во времена Минина и Пожарского. И когда Градобоев соберет свои двести тысяч, мы выведем три миллиона. И Градобоев убежит. Оранжевое чудовище превратится в рыжего зверька, который забьется в норку и станет наблюдать испуганными глазками, как маршируют по Москве верные тебе батальоны.

— Поезжай, поезжай!

Благословляю тебя! Наделяю тебя особыми полномочиями! Сам позвоню полпредам, губернаторам, директорам предприятий! Ты – мой личный посланник!

У Чегоданова восторженно блестели глаза. Он двигался по комнате, делая гибкие повороты, как фехтовальщик уклоняясь от разящих уколов, нанося внезапные удары. Он был прежним Чегодановым, готовым бороться, сокрушать врагов, побеждать. Был подобен русским царям и вождям, несущим бремя государственной власти. Подобен исповедникам Государства Российского.

Бекетов ликовал, видя, как

возродилась воля Чегоданова, воскресла его личность, доселе дремавшая, околдованная чарами. Чегоданов был раскаленный, пылающий, был слиток, нагретый до температуры плавления. И чтобы он не расплавился, не растекся обжигающими ручьями, его следовало поместить в тугоплавкую форму. Отчеканить медаль с его профилем. Превратить в эмблему Государства Российского и в таком виде внести в историю.

— Ты должен верить в свое предназначение. Чувствовать свое мессианство. Осознавать великую миссию, уготованную тебе Провидением. — Бекетов зажег в

своем сердце луч, которым касался
лба Чегоданова. Проникал в
сердцевину его сознания. Оставлял в
глубинах его души огненный
отпечаток. — Почему тебя ненавидит
Америка? Почему тебя прокликает
либеральный Запад? Почему тебя
травят российские либералы, возводя
на тебя хулу? Тебе выносят смертные
приговоры кавказские сепаратисты.
За тебя молятся в монастырях и
приходах. Тебя славят русские
патриоты. За тебя голосуют нищие
крестьяне в разоренных селениях.
Кто ты такой, Федор Чегоданов,
живущий среди вспышек обожания и
ненависти? Ты — воссоздатель
великого Государства Российского.

Для этого тебя создал Господь.

Чегоданов жадно внимал.
Бекетов внушал, воздействовал,
сотворял нового Чегоданова.
Вкладывал в него новое сердце,
встраивал новый разум, наделял
новой волей. Преображенный лидер
наделялся чертами великих
предшественников, пополнял их
блистательную когорту.

— Ты возник на переломе
русской истории. Тебя выбрала
судьба и поставила во главе народа,
который обретет вместе с тобой
былое величие, былую красоту,
понесет в гибнущий мир идею
Райских Садов.

Бекетов наделял Чегоданова

чертами, которые черпал из исторических хроник, религиозных трактатов, русских преданий. Там действовал могучий и мудрый царь, прозорливый правитель, неутомимый архитектор, возводивший храм Государства. Чегоданов принимал этот образ. Лицо становилось властным, в глазах сиял блеск величия, осанка обретала уверенность и свободу. Он повернулся в профиль, и казалось, это — золотая монета с профилем императора.

— Ты встал на пути дьявольских сил, которые терзают Россию. Ты — волнорез, о который расшибаются волны тьмы. Ты — богатырь,

разрушающий град обойную машину, ломающую кремлевские стены. Ты — избранник Божий, несущий в руках икону Русской Победы!

Бекетов снаряжал Чегоданова в великий поход. Оснащал его оружием, знаниями. Прокладывал путь, которым двигались великие государственники, создававшие империю между тремя океанами. Он подключал Чегоданова к неиссякаемым источникам власти, которая окропляется небесной водой, берет начало в Божественном промысле, превращает земного правителя в Избранника Божьего.

— На тебе Перст Божий. Тебе уже не уйти, не убежать. Твое могущество

– от Небес. Ты больше чем президент. Больше чем вождь и лидер. Ты – помазанник. Об этом хотел сказать тебе псковский старец. Об этом были его слезы.

Бекетов внушал, заговаривал, закладывал в Чегоданова волшебные коды, которые станут управлять его деяниями среди побед и трагедий. Так настраивают музыкальный инструмент, готовят к исполнению великой симфонии, священной музыки Русской империи.

– Люби народ и бойся Бога. И будешь непобедим!

Бекетов облучал Чегоданова золотом кремлевских соборов, росписями Грановитой палаты,

ликами древних икон,
беломраморным Георгиевским
залом, золотыми письменами с
перечнем полков, батарей, экипажей.
Эти тайные лучи преображали
Чегоданова. Крупицы священного
золота бежали в его крови. В душе
загорались лампы. Ангел с
горящим копьём вставал у него за
спиной. Он больше не был
случайным временщиком,
занесённым в Кремль сорным ветром
истории. Он был державный
властелин и помазанник.

— Верь, и ты победишь!

Бекетов вписывал Чегоданова в
историю. Открывал ему место среди
великих созидателей,

родоначальников царств,
устроителей земель,
непревзойденных победителей и
творцов. Бекетов создавал о
Чегоданове восхитительный миф,
который будет подхвачен поэтами,
музыкантами, историками, и его
именем будут названы города, а
время, которое ему подарило
Провидение, будет временем
Чегоданова.

— Верь, ты победишь!

Бекетов видел, как страстно
горят глаза Чегоданова. Как на губах
дрожит улыбка, то властная и
царственная, то наивная и
восторженная. Он уверовал в миф,
который создал для него Бекетов.

Жил в этом мифе, как в дивных лучах. Плыл в ковчеге в океане русской истории.

— Вот почему тебя ненавидят, выносят на «оранжевых» митингах смертные приговоры. Совершают в сатанинских церквях заупокойные черные мессы. Вот почему в русских монастырях служат по тебе за здравные молебны, окружают защитным поясом Пресвятой Богородицы. Государство Российское — высшая для тебя святыня. Служение этой святыне — дело Божье. Помогай тебе в этом деле Бог, Федор Чегоданов!

Бекетов умолк, утомленный, исполненный суеверного ожидания.

Как литейных дел мастер, отливший колокол и вымаливающий первый певучий звук. Как создатель самолета, сотворивший небывалую машину и ждущий ее броска в небо.

Чегоданов молчал, замороженный. Казалось, он прислушивается, как стучит в нем новое сердце, как дышит его преображенная плоть, как радостно трепещут его помолодевшие мускулы.

— Я раздавлю оранжевую гадину! Я подпалю шерсть на ее оранжевом загривке! Это чудище превратится в оранжевого зверька, и я помещу его в зоопарк, в отдел грызунов! Градобойная машина разобьется в щепки о Кремлевскую стену! Они

думают, что я сплю, но я проснулся!
Я бодрствую, я верю, и победа будет
за мной!

Эти слова Чегоданов произнес с
веселой злостью, с жестокой
уверенностью и властной
непреклонностью. И Бекетов
возликовал. Колокол зазвенел
певучим и грозным рокотом.
Крылатая машина взмыла, оставляя в
небе пылающий след. Преображение
Чегоданова состоялось.

— Мы победим на выборах, и
навстречу их ядовитому пожару
направим свой встречный пал, свой
священный огонь. Навстречу их
шутовской революции с бубенцами и
воздушными шариками мы направим

могучую революцию Русского Развития. Мы оживим оборонные заводы и станем строить самые лучшие в мире самолеты и танки, самые совершенные и неуязвимые ракеты. Мы снова наводним Мировой океан нашими кораблями, а ближний и дальний Космос засеем лабораториями и орбитальными группировками. Мы возродим великие научные центры и культурные школы. Построим великолепные города на месте сгнивших поселков. Вскослим на полях невиданные урожаи. Мы начнем огромную работу, чтобы каждый нашел в ней свое творческое место, и в этом Общем Деле снова

оощутим свое единство и
нерасторжимость. Мы обратимся к
народам Евразии, тоскующим по
былому единству и процветанию, и
станем строить наш великолепный
братский союз, сочетая
пространства, народы, культуры в
симфоническое единство. В нашу
жизнь, в наше государственное
устройство, в наши университеты,
гарнизоны и семьи мы привнесем
Христовы заповеди, райские смыслы,
Божественную справедливость, и
Россия среди гибнущего заблудшего
мира снова станет светочем и
надеждой народов. И это сделаю я,
Чегоданов!

Бекетов внимал словам этой

тронной речи. Нет, не напрасны были его упования, его великие труды и проповеди. Пробуждение Чегоданова состоялось. Рождение лидера совершилось.

Чегоданов обнял Бекетова на прощание, и эти объятия показались Бекетову железными. И он подумал, что у России наконец появился нестигаемый лидер.

Часть вторая

ГЛАВА 24

Урал встретил Бекетова трескучими морозами, заснеженными сосняками, угрюмыми городами, в которых люди были заняты вековечным делом — плавили руду, лили металл, строили тяжеловесные машины. Терпели, роптали, продолжая свинчивать болтами и гайками Европу и Азию, притягивать стальными канатами казахстанские степи, приваривать кромку Ледовитого океана. Бекетову казалось, он чувствует, как хрустит от напряжения древний гранит, туманится жерло Ганиной ямы, благоухают иконы в храме на Крови.

Урал – таинственное место в России, где топор дважды рубил древо русской истории. Умер «белый» православный монарх, унеся в земную щель свое «белое» царство. Родился уральский демон, кинувший на плаху великое «красное» царство, разбросавший по просторам Евразии его четвертованное тело.

Бекетов смотрел на запорошенные снегом гранитные лбы, и наклонная башня Невьянска казалась издали легким пером, упавшим из хвоста серебряной птицы.

Нижний Тагил выглядел неостывшим слитком. В угарной

дымке, с железными облаками и громадными трубами, он изрыгал сизый пепел, в котором переливалось и меркло большое красное солнце. Уралвагонзавод предстал нескончаемой чередой корпусов, сгустками окаменелого дыма, лязгом стальных путей, проблеском высоковольтных линий. И внезапно из этих утомленных нагромождений, из дымных клубов, из тусклых отблесков сварки вылетал танк. Упругий, звенящий, сиял, как стекло, в ликующем блеске морозного солнца. Рвался в даль снегов, качал пушкой, сверкал гусеницами, оставляя ребристый след, гаснувшие трели и рокоты.

У заводской проходной с изображениями советских орденов Бекетова встретил директор. Провел сквозь электронные турникеты, мимо вооруженной охраны.

— С прибытием на Урал, Андрей Алексеевич, — приветствовал Бекетова директор. Он был в черном пальто с соболиным воротником, без шапки, с короткими пепельными волосами. Его крупное лицо состояло из плоскостей, квадратов и ромбов, как на портретах кубистов. Было того же цвета, что и закопченный кирпич корпусов, тусклый металлический дым, посыпанный окалиной снег. Он был сотворен из тех же материалов, что и

вверенный ему завод. Был странным подобием танка с его ребристой броней. – Предлагаю посмотреть производство, а потом соберем у меня в кабинете руководство завода, и вы сделаете свое сообщение.

– Можно будет прокатиться на танке? – шутливо спросил Бекетов.

– Почему бы и нет. Танкодром рядом с заводом.

Из раскаленного морозного света с мерцающей солнечной пылью они шагнули в дверь, которая сомкнулась за ними с легким хлопком. Оказались в теплом смуглом пространстве, где пахло металлом, краской, озоном электросварки, сладковатыми

лаками, бензином. И чем-то еще, угрюмым, могучим и вечным. Так пахнут вулканы, окутанные железным туманом. Так пахнут прибрежные скалы, в которые бьет вековая морская волна. «Должно быть, — подумал Бекетов, — именно так пахнет государство».

Цех был огромный, уходящий в дымную даль. Двигались темные глыбы, скользили лучи, бегали едкие огоньки. И глухо ухало, тяжело звенело, словно расхаживали невидимые великаны.

Бекетов шел вдоль конвейерной линии, жадно наблюдая, как из бесформенных масс, бенгальских огней, мускульных усилий людей

рождается танк.

Корпус, напоминающий железную пустую коробку. Полости, пазы, дыры будущих люков. Голова рабочего выглядывает из проема, словно человек замурован в стальную темницу. Другой рабочий, по пояс в люке, похож на кентавра с тяжелым туловом, готовый скакать с металлическим лязгом. Третий рабочий вонзает электрод в бортовину, чертит огненный иероглиф, будто ставит тавро на дышащий шершавый бок.

В корпус вживляют детали — литые катки, сверкающие драгоценные втулки. Натягивают зубчатые гусеницы. Увеличивают

сложность корпуса, готовят к будущей кромешной работе. Взрывы, горящая броня, растерзанные танкисты – это все впереди.

Рабочий воздел руки, словно взывает к Богу. И из неба спускается к нему могучий танковый двигатель. Погружается на цепях в темное чрево, светит оттуда грозно и тускло. А над ним колдуют, словно в разъятую грудь пересаживают сердце. Вживляют, окропляют «живой» и «мертвой» водой.

Башня с пушкой плывет над конвейером – громадная стальная коврига, могучий железный хобот. Рабочий пританцовывает на корпусе, манит башню к себе. Громада

опускается, бесшумно, мягко, прилипает к корпусу, и танк мгновенно обретает свою устрашающую мощь, чудовищную устремленность. Пушка литая, с липким отсветом смазки, с черным жерлом, из которого дунет рыжее пламя, умчится снаряд, поднимая до неба гору земли и дыма.

В башне монтажники прокладывают жгуты, устанавливают гироскопы, драгоценные стекла прицелов, антенны, радары. Насыщают стальной купол изящной и хрупкой оптикой, излучателями. Соединяют танк с Космосом, с командными пунктами, со всей ревущей стальной армадой,

несущейся среди взрывов. Луч прицела находит незримую цель, наводит ракету, превращая вражеский танк в груды горячей брони. Другой молниеносный луч ловит в небесах самолет, срезает ракетой пикирующий штурмовик. Тяжеловесный и грузный танк наделяется множеством глаз, хрупкой нервной системой, которая преобразует машину в чуткое существо, перелетающее овраги и ямы, бьющее влет врага.

Танк наращивает плоть, набухает мускулами. Бегают огненные змейки сварки, стекают с башни золотые ручки. В глазницах блестят стеклянные призмы,

телевизионные трубки, зрачки
дальномеров. На танк навьючивают
бруски активной брони. Башня
становится клетчатой, как черепаха.
При полете чужого снаряда
активная броня взрывается и
встречный взрыв гасит убойную силу.
Танк снаряжают для боя, — он
мчится, окружая себя дымовой
завесой, затмевая прицелы врага.
Окутывается непроницаемой пылью,
в которой сгорает чужая ракета.
Громадный, грохочущий, как
стальной водопад, гибкий,
танцующий, как балерина, танк
блещет пламенем. Крутит башней.
Огрызается огнем пулеметов. Громит
снарядами опорные пункты

противника. Утюжит гусеницами доты. Вонзает ракеты в подземные бункеры.

Последние касания рук, похожие на крестные знамения. Механик-водитель погружается в люк. Взыграл, взревел двигатель. Танк, в трепете, в дрожи, сошел с конвейера. Открылись ворота цеха — солнце, белизна, волнистая даль танкодрома. Машина, ликуя, вся в стеклянном блеске, в голубых дымах, рванулась на волю и пошла, качая пушкой. Убивать, умирать, побеждать, в грозный распахнутый мир, навстречу великим опасностям.

Бекетов провожал глазами машину, молился о ней, как о родном

существе. Танк Т-90М, лучший в мире, шедевр Уралвагонзавода.

После осмотра цеха в кабинете директора собрались производственники за длинным переговорным столом, на который секретарша поставила чашечки душистого чая, вазочки с конфетами. Бекетов с наслаждением пил чай. Со стены над директорским столом смотрел с портрета президент Стоцкий. Казалось, взгляд его насмешлив и он видит Бекетова насквозь, предрекает провал его замыслам.

Бекетов подробно рассказал производственникам о сложившейся в Москве ситуации. О митингах на

Болотной площади и проспекте
Сахарова. Об «оранжевой»
революции, которая началась в
России и грозит разгромом
государства, как это было в далеком
феврале семнадцатого года и в
недавнем августе девяносто первого.
Он рисовал политическую картину,
давал характеристики
оппозиционных лидеров, указывая на
их связь с западными
политическими центрами. В конце
выступления призвал уральцев
поддержать Чегоданова, готовить
оборонщиков к поездке в Москву,
чтобы принять участие в
предвыборном митинге Чегоданова.

— Коллеги, наступил

критический момент. Нам нужно спасти государство. Урал всегда был опорой страны, ее становым хребтом. Уверен, что и теперь уральцы будут решать судьбу государства.

Производственники молчали, отводили глаза, вздыхали. Бекетов чувствовал, что его слова не тронули их сердца, насторожили, обеспокоили, вызвали отчуждение. Наконец заговорил директор. На его ребристое лицо завод насыпал окалины, надыхал дымом, оттиснул отпечаток танковой брони.

— Андрей Алексеевич, вы нас зовете в политику. Но мы здесь не политики, мы производственники,

которые тянут на себе этот завод. Выдирают его из долгов, из разрухи, из той дыры, в которую нас затолкали. Вы видели сегодня наш танк. На нем, помимо гусениц, жилы наши намотаны. Такого завода, как наш, нет больше в мире. Он и есть государство. Наш завод Вторую мировую войну выиграл, и мы его здесь, на Урале, спасаем, как он когда-то страну спас. В политику мы не пойдем, потому что не понимаем ее и не ждем от нее добра. В Москве большая политика, а у нас на Урале большие труды. — Сказав это, директор посмотрел в окно, где туманились кирпично-серые корпуса, валил из трубы сизый дым и

что-то постанывало, переливалось и двигалось. Словно звало директора скорее вернуться в цех, где под сводами на цепях двигалась башня с пушкой.

Бекетов продолжал убеждать:

— Один крупный советский оборонщик, директор космического завода, сказал мне: «Мы, технократы, в Советском Союзе могли на заводах сделать все, что не противоречило законам физики. Мы занимались техникой, а политику поручили членам Политбюро. И они, политики, разрушили страны, космическую отрасль, всю великую советскую техносферу». И теперь, коллеги, я снова слышу: «Пусть

политикой занимаются политики, а мы будем заниматься техникой». И опять мы проиграем страну, проиграем ваш завод, проиграем производство русских танков. — Бекетов произнес это с укоризной, раздосадованный тем, что был не понят, получил отказ, столкнулся с глухим недоверием. — Неужели история повторится?

— Вот вы говорите, Андрей Алексеевич, что опять, дескать, проиграем страну, проиграем завод. — Главный инженер был похож на темную галку, длинноносый, с черными волосами, запавшими щеками, тревожно мерцающими глазами. Пиджак его был помят и

поношен, галстук старомодно
повязан, на синеватых бритых щеках
были порезы от торопливого бритья.
Было видно, что ему некогда следить
за собой, а все его силы поглощает
завод, требующий тепла,
электричества, ремонта цехов,
обустройства подъездных путей. — А
ведь мы не знаем, Андрей
Алексеевич, кого поддерживать.
Говорят, между президентом
Валентином Лаврентьевичем
Стоцким и премьером Федором
Федоровичем Чегодановым какая-то
мышь пробежала. Что у них разлад и
они власть делят, меряются, кому быть
в Кремле. И как понять, кого нам
поддерживать? Когда был ГКЧП, наш

тогдашний директор поддержал ГКЧП, а потом его вытолкали с завода и чуть в тюрьму не посадили. Это клеймо на заводе оставалось, и наш завод гнобили по полной. Уж лучше нам в политику не соваться, Андрей Алексеевич. Вот выборы пройдут, кого выберет страна президентом, того и будем поддерживать.

Упрямое недоверие, глухое сопротивление, скрытое недоброжелательство исходили от главного инженера. Его столько раз обманывали, принуждали, шельмовали, а он, похожий на усталую неопрятную птицу, продолжал питать завод паром,

электроэнергией, ремонтировал цеха, ставил новое оборудование. Бекетов понимал этого подвижника. Но его раздражало глухое сопротивление, провинциальное непонимание и упорство.

— Чегоданов, когда станет президентом, начнет стремительное развитие. Громадные деньги пойдут в оборонно-промышленный комплекс. Ваш завод преобразится. Чегоданов уже однажды спас государство, остановил демократов, которые убивали страну, и ваш завод в том числе. Если вы сейчас существуете, то благодаря Чегоданову. Он офицер, государственник, понимает цену оружию. На него

клеветают, обливают грязью. Но он единственный, кто в это смутное время сможет спасти государство. Поддержите Чегоданова, и он не забудет вас.

Ему ответил главный конструктор, молодой, синеглазый, с упрямым лбом, с жесткими складками рта. Казалось, его облик сложился в постоянном противодействии, ежечасном борении. В этом борении создавался «танк будущего», смертоносный робот, оружие грядущих войн.

— Вы говорите, что Чегоданов обещает развитие. А почему же, когда он был президентом, не было никакого развития? Мы создавали

Т-90М на собственные средства, заключали контракт с Индией. А вот Валентин Лаврентьевич Стоцкий, когда приезжал на Уралвагонзавод, выделил деньги на разработку нового танка. Мы покатали его на Т-90, он пострелял из пушки, и мы нашли с ним общий язык.

– Да поймите, коллеги, Стоцкий не будет президентом. Им будет либо Чегоданов, либо пацифист Градобоев, которому отвратительно слово «танк». К власти рвутся те, кто двадцать лет назад разрушил Советское государство, а теперь сокрушает Россию. Поддерживая Чегоданова, мы спасаем государство. Не верьте этой мерзкой брехне о его

несметных богатствах, о миллиардах в иностранных банках. У него есть одна, на всю жизнь, задача — Государство Российское. Вы спасете завод, но не спасете Россию. А не спасете Россию — и заводу, и «танку будущего» не суждено сохраниться.

Минуту длилось молчание. Потом заговорил председатель профкома, ладный, красивый, в прекрасном костюме, с белыми большими руками, с золотым обручальным кольцом:

— Вы, Андрей Алексеевич, говорите, что нужно спасти государство от разрушения. Но ведь оно само себя разрушало. Здесь в девяностых такое творилось! Стон,

плач, полгода зарплаты нет. На макаронной фабрике вместо зарплаты макаронами людям платили. А нам танками, что ли, платить? Люди побежали с завода. Матери детей в заводскую столовку приводили, чтобы накормить. Митинги, демонстрации. А министр из Москвы приезжал: «А вы идите в лес, ягоды, грибы собирайте, тем и прокормитесь!» Нас тогда государство кинуло, и мы не пропали только благодаря народному терпению и собственной сметке. И с тех пор мы к государству осторожно относимся. Как и оно к нам. В ком оно, государство? Вы в Москве разберитесь, кто оно, государство,

тогда мы его на стенку поместим. — Он посмотрел на стену, откуда насмешливо взирал президент Стоцкий.

Бекетов испытывал к ним неприязнь. Они отгородились от него глухой стеной. Видели в нем опасность. Не доверяли гонцу из Москвы, где заваривалась очередная смута. Грозила бедами, распадом, оскудением жизни. Они были обременены производством, добывали деньги, искали материалы, спорили с военными, торговались с заморскими заказчиками. Как огня боялись политики с ее ложью и вероломством.

— Федор Федорович Чегоданов

через меня обращается к вам. — Бекетов, скрывая раздражение, продолжал убеждать. — Чегоданов замыслил рывок, чтобы одолеть стратегическое отставание, когда Россия десятилетиями топталась на месте. Он хочет перепрыгнуть это окаянное время, как ваш танк перепрыгивает овраг. Ему противостоят самодовольные глупцы, жадные стяжатели, прямые агенты врага, которые мешают русскому развитию. Чегоданов, после избрания президентом, начнет «революцию развития». А для этого ему нужны помощники, верные соратники и подвижники. Как Петру нужны были преображенцы и

семеновцы. Как Сталину нужен был «орден меченосцев». Вы – «гвардия развития». Вы – преображенцы и семеновцы. Вы – «орден меченосцев». Так отзовитесь же на зов Чегоданова!

На этот зов откликнулся маленький, пухленький специалист по маркетингу. Он ничем не напоминал преображенца, а скорее – лесного бурундучка с чутким носиком и тревожными глазками.

– Гвардия – это, Андрей Алексеевич, хорошо. Но вы у себя в Москве разберитесь, кто из вас гвардия Наполеона, а кто – Кутузова. А то и та и другая гвардия больно друг на друга похожи. Обе говорят

по-французски.

Бекетов был смущен столь твердым противодействием. Эти люди отталкивали его, заслонялись невидимой преградой, видели в нем угрозу своему укладу, достатку, добытым в великих ухищрениях и трудах. Они не чувствовали мучительной судороги, в которой корчилось государство. Не предвидели ужасного будущего. Не понимали своего места среди новой русской смуты, которая неизбежно их поглотит. Ворвется в корпуса лютыми сквозняками, остановит моторы, оборвет провода, оглушит криками ненависти и тоски, и в заснеженном, с выбитыми стеклами,

цеху будет ржаветь остов недостроенного танка.

Бекетов хотел пробиться к их душам, вдохновить, открыть им очи. Рассказать, как великолепны они, каким вековечным и святым делом заняты в этих закопченных цехах.

— Я не убедил вас, не сумел до вас достучаться. Это моя вина. У меня не хватило слов, не хватило примеров. Я уеду разочарованный, как неудачник. Но хочу, чтобы вы поняли, почему я приехал. Почему считаю вас лучшими людьми России, создающими святое оружие. Хотел соединить вас с Чегодановым, понимающим святость русского оружия.

Сидящие за столом посмотрели на него удивленно. Они слышали необычные слова, которые никогда не звучали на планерках, производственных совещаниях, заводских собраниях.

— Вы подвижники и герои, простите мой пафос, хотя и не подозреваете этого. Среди страшных тягот и разорений вы продолжаете творить свой подвиг. Создаете русское оружие. Но ведь русское оружие защищает не только наши очаги и чертоги, не только наши нивы и недра, не только великое русское пространство. Оно защищает заповедную святыню, ради которой наш народ был одарен этим

восхитительным пространством,
создал свою страну и свое
государство. Эта святыня – русская
мечта о правде, о красоте и добре, на
которых должны стоять страна и
государство. На красоте и добре. На
правде и справедливости. На
Божественной правде, о которой
проповедовали пророки и
чудотворцы и которая живет в душе
любой старушки из глухой
деревеньки. Вы спасали завод,
сберегали достояние отцов,
заслоняли грудью символ Великой
Победы – танк Т-34, стоящий на
постаменте. Но вы, быть может не
сознавая этого, отстаивали
Божественную правду, которая

управляет русской историей, живыми и мертвыми, детьми и отцами, полевым цветком и звездой небесной. Как бы страшна и кромешна ни казалась сегодняшняя жизнь, в ней не меркнет мечта о человеческом братстве, о любви и добре, которые помогли вам выстоять. Вы спасали завод и строили танк, но вы спасали русскую жизнь и строили русский храм, спроектированный в небесном КБ, по небесным чертежам.

Бекетов видел, как инженеры пугаются его пафосных слов. Им была чужда его богословская проповедь. Слова не достигали их сердец. Их сердца были запечатаны,

замурованы. Недоступны
светоносным энергиям, которые
летят с небес, превращая тусклых
работников в лучистых подвижников,
приземленных ремесленников в
просветленных творцов. Бекетов
искал в них замурованные входы,
хотел разобрать завалы, отомкнуть
покрытые ржавчиной засовы.
Впрыснуть в их сердца лучезарную
силу. «Живую воду», которая
орошала Русскую землю
таинственной животворной росой,
побеждала смерть, делала русский
народ бессмертным.

— Именно на этот русский храм
нацелены силы зла, направлены
нашествия и войны. Этот храм,

охваченный огнем и пожаром, отбивают у врага русские люди силой оружия. Будь то булатный меч, мосинская винтовка или ваш танк-робот, существующий лишь в чертежах. Старец Филофей, основоположник учения о Москве — Третьем Риме, проповедовал, что государство всей своей силой и мощью должно защищать тот райский клад, который вручен русским людям. Ту шкатулку, где хранится чертеж будущего райского храма. Вот поэтому враги хотят сокрушить государство. Опять сеют смуту, выводят на Болотную площадь обезумевшую толпу. Поэтому я к вам и приехал. Спасем Государство

Российское! Такое еще робкое, слабое, наполненное противоречиями и изломами. Но и такое оно страшит вековых русских врагов. Из России во все века несется миру укоризна о несправедности этого мира. И эта укоризна вызывает у мира великий гнев. «Русская» идея одним своим существованием сотрясает весь прочий мир. Мир не прощает России эту укоризну, насылает нашествия, взламывает границы могучими армиями, растлевает изнутри ядовитыми верованиями. Так было при Стефане Батории. Так было при Наполеоне. Так было при Гитлере. С сегодняшнее государство

изуродовано, в струпьях, в кавернах. В нем поселились несправедливость, стяжательство, ложь. Но в нем, как слабая почка, дремлет идея русской правды. Эта почка дремлет в Чегоданове. Этим он отличается от властолюбца Градобоева и временника Стоцкого. И эта почка расцветет, если мы, государственники, будем не лесорубами, а садовниками. Поддержим государство, поддержим Чегоданова. Сбережем эту «русскую» идею.

Инженеры слушали его угрюмо и молча. Не понимали смысла его появления на заводе. Он не мог им помочь в их судах и спорах. Не мог

воздействовать на нерасторопных смежников, которые задерживали поставку прицелов. Не мог защитить от алчной корпорации, отнимающей львиную долю прибыли. Но он не отчаивался. Хотел подключить к каждому из них световод, по которому летят Божественные лучи, накрывают Россию невесомым шатром. И каждый, кто подключен к световоду, становится могучим и просветленным. Совершает великие подвиги. Делает несравненные открытия. Пишет бессмертные книги. Они, эти русские люди, задавленные заботами, изнуренные тяготами, не знали, как они прекрасны, как могуч их дух, какие

великие деяния способны они совершать. И он продолжал проповедовать, облучал их суровые лица светом Фаворским.

— Россия — мученица райской мечты, страдальца райских заповедей. Под Псковом, на Рижской дороге, стоит Изборская крепость. Гнездовье башен, округлых, прямоугольных. Одни бойницы смотрят и бьют в чистое поле, откуда приближается враг. Другие бойницы смотрят вдоль стен, по которым карабкаются передовые отряды врага. И только одна башня направила свои бойницы внутрь крепости. Когда крепость взята, когда гарнизон защитников перебит,

в эту башню отступают последние бойцы, затворяются в ней, стреляют по наводнившему крепость врагу. В этой башне после неравного боя кончаются жизни русских героев и мучеников. Дорога на Псков открыта, иди завоевывай русский город. Но тут случается чудо Пресвятой Богородицы. Святая Дева является на стенах Пскова и своим лучезарным лицом ввергает врага в смятение, рушит его шатры, обращает в бегство. Изборская крепость напоминает громадный каменный танк, в котором сражался и сгорал героический экипаж Древней Руси.

Бекетов, не получая отклика, чувствовал, как тают его силы. Его

энергия иссякала, не одухотворяя их черствые души, не пробивала коросту на их сердцах. В своей немощи он сам припадал к световоду, соединялся с неисчерпаемым океаном русского неба. Из этого неба истекала река русской истории, изливались дивные стихи и вероучения, поднимались, как из купели, бессмертные герои и духовидцы. И Бекетов звал их на помощь.

— Вы создаете оружие наших дней, ваш замечательный танк. Но ваш танк, оружие Ледовой сечи и Куликовской битвы, Бородина и Сталинграда — это одно и то же оружие, которое передают друг другу

многие поколения русских людей. В
окаянные годы, после разгрома
СССР, это оружие было выбито из
русских рук. Его сжигали в Космосе,
топили в океане, взрывали в
секретных шахтах, умертвляли на
остановленных заводах. И сады
русского рая стали беззащитными,
были отданы на поругание врагам.
Россия должна была стать
пленницей, подобной тем, которых
ливонские рыцари брали в полон.
Женщинам привязывали на грудь и
на спину грудных детей и гнали
бичами. Знали, что изможденная
мать не станет падать, чтобы не
задавить своих чад...

Бекетов видел, что сидящие

перед ним инженеры глухи к его проповеди. Он не нашел для них слов. Его пафосные слова вызывали в них тайную иронию и раздражение. Световод не достигал их запечатанных душ. Они находились в непроницаемом коконе, были отсечены от чудесных энергий. Забыли связь с великим прошлым, когда одухотворенный народ совершал неповторимые подвиги, создавал необъятное царство, одерживал невиданные победы. Это были погасшие люди, с лицами закопченными, как стекла их изношенных цехов. Он желал вырвать их из тусклого забытья, напомнить о небесах, куда обращали взоры

Пересвет на поле Куликовом, князь Андрей под Аустерлицем, его, Бекетова, дед, погибший под Сталинградом у хутора Бабуркин. Он мысленно поместил их в храм, среди алых лампад, золотых виноградных лоз, плещущих ангельских крыл. Вся божественная красота песнопений, весь пламенный шепот молитв, вся нежность чудесных слов была обращена на этих сумрачных, усталых людей.

— Но случилось чудо. Выбитый меч империи не упал на землю. Его успели подхватить ваши руки, руки русских оружейников. Благодаря вашему подвигу русское оружие уцелело. Сохранились научные

школы, инженерные сообщества, секретные разработки. И когда-нибудь богомыслящие исследователи истолкуют это спасение как Русское Чудо. Вы сохранили танковое дело, смогли построить лучший в мире танк. Ваш танк святой, потому что в его броне меч святого князя Александра Невского и кольчуга святого князя Дмитрия Донского. Ваш танк – это алтарь, несущийся сквозь огни и взрывы. Вы – русские государственники, опора страны. Сегодняшней России не нужны политические реформы, не нужна Болотная площадь. Ей нужны алтари и оборонные заводы. А остальное приложится.

Бекетов умолк. В кабинете стояла тишина. Только слышно было, как звякнула чайная ложечка в руках специалиста по маркетингу и зашуршал конфетный фантик в руках председателя профкома. Президент Стоцкий насмешливо взирал со стены, и Бекетов понял, что проиграл. Его проповедь была неуместна. Он выглядел комично, как московский говорун.

В кабинет вошла секретарша. Несла в руках мобильный телефон.

– Танкодром на проводе. Вы просили связать. – Она протянула телефон директору.

Директор взял трубку:

– Да. Вас понял. Сейчас узнаю. –

Он обратился к Бекетову: – Андрей Алексеевич, вы хотели прокатиться на танке. Машина подготовлена. Т-90, как вы говорите, алтарь на гусеницах. Батюшка и дьякон, то есть командир и механик-водитель, – на месте. Хотите помолиться или пойдем обедать? – На его ребристом лице появилась улыбка, несмешливая, как показалось Бекетову.

– Хочу помолиться, – сказал Бекетов.

Его привезли на танкодром, который начинался за воротами завода и терялся в лесах, холмах, ледяных болотах. Там танки, покинув конвейер, проходили испытания.

Развивали предельную скорость.
Нырjali в болотную топь.
Перепрыгивали рвы.

Бекетова встретил молодой
сухощавый испытатель, с
мальчишеским веселым лицом,
шальными глазами. Из-под танкового
шлема выглядывал белесый чубчик.
Камуфлированная теплая куртка
ловко сидела на гибком теле.

— Придется переодеться, —
сказал он, оглядывая пальто, брюки и
туфли Бекетова. — Машина сейчас
подойдет.

Он отвел Бекетова в небольшое
строение, выдал ему бутсы, теплую
пятнистую куртку, такие же штаны,
кожаный, с тангентой, шлем и

рукавицы.

– Вот теперь вы тоже танкист, – усмехнулся испытатель.

Задрожала, загремела земля, и к строению подкатил танк. Огромный, бугристый, он был окутан синим дымом, темный, среди сверкания снегов. Из люка выглядывал механик-водитель в шлеме. Пушка смотрела жерлом прямо в лоб Бекетову, и у него закружилась голова от тупой непомерной мощи. «Алтарь, – подумал он отрешенно. – Хочу помолиться».

– По машинам! – крикнул сквозь грохот испытатель. Помог Бекетову забраться на броню, помог опустить ноги в железную глубину, устроиться

в башенном люке. Сам же ловко угнезвился в соседнем люке, прижал тангенту к шевелящимся губам. Танк качнулся, взревел, шарахнул Бекетова о железную кромку и пошел с ровным рокотом, вминаясь в снег. Бекетов схватился за крышку люка, чувствуя сквозь рукавицы ледяную сталь. К его лицу прижали прозрачную подушку из тугого морозного воздуха, глаза наполнились слезами и смотрели на размытое солнце.

«Спаси, Господи, люди Твоя», – молитвенно подумал Бекетов. Ему было горько. Он не сумел убедить упорных технократов, а только насмешил неуместной проповедью.

Танк качнул пушкой, вылез на бетонку, прямую белую ленту, окруженную сосняком. Всхрапнул и ринулся, свирепо и мощно, с неистовой силой, превращаясь в летящую гору брони. Бекетов почувствовал, как резанул его блеском воздух, как брызнули солнечно слезы, как закружилась колючая пыль. Танк рвал гусеницами бетон. Пушка, как громадный палец, указывала вперед. Танк мчался, хрипя и звеня. Бекетов качался в люке, чувствуя колыхание брони, словно танк вот-вот оторвется от бетонки и взлетит в бледную синь.

И внезапно – больная и странная мысль. Неужели это он, Бекетов,

несется в танке, ударяясь плечом о броню? Он, которому мама надевала на голову веночек ромашек? Он, который боялся пчелы, залетевшей в оранжевый цветок тыквы? И тот восхитительный майский вечер, когда летали жуки, расцветала сирень и мама внесла на веранду самовар с душистым дымком, роняющий на поднос угольки. И внезапно вошел отец, загорелый, прилетевший из дальних стран, и они с мамой кинулись к нему, а он раскрывал узорную жестяную коробку с черным хрустящим чаем. Неужели все это было? Девушка из соседнего дома, с которой ходили в театр, а потом целовались в

случайном дворе, и он впервые касался женской груди, сжимая губами маленький теплый сосок... И похороны убитых солдат, надрывная медь оркестра, и он шагал по еловым веткам, и видел, как торчит из гроба голубоватый колючий нос... И то упоение, с которым читал стихи, каждый раз замирая, когда приближалась строфа: «Это Млечный Путь расцвел неожиданно садом ослепительных планет»... И тот холодный осенний дождь, падавший на могилу отца и матери, и он держал в руках букет красных роз, не решаясь положить на землю... И та голубая спальня с зеркалами и тихой музыкой, приторный запах

духов, женщина с шелковистым телом, и близко от глаз мерцал в мочке уха бриллиант. Неужели это он, Бекетов, несется в танке, пролетая еще один крохотный отрезок жизни, дарованной ему от рождения до смерти для какой-то таинственной, неразгаданной цели?

Эти мысли были размыты, как мелькающие в метели сосны. Породили чувство абсурда, необъяснимости бытия.

Танк соскользнул с бетонки и ухнул в ледяное болото. Черный взрыв грязи, обломки льда, гнилая кипящая рывина. Бекетова швырнуло вверх, и он вцепился в стальную крышку, чтобы не улететь в

эту темную топь, не сгинуть в гнилых проломах. Грязь хлестнула по лицу, губы глотнули сероводородную вонь. Танк переваливался с боку на бок, ломал лед, выдавливал коричневые пузыри, подминал тощие болотные сосны. Бекетов бился о железо, и в нем возникало ожесточение. Он сам был подобен танку, который шел через болото русской смуты. Увязал в трясине демонстраций и митингов, в придворных интригах и заговорах, в тупости временщиков и подлости предателей. Он один, надрываясь, тащил на буксире неповоротливую махину государства, у которой заглох мотор, сбежал экипаж, ослабел

командир. Хрипя, он давил на газ, будил пинками командира. Молил Господа, чтобы выдержал трос. Чтобы танк дотянул до края болота. Чтобы гусеницы схватили твердую землю. Чтобы у махины завелся мотор. Чтобы очнулся командир. Чтобы вернулся разбежавшийся экипаж. И тогда выиграет вся могучая армада государства, неудержимо, «гремя огнем, сверкая блеском стали», устремится в прорыв.

Танк выдрался из болота, отекая липкой жижей. Покатил в снежных холмах, взлетая на сияющие вершины, погружаясь в тенистые овраги. Нависал над кручей, и казалось, сейчас перевернется и,

тяжко грохая, повалится вниз. Бекетов вжимался в люк, чувствуя плечом острую кромку. Танк задира к небу пушку, карабкался, как жук, на отвесный склон. И Бекетов впивался в броню, ожидая, что танк станет заваливаться, упадет на спину, беспомощно хватая гусеницами небо.

Он отдавал себя в руки Господа. Каялся в совершенных грехах в этом стальном алтаре. Грехи всплывали в памяти среди адской гонки.

Друг детства уходил на афганскую войну, его провожал весь дом. Плакали мать и отец, молодая жена клялась в вечной любви. Друг, хмельной, с вещевым мешком, махал из отъезжавшего автобуса.

Возвращались теплой ночью через парк, и жена друга вдруг стала его целовать, повлекла в чащу парка, и на влажной траве он расстегивал непослушное платье, кусал ее губы. Вставая, не смотрел на нее, испытывал гадливость к ней и к себе.

На даче проходил мимо дождевой бочки, и в темной воде, в мелком трепете, бился мотылек, пытаясь взлететь. Прошел мимо, не вычерпал страдальца из воды, не сохранил ему жизнь. Возвращаясь обратно, видел: мотылек безжизненно лежит на водяном черном круге.

Работая с Чегодановым, помогал ему в деликатных делах. Банкротил

банки, возвращал государству заводы и прииски, нефтяные компании и морские порты. Молодой банкир, придя на прием, умолял не губить, сохранить его банк, обещал отступные. Бросился на колени, пытался целовать его руки. Бекетов не внял мольбам, отказался ему помогать и прочел в газетах о самоубийстве банкира.

Лукавство и ложь, на которые шел теперь, желая помочь Чегоданову. Обман Градобоева, вероломные визиты к Мумакину, Лангустову, Шахесу. Одурманенный Коростылев, обольщенная Паола Ягайло. И все во имя России, во имя Государства Российского, но при

этом тончайшая фальшь, которую не скрыть сусальной позолотой, исклеванной птицами.

Все это сумбурно вспоминал Бекетов, среди кувырков и толчков, каждый из которых был камнем преткновения, греховным поступком на его пути.

Танк валился с боку на бок, свирепо размахивал пушкой. Бекетов бился о броню, боясь расквасить лицо. И Елена, ее тонкая переносица с каплей дождя, ее зеленые глаза, в которых играет солнце, ее серые брови, к которым пристало крохотное пушистое семечко. Она поднимает ногу, переступая край перламутровой ванны. Сгиб ее

колена, шелестящий душ на ее плечах. Ветер колышет занавеску, за которой весенний Париж, цветущий каштан.

Лицо Елены, возникшее среди свистопляски холмов и рычания танка, вызвало в нем нестерпимую боль и вину. Горькое раскаяние, заглушить которое не смог удар о железо, и там, где расходилась боль от удара, оставалась вина и раскаяние. Он был бесчестным игроком, пользовался ее наивным доверием, ее любовью, делая игрушкой в своих лукавых затеях. И от этого сами затеи становились лживой игрой.

Танк пошел вниз, набирая

скорость, вонзая пушку в сверкание снегов. Впереди у подножия холма разверзлся овраг, тенистый, полный синего снега. Танк мчался к оврагу, в свисте ветра, и Бекетов ждал, когда машина ухнет в глубину оврага и погаснут вместе с солнцем его грехи и раскаяние, его гордыня и незавершенные замыслы. Вся его странная, из любви и ненависти, жизнь.

Танк оттолкнулся от земли, полетел невесомо, окруженный солнечной пылью, и вонзился в противоположную кромку оврага. Мягко спланировал и помчался в волнистых снегах.

У песчаного откоса танк застыл

на мгновение, а потом стал кружиться на месте, ввинчиваясь в землю, словно закручивал громадную гайку. Бекетов ошалело вращался, крутились холмы, песчаные откосы, далекий лес, и снова холмы и откосы. Казалось, Бекетов попал в грохочущий вихрь, в чудовищную круговерть времен, где нет ни конца, ни начала, а только жуткая карусель, из которой ему не спастись. Он перестал думать, перестал сопротивляться ударам, а слепо смотрел полными слез глазами, чувствуя, как стальная фреза выпиливает под ним землю и он готов провалиться в преисподнюю.

Внезапно танк замер. Стоял,

окутанный испариной. Из люка смотрело на Бекетова молодое лицо испытателя, перечеркнутое длинной болотной брызгой.

— Ну хватит! — перекрикивал он храп мотора. — Пора домой.

Из танка Бекетов вылез разбитый, земля под ним ходила, он продолжал раскачиваться. С трудом переоделся. Комфортабельный джип унес его с танкодрома в город, к заводскому Дворцу культуры. Под колоннами его встретил директор, серьезно и озабоченно оглядывая, желая убедиться, что гость уцелел после рискованной прогулки.

Дворец заводу подарил Сталин, в благодарность за тысячи

победоносных Т-34. Кругом были уральские самоцветы, дорогие породы дерева, венецианское стекло, расписные плафоны. В гостиной был накрыт стол, где ждали Бекетова знакомые инженеры.

Официант, в черном смокинге, с галстуком-бабочкой, разлил в хрустальные рюмки водку.

Директор встал, держа рюмку:

– Андрей Алексеевич, пока вы отсутствовали, мы посовещались, связались с Уральским союзом оборонных предприятий и решили поддержать Федора Федоровича Чегоданова. С ним мы связываем наше будущее. Предлагаю выпить за его здоровье.

Все поднялись, чокались, роняя блестящие капли. Бекетов залпом выпил огненную рюмку.

ГЛАВА 25

Елена торопилась на Пушкинскую площадь, где начиналось действо, к которому она была причастна. Либеральные писатели решили выйти на московский бульвар и провести встречу с читателями. Раздаривать книги с автографами, декламировать стихи, выразить всяческие симпатии оппозиционеру Градобоеву. Высмеять кремлевскую знать. В своей теплой шубке, повязанная цветастым платком, в коротких сапожках, с румяными от мороза щеками, Елена была похожа на московскую боярышню с картины

Кустодиева.

Когда она появилась на площади, там уже былолюдно. У памятника Пушкину знаменитости общались с почитателями, извлекали из сумок книги и тут же, на морозе, подписывали. Читали потешные стихи, где высмеивался Чегоданов, которого называли Чемодановым. Косматый гитарист, участник всех протестных митингов, рычал революционную песню, изрыгая клубы пара. В толпе было много молодых людей, веселых, шаловливых, радостно аплодирующих знаменитостям. Были нервные изможденные женщины, выкрикивающие в адрес Чегоданова

злые слова. Были хмельные бомжи, которых радовало скопление народа, сулившее дармовую выпивку. Мерцали вспышки фотоаппаратов. Поблескивали телекамеры.

Сердитый худой писатель, автор злых антисоветских романов, давал интервью, тревожно водя чернильными глазами. Седоволосая писательница, автор нашумевшего романа о еврейском музыканте, погибшем в варшавском гетто, говорила в микрофон, который держал перед ней модный красавец со жгучими восточными глазами. Поодаль наблюдала за всем стайка полицейских. Еще дальше стоял полицейский автозак.

Елена пробиралась в толпе, откликалась на приветствия знакомых, отмахивалась от назойливых стихоплетов. Помахала рукой писателю Лупашко, его толстым малиновым щекам и маленьким черным усикам. Заметила вдалеке Паолу Ягайло в окружении дюжих парней. Послала воздушный поцелуй Шахесу, похожему на колючего ежика. Ей было весело, ее затея удалась. Бекетов был бы ею доволен. Она думала о нем с нежностью, собиралась, по завершении действия, звонить ему на Урал.

Площадь переполнилась толпой, которая медленно, вязко стала

перетекать через край, омывала кинотеатр «Россия» и вливалась в Страстной бульвар. Заливала черной лавой заснеженную аллею. Елена слышала, как похрустывает под каблучками снег, как звенит где-то рядом гитара косматого барда. Проезжавшие машины сигналили в знак приветствия. Водители опускали стекла и протягивали руки с оттопыренными пальцами, изображая знак победы. Все это веселило Елену, создавало ощущение праздника.

Лупашко вышагивал в толпе, держа мегафон, издавая зычные, с металлическим эхом, звуки. Его толстые щеки стали от мороза

фиолетово-красными. Черные усики потешно вздрагивали. Он ставил ноги, широко разводя носы больших башмаков. Его маслянистые глазки лукаво поблескивали.

— Вы спрашиваете меня, господа, над какой книгой я сейчас работаю. Я пишу роман под условным названием «Лингвистика». Конечно, я не смогу на морозе читать вам главы романа, но рассказать сюжет могу. Как мы знаем, и Сталин, и Гитлер посылали в пустыню Гоби секретные экспедиции. Обоим диктаторам было известно, что в отдаленном буддийском монастыре находится свиток с текстом, доставленный на землю

представителями инопланетной цивилизации. В этом свитке рассказывалось о волшебных технологиях, которые были использованы Господом при сотворении мира. Эти технологии позволяли достичь небывалого прогресса и могущества и добиться мирового господства. А как известно, и Сталин, и Гитлер мечтали о мировом господстве. — Лупашко вдруг прервал повествование, смешно подпрыгнул, отбивая ногами чечетку. Весело паясничая, пропел: «Евреи, евреи, везде одни евреи!»

В толпе засмеялись, захлопали. Шагавший рядом с Еленой бомж, похожий на зверька, с нечесаной

бородой, в вязаной шапочке,
счастливо подмигнул голубым
пьяным глазом:

— Во мужик дает! Артист
Хазанов!

Елена улыбнулась бомжу.
Радостно смотрела на оживленных
людей, ветвистые деревья бульвара,
снег на чугунной решетке. Мимо
проплыло белоснежное, с колоннами
здание, памятник Высоцкому, на
голове которого была снежная кipa.
Елене было хорошо в этой
московской толпе, под синим
морозным небом, в котором
золотились кресты и кружили галки.

— Ну так вот, — продолжал
Лупашко, прерывая свою чечетку и

прижимая к темным усикам
мегафон. – Две группы – эсэсовцы и
агенты НКВД – шарили по пустыне,
терпели лишения, умирали от
болезней и жажды в поисках
монастыря. Агенты НКВД первыми
нашли монастырь, перестреляли
монахов и выкрали свиток – рулон
тончайшей фольги из неизвестного
металла с нанесенными
непонятными знаками. Когда
эсэсовцы достигли монастыря, они
нашли десяток трупов, обглоданных
лисицами. Свиток оказался в руках у
Сталина, и тот приказал советским
лингвистам, в большинстве своем
евреям, во главе с академиком
Марром, заняться расшифровкой

текста. Как известно, Божественные технологии исходят из того принципа, что в начале всего было Слово. И академик Марр стал сравнивать библейские, древнееврейские тексты с тайными знаками свитка. Эта группа еврейских филологов впоследствии составила славу советского языкознания и основала науку «Космическая лингвистика», по законам которой пишутся, кстати, и мои книги. — Лупашко с неожиданной для своей полноты ловкостью присел, стал выбрасывать ноги в сторону. Закружился на месте, держа над головой руку, как в деревенской кадрили. Смешно

гримасничая, пропел: «Евреи, евреи, везде одни евреи!»

Рядом с Еленой вышагивала немолодая, бедно одетая женщина с замерзшим синеньким носиком, к которому она то и дело прикладывала платочек.

– Он настоящий гений, – кивала она на Лупашко. – Русская литература должна гордиться, что в ее рядах находится этот гений. Не бережем, не бережем мы своих пророков! – Она дрожала от холода и восхищения, кутаясь в куцый меховой воротник.

Елена кивала в ответ. Ей хотелось похвастаться, что это она привела Лупашко на бульвар. Что он

называет ее дружески и насмешливо «мисс Оппозиция». Что забавное многолюдное шествие – ее рук дело. Но она молча улыбалась, чувствуя себя тайным режиссером этого увлекательного действия. Смотрела, как толпа перетекает через Петровку и машины приветствуют их вспышками фар.

Лупашко гудел в мегафон:

– Гитлер, как вы понимаете, был взбешен. Сталин обладал свитком, в котором содержалась тайна сотворения мира, а значит, и мирового господства. Как только текст будет расшифрован, в руках Сталина окажутся технологии, делающие его господином

вселенной. Гитлер знал, что идет упорная расшифровка текста и рано или поздно проницательный еврейский ум раскроет секрет. И пока академик Марр не добился результатов, Гитлер напал на Советский Союз, с целью отнять у Сталина свиток. Таким образом, война фашистской Германии и СССР была войной за обладание свитком, и главным полководцем этой войны был не Жуков, а академик Марр. — Лупашко прижал локти к бокам, завилял толстым задом, задвигал бедрами, приседая и изображая свинг, и зычно, на деревенский манер, пропел частушку:

Говорит сороке филин:
«Я немного юдофилен».
А она ему в ответ:
«Я сорока-жидоед».

Обгоняя Лупашко, двигалась светская львица Паола Ягайло. Ее несли на раскрашенных носилках крепкие молодцы, участники телепрограммы «Постель-3». Они целовали мех ее норковой шубы. Паола кидала в воздух красные, вырезанные из бумаги сердечки, кропила ими толпу, Лупашко, снег бульвара. Одно сердечко опустилось Елене прямо на ладонь, и она несла

этот алый лепесток, думая о Бекетове.

Процессия приближалась к Трубной площади. Полиция перекрыла движение, пропуская толпу. Лупашко, собрав вокруг себя множество внимавших поклонников, продолжал вещать в мегафон:

— Таким образом, господа, группа «Центр», танковые колонны Манштейна рвались к Москве. Сталин, опасаясь захвата столицы, приказал вывезти свиток подальше от линии фронта, на Волгу, в Сталинград. Туда же была эвакуирована группа лингвистов во главе с академиком Марром, которые днем и ночью занимались

расшифровкой текста, приглашая на помощь священников и богословов, чудом уцелевших во время церковных гонений. Немецкая военная разведка Шелленберга узнала, что свиток перевезен в Сталинград, и доложила Гитлеру. Тот немедленно прервал наступление на Москву и перенес удар в глубь приволжских степей, приказал фельдмаршалу Паулюсу любой ценой захватить свиток. Именно этим, а не русским морозом объясняется остановка наступления на Москву. А затем – странное решение Гитлера направить всю мощь вермахта в район Сталинграда. – Лупашко затоптал, закружился, лихо затряс головой,

правдоподобно копируя деревенских
шутников:

«На хрена козе баян», —

Говорит Моше Даян.

«На хрена корове веер», —

Отвечает Голда Меир.

Кругом хохотали. Телеоператор
пятился перед Лупашко. Несколько
фотографов неустанно снимали.
Репортеры тянули свои диктофоны,
записывая его прибаутки.

У Елены зазвонил телефон.
Звонил Градобоев:

– Ты где?

– У Трубной.

– Я скоро подъеду, заберу тебя.

– Хорошо.

Вдруг возникло тоскливое чувство, мучительное раздвоение. Оно мешало радоваться морозному солнцу, красной стене монастыря, изумрудному особняку сквозь сплетение ветвей. Она старалась прогнать эту набежавшую тень. Думала, – еще немного, только до выборов, а потом все образуется. Кончится эта ложь, это болезненное раздвоение. Она старалась вникнуть в рассказ Лупашко, в его металлическое повествование.

– Сталинградская битва,

господа, — это битва за обладание свитком. Академик Марр и лингвисты находились в бункере на Мамаевом кургане, работали под бомбежками и обстрелом. Немцам почти удавалось захватить бункер, но каждый раз штрафные батальоны отбивали атаки. И перед новым, 1943 годом Марр наконец расшифровал космический свиток. В руках Сталина оказались волшебные технологии. Они позволили окружить армию Паулюса, победить под Курском, осуществить «Десять сталинских ударов» и уничтожить Гитлера в имперской канцелярии. Волшебные технологии помогли восстановить разоренную страну за

два года, создать атомную бомбу, полететь в Космос и начать «красное» наступление по всему земному шару. Половина планеты была покрашена в красный цвет. Кстати, скульптура Вучетича на Мамаевом кургане – это памятник академику Марру и героическим еврейским лингвистам. А создание впоследствии Государства Израиль – это благодарность Сталина еврейским лингвистам за их вклад в расшифровку свитка.

Лупашко пританцовывал, пел смешные, не совсем приличные куплеты, и все вокруг восхищались, тянули для автографа кто газету, кто блокнот. И только хромающий рядом

с Еленой старик с запавшими глазами и седой щетиной произнес:

– Я бы Сталинград не трогал. Там пол-России костями легло. Некому за них заступиться.

После звонка Градобоева наивная радость не возвращалась к Елене. Все так же сияло солнце, в воздухе переливались мельчайшие снежинки, особняки казались целомудренно белыми. Но на все легла едва различимая тень. Что-то невидимое, тяжелое, угрожающее чудилось Елене в фасадах зданий, в ветвях деревьев, пролетающих вороньих стаях. Что-то мрачное, безликое и опасное притаилось вокруг и ждало мгновения, чтобы

стиснуть людей, раздавить хрупкую скорлупку, содрать позолоту. Елена шагала, вглядываясь в лица, не обнаруживая в них испуга и смятения, а только веселье и ликование.

— Да будет вам известно, господа, — Лупашко продолжал морочить своих обожателей, и те охотно позволяли себя дурачить, — Хрущев, развенчавший Сталина, уничтожавший сталинское могущество, изъял из обращения волшебные технологии. «У змеи надо вырвать жало», — сказал он. Тогда же он нанес удар по церкви, в которой жил дух филологии академика Марра, а школу лингвистов

перепрофилировал на изучение языка птиц. Он поручил своему охраннику спрятать свиток в надежном месте. Когда Хрущева свергли, то пытались узнать, куда он спрятал свиток. Но Хрущев не сказал и унес тайну с собой. И тогда в стране начался застой. Брежневу сообщили, что свиток находится на дне одной из северных русских рек. Так возник план переброски этих северных рек. Андропову доложили, что свиток перевезли в Афганистан, в город Кандагар. Поэтому Андропов ратовал за введение войск в Афганистан. Черненко принесли в больницу поддельный свиток, и он умер, сжимая его в руке, веря в свое

могущество. Горбачев начал перестройку, с целью обнаружить свиток под обломками СССР. Ельцин разрубил СССР, полагая, что свиток легче искать в каждой отдельной части. И только в наше время тайна свитка стала всплывать на свет. — Лупашко крутился, подпрыгивал, присвистывал в свой красный мегафон. Был похож на скомороха с большим красным бубном.

Елена не понимала причины своей тревоги. В этой тревоге не был повинен звонок Градобоева. Она не исходила от проехавшего мимо полицейского автозака. Она была безымянной, вездесущей, таилась повсеместно под хрупкой оболочкой

мнимой жизни, обреченной на истребление. В толпе возник Шахес в косматой шубейке, с чутким рыльцем лесного ежика. Он послал Елене воздушный поцелуй, и она мучительно улыбнулась.

— Завершаю свой рассказ, господа. — Лупашко, похожий на фиолетовый баклажан, гнал перед собой металлический звук. — Охранник Хрущева, который спрятал свиток, к концу жизни уверовал, постригся в монахи и жил в монастыре под Псковом. К нему неоднократно ездил Чегоданов, умолял показать место, где спрятан свиток, потому что Чегоданов, как мы знаем, мечтает воссоздать СССР,

мечтает о мировом господстве. Но монах не открыл Чегоданову тайну. А открыл он ее патриарху, который тоже мечтает о мировом господстве, о слиянии всех религий — православия, католичества, лютеранства, ислама, иудаизма и даже культа Вуду. Оказывается, свиток был спрятан в мавзолее, под телом Ленина. И как только об этом узнал патриарх, священники стали требовать, чтобы тело Ленина убрали из мавзолея. Надеялись, что, когда станут выносить тело Ленина, они овладеют свитком. У Чегоданова есть придворная колдунья, чародейка Клара, которая методами гадания и ворожбы узнала, что свиток лежит в

мавзолее под мумией Ильича. Каким-то образом о свитке узнал наш уважаемый лидер Градобоев, и те заблуждаются, кто думает, что Градобоев хочет повести народ на Кремль. Он хочет повести народ на мавзолей, чтобы овладеть свитком академика Марра. Недаром он свои шествия называет: «Мар несогласных». «Мар миллионов». «Мар против подлецов». И все, что нам предстоит в скором времени, — это схватка Чегоданова, патриарха и Градобоева за обладание волшебным свитком академика Марра. На этом замысел романа обрывается, и его конец напишет сама история.

Лупашко передал мегафон

соседу. Сам же, с заиндевелыми
усиками, с фиолетовыми щеками,
шагал, помахивая короткими
ручками.

К нему подскочили, запрыгали,
закружились три девицы из панк-
группы «Безумные мартышки». В
своих куцых тулупчиках, в мохнатых
шапочках, с гибкими ногами и
смешными ужимками они и впрямь
были похожи на дурашливых
обезьянок. Скакали, вертели задами,
задирали Лупашко:

Мы безумные мартышки,
Мы читаем ваши книжки.
На фарси и на иврите.

Нам автограф подарите.

— Да нет у меня книжек. Кончились! — разводил руками Лупашко.

— А вот здесь подпишите! — Одна из девиц засучила рукав тулупчика, обнажила руку.

И Лупашко, достав фломастер, поставил на голой руке автограф.

— А мне вот здесь! — Другая девица распахнула полушубок и кофточку, двинулась на Лупашко, тряся маленькими нежными грудками.

И Лупашко аппетитно

расписался на голом теле между двумя игривыми сосками.

— А мне вот здесь! — Третья девица повернулась к Лупашко спиной, нагнулась, приспустила колготки, открывая округлые ягодицы, и Лупашко под хохот и аплодисменты поставил роспись на девичьей ягодице, легонько хлопнув по ней.

Девицы унеслись, метались из стороны в сторону, словно раскачивались на лианах.

У Чистых прудов, где носился пестрый рой конькобежцев, Елена вышла из толпы, покинула бульвар. Тут же рядом остановилась машина. Градобоев открыл перед ней дверцу:

– Карета подана!

И они помчались среди морозного дыма, блестящих машин, и казалось, множество языков жадно лижут чугунную решетку бульвара.

В штаб-квартире Градобоев встречался с представителями провинции, с петербургскими бизнесменами, загадочными агентами, которые доставляли ему информацию из коридоров власти. А Елена в соседней комнате, согреваясь, пила чай.

Градобоев вошел, резкий, бурный, страстно сжимая и разжимая пальцы. Они издавали хруст.

– Я принял решение! Мы атакуем! Сорвем выборы! «Марш

миллионов» соберет миллион. Мы накопили огромную бронбойную силу. Коммунисты с нами. Националисты с нами. Даже геи и те примкнули. Мы идем на Кремль! Когда миллион разгневанных граждан выйдет на Красную площадь, трусливый Чегоданов сбежит!

— Но как? — Елена испуганно отставила чашку. — Ведь будет заслон? Будут войска? Будет кровь?

Лицо Градобоева, побелевшее, с дрожащими губами, восторженными глазами, казалось безумным. Особенно пугали Елену эти сильные пальцы, которые сжимались, разжимались, похрустывали.

– Ты не боишься крови?

– История – кровавая дама!

Древо жизни полито кровью. Лидер не боится пролить кровь, ни свою, ни чужую. Но, поверь, крови не будет. Американцы запретили Чегоданову стрелять. В этом заверил меня посол Кромли. Чегоданов убежит, и Стоцкий назначит новые выборы. Наивный, он думает, что на этих выборах он снова станет президентом, а меня засунет в какой-нибудь кремлевский чулан! Ошибается! Народ внесет меня в Кремль!

Градобоев бурно дышал. По его телу пробегали мелкие биения, словно переполнявшие его энергии

искали выход. Он напрягал мускулы, сдерживал взрыв. Елена пугалась его слов. То грозное, безымянное и ужасное, что мерещилось ей на бульваре, становилось явью. Срывалось с его яростных губ, брызгало из безумных глаз, жутко похрустывало в суставах пальцев.

— Мы опять на перекрестке русской истории! От меня зависит, куда хлынет поток русский судьбы! Он хлынет туда, куда я укажу! — Градобоев вдруг резко придвинулся к Елене: — Не вздумай кому-нибудь рассказать о том, что услышала. Это стратегическая тайна. Я тебе доверяю во всем. Ты знаешь каждую мою мысль, каждую клеточку. Я

рассказал тебе о той алмазной росинке, которая вспыхнула передо мной в детстве, а потом пропала. И я ищу ее всю жизнь. Теперь она снова начинает мерцать! Это мой бриллиант! Наш с тобой бриллиант! – Он обнял Елену, сжал, так что она задохнулась.

– Мне больно!

– Это наш с тобой бриллиант!

Он грубо целовал ее губы, срывал платье. Выкручивал руки.

– Боже, что ты делаешь?

– Это наш с тобой бриллиант!

Он кинул ее на диван, и она не сопротивлялась. Подчинялась его насилию. Видела над собой его мокрые губы, дрожащие, с

огромными белками, глаза. Заслонялась от его бормотаний, от поцелуев, похожих на больные укусы, от этой злосчастной тайны, которую он ей поведал. И когда он стал биться над ней, издавая сиплый рык, и вся его огненная сила пронзила ее, наполнила болью и мучительной сладостью, она отрешенно подумала, что теперь его тайна в ней начнет созревать, как страшный плод.

ГЛАВА 26

Новосибирск – могучий кулак, схвативший жилу Транссибирской дороги, kloкочущую вену Оби, пучки магистралей, ведущих к ледовым морям. Железные мосты выстреливают на восток и на запад составы с пляшущими иероглифами, с клеймами немецких заводов. Стальные трубы, переполненные нефтью и газом, дрожат, как гремучие струны, схваченные пятерней, в которую уловлен громогласный аккорд Сибири. Так рвут постромки и хотят разбежаться кони гигантской квадриги, и наездник стягивает их воедино,

намотав на запястье ремни.

Бекетов чувствовал город как сгусток непомерных энергий, скопление огней и металлов, фокус лучей, озаряющих русское будущее. Как наковальню, где в звонах выковывает образ грядущей России.

Он приехал на Авиационный завод имени Чкалова, гнездо, из которого в годы войны вылетали тысячи боевых самолетов. Цвет и краса сталинской «цивилизации неба». Сюда, звать сибирские полки на защиту Москвы, явился Бекетов.

У директора завода круглое, с узкими глазами лицо, в котором русское тесто всходило на якутской закваске. Он вел Бекетова по цехам,

где стояли станки, напоминавшие хрустальные буфеты, в которых мерцали волшебные сосуды, драгоценные сервизы. Рабочие в комбинезонах, не касаясь станков, приближали глаза к приборам. Директор показывал свое богатство, как коллекционер демонстрирует шедевры, составляющие славу коллекции. Станки из Японии, Германии, Франции явились на завод после страшного разгрома, учиненного военному производству в минувшие годы. И там, где недавно зияли черные дыры обугленных цехов с обломками недостроенных фюзеляжей, теперь сияло лучистое, уходящее вдаль пространство, где в

переливах света на стапелях дышали самолеты.

Несравненный фронтовой бомбардировщик Су-34. Еще не покрыт боевой сизо-стальной раскраской. Зеленовато-лимонный, в отточенных кромках, заостренный, пластичный, созвучный воздушным струям, бурлящим вихрям. В нем легкость и плавность дельфина, заостренность дротика, упругая мощь, которая превращает машину в гремющую молнию, проносит над полем боя, оставляя груды горячей брони. В этих формах, прекрасных и грозных, пугающих и ласкающих глаз, чувствуется гигантская воля. Пилотов, ведущих машину в

грохочущем небе. Рабочих, сотворяющих самолет из ломтей титана. Конструкторов, воплотивших в прозрачном замысле идею воздушного боя. Стратегов, устремленных в сражения еще не существующих войн. Воля всего измученного, растоптанного народа, одолевающего свое поражение, устремленного к долгожданной победе. Воля, преодолевающая русскую смерть, продлевающая русскую жизнь.

Их три штурмовика, стоящие на стапелях, окруженные металлическим звоном и шелестом. На них подвешивают скорострельные пушки, прицелы для бомб и ракет.

Ставят компьютеры, управляющие скоротечным воздушным боем. Машина, уклоняясь от попаданий противника, защищенная облаком электронных помех, проносится сквозь ядерный взрыв, сбивает истребитель врага, вонзает ракету в подземный бункер. Прозрачной тенью уходит в пустое небо.

Так чувствовал Бекетов это волшебное творчество, трогая ладонью крыло, и самолет едва ощутимым трепетом откликался на нежное прикосновение.

Директор заметил это взволнованное касание:

– Самолет завтра совершит свой первый полет. Для нас это праздник.

Мы собираем коллектив, зовем ветеранов. Батюшка освятит машину, окропит святой водой. Самолет сделает круг над заводом и вернется в цех. Его покрасят в боевую раскраску, нарисуют звезду и отправят в полк, для несения службы. — Директор любовно осмотрел самолет, который нетерпеливо ожидал свидания с небом. — И еще, Андрей Алексеевич, сегодня вечером состоится собрание патриотов, которые хотели бы поддержать Чегоданова. Там есть всякие, и «красные» и «белые». Монархисты, которые молятся царю-мученику, и сталинисты, которые молятся на красную звезду. Будут

споры и ссоры. Приглашаю вас, может, вы выступите? Расскажите, как на это смотрит Москва?

Осмотрев завод, Бекетов и директор уединились в кабинете, и Бекетов заметил, что над директорским столом висит портрет Чегоданова, но нет президента Стоцкого, что являлось вызывающим признаком. Бекетов рассказал директору о политических событиях в Москве, о протестных демонстрациях, об угрозе, нависшей над государством. Просил поддержать Чегоданова в канун президентских выборов. Директор обратил к Бекетову свое луновидное лицо, которое подарили ему

славянские и якутские предки, и спросил:

– А почему бы не выкатить на эту Болотную площадь пулеметы и не косить эту мразь рядами? Та-та-та-та! Ряд за рядом! Чтобы бежали, как крысы. А потом эту липкую жижу хлоркой посыпать и смыть водометами! Чтобы инфекции не осталось! Государство должно себя защищать! – Его скулы играли, губы издавали звук неистовой дудки.

Бекетов был поражен этой внезапной яростью, не свойственной благоразумным руководителям и технократам. Объяснял, почему невозможен расстрел демонстрантов.

– Ладно, – мотнул головой

директор. Было видно, что ответ его не устроил. И вопрос, который он задал, заслуживает другого ответа. — А почему вокруг Чегоданова шныряет вся эта сволочь? Почему он власть передал Стоцкому, а теперь назад ее отбирает? Почему он эту сволочь болотную к себе приглашает? Почему я должен на это смотреть и не плевать при этом? — В узких темных глазах директора горел злой монголоидный огонь, а славянский рот растягивался в волчью улыбку.

Бекетов чувствовал взрывную энергию, скопившуюся в страстной душе, опровергавшую утверждение об усталости русского человека, о его унылом смирении. Бекетов

осторожно объяснял директору сложность отношений Стоцкого и Чегоданова, который несвободен, связан путами с либералами, трудно от них избавляется.

— Ладно. — Директор мотнул головой, как бык, перебрасывая через себя негодный ответ Бекетова. — Тогда скажите, почему Чегоданов не придушит эту моль, которая весь его пиджак источила? Почему не приблизит к себе производителей, которые понимают, что есть государство, и служат этому государству, хотя оно, это самое государство, их лупит да лупит!

Не Бекетов обращал директора в

свою веру, а директор упрекал Бекетова в недостатке государственной воли.

— Почему, спрашиваю вас, Москва думает, что она всех умней, а в провинции живут дураки? Москва дурней всех, от нее вся зараза. Она с жиру бесится, ничего не производит, последний кусок у остальной России изо рта вынимает. Сибирь и Урал без Москвы проживут, а она без нас едва ли. Если так дальше будет, мы Новосибирск столицей России сделаем. А Москва пусть митингует, сколько ее на это хватит, посмотрим!

Директор всаживал в Бекетова свои вопросы, как пули, и Бекетов не знал, сколько еще этих пуль в

магазине. Он перестал отвечать, убедившись, что не ответы интересуют директора, а только сама возможность бить прицельно в близкий лоб собеседника.

— Ладно, а почему Чегоданов не скажет народу, что война на носу? У Китая армия готова к войне. У Турции готова. У Ирана готова. У НАТО готова. Только у России нет армии, нет оружия, нет обороны. Министр то ли вор, то ли пацифист. Пудрит мозги народу. Миру мир! А когда нас, как Ливию, будут бомбить, куда побежим? На Болотную?

Бекетов выдерживал эти «вопросы в лоб». Директор, упрекая Бекетова, упрекал Чегоданова,

упрекал государство. Не в бессердечии и бесчувствии, не в свирепости и бездушии, не в глухом равнодушии к стону «маленького человека». Он упрекал государство в слабости, в дурном раздвоении, в отсутствии воли, в забвении грозных заповедей, которые исповедовали бывшие цари и вожди, сберегая страну среди мятежей и нашествий. Директор боялся, что оскудение государственной воли даст выход смутным и яростным силам, которые вновь, как было недавно, ворвутся в цеха, сметут дорогие станки, рассекут на куски недостроенные самолеты, не позволят подняться в небо чудесной машине. И снова в

цах загуляет метель, и на рухнувших стапелях повиснет мятый обломок крыла. Бекетов был благодарен директору за эти злые упреки, за фиолетовый гнев в монголоидных глазах.

— Ладно, — продолжал директор. — А почему Чегоданов не выйдет к народу и не скажет: «Братья и сестры, спасайте страну!» Народ его услышит. Простит грехи, подтянет пояса, пойдет спасать государство. Наш народ — государственник, а не торговец, не лавочник. Пусть даст народу задание — построить страну, какой еще не бывало. Без воров, без насильников, без крючконосых банкиров, которые

жрут русскую душу и тело. Пусть даст чертеж государства, а мы, инженеры, построим ему любой звездолет, который взметнет Россию в Космос. Наш народ – не банкир, не адвокатишка. Народ – летчик, народ – космонавт!

Бекетов любил это яростное лицо, в котором играли все краски русской Евразии. Текли все реки, дули все ветры, голосили все языки. В этом лице не было усталости и уныния, а горела ненасытная жажда жить, строить города и заводы, пускать в небеса самолеты. Бекетов, утомленный в своих непосильных трудах, одинокий в своих радениях, оживал в соседстве с этим

неутомимым творцом. Его лицо было круглой чашей, в которой плескалась «живая» вода.

— Я вам скажу, почему мы на заводе поддержим Чегоданова, хотя ему далеко до настоящего лидера. Вы видели наш самолет? Видели, какой он красавец? А ведь его могло и не быть, если бы не Чегоданов. Когда мы воевали с грузинами и этот придурок, который жует свои галстуки, кинул танки на наших миротворцев в Цхинвале, наши самолеты плохо себя показали. Войска шли без воздушного прикрытия, потому что все наши машины были устаревшие, летающие мишени для грузинских ракет. А

грузин вооружили американцы, у них было оружие НАТО. И это оружие молотило наши самолеты, мы их потеряли добрый десяток, а результат никакой. Американцы хотели перебросить на грузинские аэродромы свои самолеты, и тогда бы уже была другая война. Что делать? Посылать на штурмовые удары всю оставшуюся авиацию? Вспомнили, что на полигоне уже несколько лет мусолят две наши машины Су-34. На вооружение не принимают, испытания затягивают. Но эти машины обладают всеми современными средствами радиоэлектронной борьбы, всеми средствами подавления ПВО

противника. Выбирать не приходится, да и не из чего. Кинули эти две машины на фронт вместе с летчиками-испытателями и нашими заводскими инженерами. Подняли эти сушки в небо. Они два раза прошли от Цхинвала до Тбилиси и обратно. Смели всю систему грузинской ПВО, подавили ракетами все радары, разбомбили взлетно-посадочную полосу под Тбилиси, так что ни один американский самолет не сядет. Разгромили авиаремонтные мастерские и попутно сожгли несколько танковых колонн. Вернулись невредимы, ни одной царапины. И войне конец. После войны, как водится, о наших

самолетах забыли. Опять тягомотина, опять министерская дурь. Приказ ремонтировать старые самолеты, латать старые портки. Так бы оно и тянулось, если бы Чегоданов своей волей не согнул дураков в министерстве. Наш завод получил заказ на сто боевых машин. Поэтому мы и живем. Насыщаем полки новой техникой. Завтра еще одну нашу птичку из гнезда выпускаем. — На лице директора больше не было гнева, а светилась тихая нежность. — Я вот что думаю, Андрей Алексеевич. Когда нам грузины накостиляли, мы очнулись, разгромили их и теперь запускаем лучший в мире фронтовой

бомбардировщик. Когда Градобоев накостыляет Чегоданову на Болотной площади, тот очнется, разгромит Градобоева и запустит звездолет Государства. Иначе не может быть.

Накормив Бекетова обедом, директор повел его в Дом культуры, где собрались представители общественности, члены объединений и партий, чтобы обсудить платформу, на которой сойдутся патриоты всех направлений, забудут на время распри и единым фронтом поддержат на выборах Чегоданова.

В зале с поблекшей лепниной, обветшалыми креслами, бронзовыми бра и огромной, с желтоватыми хрусталями, люстрой былолюдно.

Бекетова директор усадил за столом, на сцене, рядом с собой. Бекетов разглядывал пестрое собрание, среди которого виднелись казаки в крестах и погонах, старики ветераны с советскими наградами, несколько отставных генералов в советской форме, бородатые священники с крестами на серебряных цепях. Директор шепотом сказал, что в зале есть академики, писатели, журналисты, а также завсегда и подобных собраний, состарившиеся среди бесконечных, длящихся двадцать лет, митингов и демонстраций.

— Дорогие сограждане, — произнес в микрофон директор. —

Нам сейчас предстоит обсудить, с какими идеями и предложениями мы пойдем на президентские выборы и что пожелаем нашему кандидату Федору Федоровичу Чегоданову, чтобы он непременно победил на выборах.

Директор поведал о заслугах Чегоданова перед Россией в его первые президентские сроки. Осторожно порассуждал о трудностях нынешнего политического периода. Повторил известную Бекетову историю о Су-34 и о роли в этой истории Чегоданова. И предложил собранию присылать записки и высказываться.

Первым вышел на сцену

господин с седоватыми бакенбардами и пышными усами. На его груди красовалась лучистая звезда, напоминавшая ордена царских вельмож. И он сам своей величавой осанкой и благородным ликом был похож на императора Александра Второго.

— Господа, мы, разумеется, поддержим Федора Федоровича Чегоданова, но, прежде чем создавать единый народный фронт, я бы желал понять, с кем я образую этот самый единый фронт. Пускай в него входят коммунисты, но пусть они отрекутся от Ленина. Мы, монархисты, не можем сотрудничать с теми, кто возвеличивает цареубийцу,

восхваляет богохульника и святотатца, который приказал вешать священников, нанес страшный удар нашей матери, православной церкви, а значит, и всей России. Недаром Господь наслал на Россию Гитлера, чтобы покарать народ за богоотступничество. И по сей день гнев Господа на нас. Отрекитесь от своего кровавого вождя, господа коммунисты, и я подам вам руку! — Он эффектно показал залу свою белую большую ладонь, сверкнул лучистой звездой и сошел в зал.

На сцену поднялся худощавый человек, с утомленным, пепельного цвета, лицом. Мучительно улыбаясь, обратился в зал, туда, где мерцала

звезда предыдущего оратора:

— Я историк, а не богослов. Но позволю себе заметить моему коллеге, что удар большевиков по церкви можно рассматривать как кару Господа за прегрешения этой самой матушки-церкви. Потому что к началу XX века церковь потеряла огонь веры, стала сытой, тучной, равнодушной к народным бедам. Вспомните картину «Чаепитие в Мытищах» или «Крестный ход в Курской губернии». Народ отвернулся от церкви, без всякого сожаления закрывал храмы и сбрасывал колокола. И если следовать логике моего коллеги, то именно большевики вернули церкви

ее пламенную роль. Каждый убитый священник стал святомучеником, и сонм новомучеников вымолил у Бога победу над Гитлером. – Он сходил со сцены под ропот одних и аплодисменты других.

Слово взял священник, в облачении, с золотым крестом. У него была рыжая огненная борода, нежно-розовое лицо и бледные голубые глаза. Пока поднимался на сцену, крестился и что-то шептал, шевеля губами в дородной бороде:

– Братья и сестры, должен заметить, что убийство царя не было выражением социального протеста и, уж конечно, не может быть истолковано как проявление гнева

Господня по отношению к Государю Императору. Это было ритуальное убийство, совершенное глубинными врагами православия, которыми кишело сообщество большевиков. Поэтому мы и хотим, чтобы коммунисты покаялись в совершенном цареубийстве, осудили палачей, согласились с переименованием улиц, носящих имена палачей, и приняли участие во всенародном покаянии.

Его сменил молодой человек, который, сидя в первом ряду, записывал речи выступавших на диктофон. Он торопливо засовывал этот диктофон в карман куртки, когда шел на сцену.

— Я отвергаю обвинения в убийстве царя! Вернее, не отвергаю, но хочу справедливости! Хотя бы поровну! Царя предали иерархи церкви, когда он просился стать патриархом. Не приняли и отдали на растерзание. Предали члены царского дома, присягнули Временному правительству, ходили на митинги с красными бантами. Предали генералы, которые чуть не силой вырвали отречение. Покайтесь вы, батюшка, а потом и мы вслед за вами! А то с больной головы на здоровую! — И он сбежал со сцены, задыхаясь, продолжая что-то бормотать на ходу.

Бекетов жадно слушал, чувствуя,

как остро люди переживают события столетней давности. Как кровоточит рана, разрубившая русское время. Как этот разящий удар переносится из поколения в поколение, ссорит, продлевает бесконечную распрю, не дает народу обрести единство и целостность. И если ссыпать в общую могилу «красные» и «белые» кости, схоронить под крестом добровольцев Деникина и конников Буденного, то эти кости и в могиле будут рубиться шашками, и земля под крестом станет шевелиться и пучиться.

Выступал казак с лампасами, в портупее, с серебряными погонами, весь в крестах. У него было красное

лицо, голубые глаза и лихие усы, которые он энергично топорщил.

— А я согласен, когда говорят, что Ленин — предатель. А кто же он, если жировал в Швейцарии на германские деньги. Он, ваш Ленин, прикатил в Россию в немецком вагоне, разложил воюющую русскую армию, которая начала одерживать блистательные победы, и отдал Германии пол-России. Предатель, красная гадина! — Казак гневно топнул ногой, выкатив грудь с крестами, пошел в зал, и казаки из зала кричали ему: «Любо!»

Его место занял отставной полковник, в советской форме, в блеклых золотых погонах, с орденскими колодками. У него была

седая бородка, которая скрывала шрам на подбородке. Его руки, когда он говорил, мелко дрожали.

— Во-первых, господин казак, армию разложили не большевики, а эсеры, или, как их сегодня называют, либералы. Они требовали выбирать командиров. Ее разложили вороватые интенданты, которые поставляли на фронт сапоги с картонными подошвами, тухлое продовольствие и негорящий порох. Ее разложили бездарные царские генералы, которые не сумели организовать ни одного наступления. И сам царь, который отменял наступления по указке Гришки Распутина. А большевики создали боееспособную

Красную армию, которая разгромила белых и Антанту. Создали оборонные заводы, которые переломили хребет Гитлеру. Если бы, господин казак, Красной армией командовали царские генералы, мы бы сейчас говорили по-немецки.

Одна половина зала хлопала, другая улюлюкала. Директор, ведущий собрание, вынужден был успокаивать зал:

— Товарищи, тише! Господа, я вас очень прошу!

На сцену вбежал взволнованный юноша с маленьким двуглавым орлом на груди:

— Какая армия! Какая победоносная! Сталин проиграл

войну, когда миллионы солдат сдавались в плен, не желая воевать за большевиков! И только позже, когда народ понял, что решается судьба России, он начал по-настоящему воевать. Войну выиграли не комиссары, не Сталин, а русский народ, который еще помнил Святую Русь и был крещеный народ!

На него затопали, засвистели. Другие кричали: «Любо!», «Браво!». Кто-то встал и пошел из зала. Его останавливали, сажали на место. Раздавались крики: «Иуды!», «Сами вы иуды!», «Надоели попы!», «Красножопые недобитки!».

Бекетову казалось, что одна часть зала схватится с другой

врукопашную. И снова поведут на речные откосы пленных красноармейцев в нижнем белье и станут стрелять им в затылок. И вновь в золотые погоны пленников офицеров озверелые матросы станут вбивать гвозди. И закружит, завоюет, засверкает саблями, застрочит тачанками незавершенная Гражданская война, и брат пойдет с топором на брата.

Когда шум поутих и лишь качались беспокойные головы, топорщились казачьи усы и пестрели орденские колодки, на сцену поднялся тяжелый седовласый старик, величавым видом и надменным подбородком похожий на

камергера:

— Господа, оставьте свои сталинские заблуждения. Сталин ненавидел русский народ. Он зверски извел крестьянство — цвет русского народа. Он произнес в Георгиевском зале тост за русский народ, а потом, в узком кругу своих Кагановичей и Микоянов, сказал: «Пусть собаки жрут свою блевотину!» Сталин такой же русофоб, как и Ленин!

Все взорвалось. Свистели, аплодировали. Вскакивали на кресла. Кричали: «Врете!», «Провокатор!». Их перекрикивали другие: «Палачи!», «Людоеды!». Директор что-то беспомощно гудел в микрофон. Бекетов чувствовал, как

выплескиваются из зала фиолетовые языки ненависти, и хрустальная люстра темнела, как во время затмения. В этом зале, над головами неистовых людей, витали тени застреленных жертв и обласканных властью счастливцев. Замученных поэтов и достигших величия полководцев. Павших в боях и бежавших к врагу. Летевших в Космос и писавших подпольные книги. Эти тени сшибались, укоряли друг друга, продолжали чудовищную, длящуюся бесконечно распрю. Раскулаченные и приближенные к трону. Почившие в безымянных могилах и отлитые в бронзе. Проклинающие и обожающие.

Бекетов чувствовал кошмар русской истории, взрыв, разорвавший русское время, турбулентные вихри, терзающие русскую душу. Эти вихри швыряли из стороны в сторону самолет Русского государства, направляли его к земле, обрекали на крушение. И, чувствуя, как трещат и гнутся крылья, проваливаются рули, захлебывается двигатель, испытывая великую тоску, Бекетов вырвал микрофон из дрожащих рук директора. Надсадно, с металлическим свистом и рыком, выдохнул в зал:

— Разве мы не русские люди? Разве мало пролито русской крови? Неужели вновь станем веселить и

радовать врага, который ликует, наблюдая вековую русскую ссору? Быть может, очнемся у последней черты, перед тем как пасть Русскому государству? Обернемся все, красные, белые, лицом к врагу, который добивает Россию? Русские мы или нет?

Все это с хрипом, с металлическим стоном прокричал Бекетов, и зал умолк, услышав его истошный вопль. Директор завладел микрофоном:

— А сейчас слово предоставляется нашему московскому гостю, известному нам из прошлых лет, Андрею Алексеевичу Бекетову! — И директор

вернул Бекетову микрофон.

Бекетов, исполненный тоски и страдания, яростного несогласия и страстного порыва, дунул в микрофон, как дуют в трубу, скликая на бой растерзанное войско:

– Я не белый, не красный! Но я и белый, и красный! Потому что я русский! Во мне бушует эта красно-белая схватка, во мне лязгают сабли и строчат пулеметы. Мои предки уплывали из Крыма с последним пароходом. Мои предки сражались под Сталинградом и ломали хребет фашистам. Мы должны совершить непомерное усилие, громадный духовный подвиг, чтобы в каждом из нас случилось историческое

примирение, мистическое братание и наша рассеченная душа, наша взломанная история обрели единство и целостность. Смогли в своей целостности и полноте служить России!..

Он торопился, хотел успеть до того, как люди поднимутся, хлопая креслами, шаркая ногами, злобно выкрикивая, и покинут зал. Видел, как недовольно морщатся лица, отворачиваются головы, топорщатся фыркающие губы. Он их удерживал на местах своей волей и страстью, молитвенными упованиями и колдовскими заклинаниями. Он стягивал кровоточащие кромки враждующих эпох, вставал между

двумя беспощадными армиями, и в него вонзались пули, врубались клинки, а он стоял, изнемогая. Взывал к миру.

— Владыка Иоанн Снычев, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, великий православный подвижник, обращался к националистам и коммунистам и благословил их искать примирение. Сказал: «Мы русские, и да возлюбим друг друга!» Другой молитвенник, старец Троице-Сергиевской лавры иеромонах Филадельф, незадолго до трагического расстрела парламента принимал у себя в келье представителей белых и красных. Благословил их на совместные

деяния во имя Родины, над которой
витали либеральные нетопыри.
Удивительный священник,
блаженный и просветленный отец
Дмитрий Дудко, много потерпевший
от советской власти, говорил:
«Сталинские герои Зоя
Космодемьянская и Александр
Матросов, Виктор Талалихин и
двадцать восемь гвардейцев-
панфиловцев, «Молодая гвардия» и
генерал Карбышев — все это
святomученики. Они крестились
кровью, пролитой во имя Родины, их
лики будут написаны на иконах и на
стенах храмов». Прислушаемся к
духовному опыту этих отцов.
Прислушаемся к голосу нашей

измученной русской души,
требующей великого примирения!..

Он чувствовал, что в зале царило
угрюмое напряжение. Ему не
доверяли, его отвергали. Были
непонятны его патетические
призывы, его мучительные возгласы.
А он был тонким перешейком,
стягивающим континенты, которые
расползались. Был князем, которого
привязали к двум согнутым соснам.
Был телефонистом, сжимающим в
зубах рассеченный провод.

— Световод русской истории
разорван. Между царством
Романовых и империей Сталина —
разрыв, из которого хлещет, утекает
историческая энергия, и лишь малая

доля достигает наших дней, где чахнет росток нового Государства Российского. Остается без волшебной влаги, которая вскармливает этот росток, наращивает его листья и крону. Враг, разрушивший белое царство Романовых и «красную империю» Сталина, ликует. Вбивает клин в место разрыва. Не позволяет срастить время русской истории, и мы остаемся надорванным народом. Но мы соединим разорванный световод. Найдем стык, где русские патриоты заварят шов, прекратят бессмысленную трату драгоценных энергий!

Бекетов чувствовал тщету увещаний. Всю безнадежность

усилий, неспособных укротить свирепые вихри истории, одолеть ужасающий раскол, куда провалилась русская жизнь. Одиночка, он пытался управлять историей, выпрямить земную ось, заполнить своей немощной плотью жуткий провал, стянуть своей слабой волей обезумевшие осколки вселенной. Зал молча слушал. Не было ропота и насмешек. Казалось, люди окаменели и в каждом застыли сомнения, упрямое несогласие, непрощенные обиды. Бекетов направлял в окаменелый зал огненный луч, исходящий из сердца, стремился расплавить камни.

— Где тот загадочный стык, на

котором таинственный сварщик заварит свой «золотой» шов? Царь-мученик Николай Второй, последний император белой империи. И Иосиф Сталин — первый «император» «красной империи». Один передал другому заветную лампаду, в которой не умер благодатный огонь пасхального воскрешения. Царь был оставлен всеми, даже самыми близкими, даже церковью и членами царского рода, и взошел на голгофу. Сталин убил палачей царя. Собрал воедино империю. Вернул в культуру Пушкина — величайшего имперского гения. Восстановил алтари. Одержал мистическую Победу, которая была религиозным торжеством

светоносных сил мироздания, победой над космической тьмой. Этой мистической победой Сталин соединился с Небесами, стал помазанником. Был коронован силой небесной!..

Бекетову казалось, его усилия не напрасны. Он соединил волшебный световод русской истории, срастил разорванный стебель русского времени. Его отец, воевавший в сиреневых предгорьях Кандагара, его дед, погибший в степях Сталинграда под жестокими зимними звездами, его прадед, в рыжих горах под Карсом открывший из горных орудий огонь по турецкой пехоте. Все они схватились за руки, летели в этом

сияющем световоде, несли в
сегодняшнее время благую весть.

— Были страшные гонения на
церковь, убийства священников,
торжествующее богохульство,
проповедь безбожия. И это позволяет
называть «красный век» веком
богоотверженных. Но так ли? Война
и Победа опровергают это. С первых
же дней Отечественная война стала
называться «священной войной». А
Победа, которую сегодняшняя наша
церковь празднует, как религиозный
праздник, — Победа тоже священная.
Войска, которые добились
священной Победы, — взводы, роты и
батальоны, полки, дивизии, армии, —
они тоже священные. Командиры

полков и батальонов, дивизий и армий окружены ореолом святости. Верховный главнокомандующий, генералиссимус, который вел армию к Победе, он окружен нимбом святости. Тридцать миллионов погибших на этой войне – это святая жертва, соизмеримая с жертвой Христовой. Потому что народ сражался не просто за свои очаги и нивы, не только за свою ненаглядную Родину. Он сражался с космической тьмой, которая стремилась отвергнуть космический Свет, перечеркнуть план, по которому Господь сотворил мироздание. Так было и во времена Христа. В те времена, чтобы одолеть эту

космическую тьму, Господь принес великую жертву, отдал на распятие Своего Сына. Теперь же потребовались жизни тридцати миллионов советских, русских людей, которые пали на войне, спасая мир от тьмы. Эти тридцать миллионов – коллективный Христос, Божественный агнец. Вот почему на стороне Красной армии были святомученики, молившие о Победе, ангелы, летящие впереди наступающих полков.

Вот почему лик Сталина, одержавшего вместе со святым народом святую Победу, окружен сияющим золотом!..

Его слушали, не кричали

«Любо!», не проклинали, не аплодировали. Но не было в зале каменных истуканов. Луч, исходящий из сердца, согрел, осветил людей. В лицах исчезло ожесточение, улетучилась ненависть. И Бекетов, ощутив усталость, истратив в этой проповеди весь запас душевных сил, уже не в микрофон, уже без железного рокота, произнес:

– Союз красных и белых был скреплен кровью святомучеников Священной войны. Это и есть огненный стык, в котором соединился разорванный световод русской истории. Наши нынешние распри умолкают, когда просветленным молитвенным взором

мы видим золотую икону Великой Победы. Мы – ее дети и внуки.

Ему негромко хлопали, кивали. Директор обратился в зал с просьбой не расходиться, ибо предстояло выступление хора местной филармонии.

Многолюдный хор вышел на сцену, мужчины в черном, в белых манишках. Женщины в длинных малиновых платьях. Встали стеной, женщины впереди, мужчины сзади. Когда успокоился ропот в зале и высокая люстра освещала притихшие лица, хор запел. Слово из заречных лугов, из вечерних малиновых вод, нежно и тихо донеслось: «Вечерний звон, вечерний звон, как много дум

наводит он». Эти возвышенные и печальные звуки сладко коснулись душ, в которых тут же умолкли гневные страсти, неутоленные боли, неотпущенные вины. Словно ангел полетел над вечерними холмами, притихшими нивами, далекими посадками с золотом колокольни. И ты идешь по дороге, окруженный этой мирной благодатью, и чья-то оброненная красная ленточка лежит в пыли. Тебе кажется, что ты уже шел однажды по этой дороге в какой-то родной, милый сердцу город, где на открытой веранде ждут тебя любимые люди. Дым самовара, вазочка с черничным вареньем, та самая, что стояла в бабушкином

старом буфете. И все обратили глаза на дорогу, по которой приближается к ним ненаглядный гость. И летят из лугов звуки далекого колокола.

Хор умолк, и несколько мгновений зал зачарованно молчал, объятый сладкой печалью. А потом наградил певцов жаркими овациями.

Улеглось волнение. В тишине было слышно, как нащупывает первую ноту хор. А потом зарокотали басы, в них вплелись чудесные женские голоса. Возвышаясь над всеми звуками, волшебно чистый, дивно пленительный голос запел: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат. Пусть солдаты немного поспят». Мучительная сладость, и

женственность, и бесконечная нежность тронули сердца, которые откликнулись обожанием на эту мольбу, упование на чудо, на избавление от мук. Летел над весенними рощами, лесными прудами, цветущей черемухой бесшумный ангел, ронял из неба чистейший звук. И ты снова идешь все по той же вечерней дороге, в заплечном мешке гремит походная кружка. Ты замер у края леса, где в сумерках белеют березы. Слушаешь вещую птицу, которая воспевает эту дивную землю. Такое счастье родиться на этой земле и сойти в нее, совершив завещанный путь!

Зал, умиленный, благодарный,

аплодировал. Бекетов изумлялся этим русским песнопениям, которые льются из века в век. Неподвластны бедам и войнам, одухотворяют сердца, сберегают в них великую нежность, упование на чудо, на избежание смерти.

Хор подождал, пока не смолкнут аплодисменты. Дрогнул, колыхнулся, как лес под порывом ветра, и, распрямляясь, исполненный глубинной силы и свежести, запел «Прощание славянки». Зал восторженно ожил, потянулся навстречу певцам. Могуче, громогласно хор воззвал: «Встань за веру, Русская земля!» Зал приподнялся, все как один. Стоя,

воодушевленно, блестя глазами, люди вторили хору, готовые идти на зов, на священный бой, за любимую, ненаглядную Родину.

Бекетов стоял, слыша, как ликует сердце, сколько в нем веры, любви. Как неразрывно он связан с этими незнакомыми, но родными людьми. С рыжебородым священником. С болезненным седовласым историком. С ветераном-орденоносцем. С усатым казаком. И когда умолк православный марш и зал неохотно усаживался, в воздухе все сияли отблески удалявшихся штыков, золотое шитье знамен, слышался колесный стук батарей.

Хор молчал, провожая

отлетающий звук. И в этой таинственной тишине что-то вновь приближалось, бурно налетало, ошеломяло своей неистовой силой. «Горит в сердцах у нас любовь к земле родимой, идем на смертный бой за честь родной страны». И как ослепительный свет, как ликующий порыв, как радостное преображение: «Артиллеристы, Сталин дал приказ. Артиллеристы, зовет Отчизна нас. Из сотен тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу Родину — огонь, огонь!» Все встали в едином порыве, все пели в счастливом упоении. Все верили, что близок конец унижениям, грядет очистительное возмездие за все муки и поношения,

народ неодолим и бессмертен, ибо у него есть Божественное предначертание, есть великая судьба и Победа.

Бекетов пел со всеми. Встречался глазами с монархистом, который радостно открывал поющий рот. С казаком, который молодецки подкручивал ус. С рыжебородым священником, чей рокочущий бас катался над рядами, как гром.

Покидая зал, Бекетов думал, что проповедь его не напрасна, что бриллиант победной Звезды никогда не померкнет, что это и есть немеркнувший бриллиант Государства Российского.

Наутро он вновь пришел на

завод. Штурмовик, освобожденный от стремянок, стоял перед закрытыми воротами цеха. Остроносый, пластичный, золотистый, он был окружен сиянием, беззвучно трепетал, стремился на волю, в небо. У самолета собрались рабочие в касках, ветераны с орденскими колодками. Знакомый рыжебородый священник читал молебен, брызгал святой водой на фюзеляж, стреловидные крылья, на кабину, на скорострельные пушки. Директор произнес напутственную речь.

Медленно растворились ворота. Пахнуло морозом, сверкнули снега, брызнула синева. Тягач вывел

самолет из цеха под солнце, и все
шли следом, провожали машину.

Зазвенело, пахнуло жаром, за
хвостом затрепетал стеклянный
воздух. Машина, качая закрылками,
покатилась. Удалилась на край поля,
и оттуда раздался рев, могучий
грохот и свист. Бомбардировщик
пробежал и взлетел, исчезая в небе,
накрывая снега шатром прозрачного
звука. Невидимый, летел над
Сибирью, и люди прижимали ко лбу
ладони, искали его в голубой
бесконечности.

ГЛАВА 27

Елена пребывала в муке. Тьма окружала ее. Сочилась сквозь нарядные фасады, туманила огненные иероглифы реклам, пряталась за белыми колоннами особняков, скапливалась под тусклым золотом куполов. В городе, среди роскошных ресторанов, дорогих магазинов, благолепных монастырей готовилось убийство. Елена вспоминала, как хрустели пальцы Градобоева, когда он рассказывал о «Марше миллионов», о походе на Кремль. Каким безумным и восторженным было его лицо, когда он говорил о пролитии крови.

Как жестоко, по-волчьи, он улыбался, когда называл историю «кровавой дамой». Как дрожали его белки и стекала с губ слюна, когда он мял ее, больно давил, прожигал раскаленным семенем. И в ней завязывался черный плод, уродливый зародыш. Жуткая тайна, которой она теперь обладала.

Она по-прежнему занималась хлопотами, встречалась с журналистами, следила за безумными выходами Интернета. Но когда, в кружении по городу, вдруг открывался розовый Кремль с каплями рубиновой крови, она чувствовала, как скапливается за кремлевскими стенами мгла. Мгла

была в Кремле, в ней самой, повсюду.

Она ехала по Фрунзенской набережной, от Лужников, вдоль Москвы-реки. Лед был изъеден промоинами, хрустальный мост перелетал к лесистой горе Нескучного сада, темнела громада военного штаба. Елена увидела, как по набережной, вдоль парапета, выстроилась бесконечная вереница людей. Терпеливая очередь тянулась к невидимой цели. Голова этой очереди скрывалась в морозном тумане. Ее хвост непрерывно нарастал, подходили люди, в одиночку, группами. Подкатывали автобусы, пассажиры высыпали на снег и пристраивались к веренице,

удлиняя ее. Елене показался странным этот живой, растущий стебель. Была непонятна сила, заставлявшая людей покидать теплые автобусы и вставать в зыбкую очередь.

Она притормозила машину, опустила стекло, спросила женщину, укутанную в теплый платок:

– Простите, куда люди стоят?

Женщина, с готовностью, словно торопилась поделиться с Еленой радостью, ответила:

– Пояс Богородицы привезли с Афона в храм Христа. Хотим поклониться. И вы вставайте.

Елена, глядя на немолодое, с улыбкой лицо, вдруг захотела

оказаться среди этих людей, терпеливо ожидавших волшебную встречу, в предвкушении чуда, которое им уготовано. Она покинула машину и встала в очередь, не долго оставаясь последней. Подкатил автобус, из него выходили люди, и уже за Еленой волновалась, росла, струилась вдоль набережной живая вереница.

Елена чувствовала себя клеточкой в этом живом растущем стебле. Через нее текли невидимые силы, питали соседние клетки. Она была необходима, без нее невозможен был рост. Она существовала как часть этой общей загадочной жизни, в которой

растворялась ее отдельная душа, кончалось ее одиночество, находили успокоение ее страхи.

Вереница медленно двигалась в туманных сумерках. Остался позади хрустальный мост. По другую сторону реки, как фантастическая мучнистая бабочка, белел челнок «Буран». Играла музыка аттракционов. Ошалело вспыхивали огнями, носились вагончики на американских горках.

Елена всматривалась в соседние лица, вслушивалась в разговоры.

— У меня сынок болеет, восемь лет. Рак крови. Бледный и в обморок падает. Как я его не лечила! Ко всем врачам, по всем больницам. На

лекарства все деньги спустила. Обручальное кольцо продала. Кровь ему вливали, операции делали. Он все терпел, только силеночки тают. «Мама, я не хочу умирать». Вот пришла Богородицу умолять. Может, явит чудо и мой Коленька выздоровеет.

Это говорила молодая, очень худая женщина с тонким изможденным лицом, на котором слезно мерцали черные умоляющие глаза. Елена задохнулась от боли. Чужое страдание хлынуло в нее, и ей захотелось прижать к себе эту измученную женщину, поделиться с ней своей молодостью и здоровьем. Чтобы чудо, которое их ожидало,

принесло исцеление сыну, вернуло ей свежесть и красоту.

Ей вторила печальная соседка, в тощем пальто и грубых башмаках. Прижала к выцветшим губам палец, словно запрещала себе говорить:

— У меня муж пьет, по-черному. Все из дома унес, мою шубу пропил. «Сева, что же ты делаешь? Ты же такой хороший был, работающий, так мы с тобой хорошо жили. Отстань от пьянства». А он с ножом на меня кидается: «Убью! Ненавижу!» В милицию его сдавала. Из дома уходила. Колдуна к нему приводила. Не помогает. Весь распух, сосуды в глазах лопнули. Страшный. Раз очнулся, зовет ночью: «Клава, как я

тебя измучил. Хоть бы мне умереть». Вот теперь последняя надежда, пояс Богородицы. Может, она его своим пояском опояшет и он пить перестанет.

И такое в ней было смирение, такая усталость. Последняя надежда, которая держит еще на земле. И если ее не станет, то опустится черная плита, под которой скроется навсегда ее загубленная жизнь, ее мимолетная молодость, ее краткая любовь. Елена чувствовала, как приближается сверху эта черная непомерная тяжесть, которую удерживал от падения хрупкий поясочек Богородицы.

— А у нас несчастье такое, дочь ушла из дома. — Это говорил высокий

сутулый мужчина с большим лицом, в котором еще держалось властное выражение, поколебленное и размытое горем. — Да, дочь, говорю, ушла. Такая красивая, умная, добрая. На артистку училась. Связалась с наркоманом, сама колоться стала. «Папа, мама, — говорит, — я для вас одно несчастье. Уйду». И ушла, а куда — не знаем. В милицию заявляли, справки наводили, по всем этим ее компаниям ходили, — без следа! Думаю, может, Богородица подскажет, где наша Верочка. Жива или нет. Только б жива была. Может, поездит по свету и к нам воротится. Как бы мы ей рады были!

— А у нас все в семье хорошо. —

Это сказала полная, румяная женщина в меховой шубе, в дорогом платке, с лицом кустодиевской замоскворецкой красавицы. — Муж зарабатывает. Квартира большая. Дача. Старший сын на архитектора учится. Дочь на журналистку. Живем дружно, полная чаша. А я боюсь. Вдруг все сломается. Болезнь, или несчастный случай, или теракт какой-нибудь, и нас заденет. Иду помолиться Богородице, чтобы она нашу семью своим поясом окружила и зло не пустила.

Елена чувствовала свое сердечное родство с этими людьми. Они встали в долгую очередь за небесным подаянием, которое

ниспослано им через страдание, веру, последнюю надежду. Все они, русские люди, в своем долготерпении, вытянулись в длинную вереницу, которая пролегла к Белому храму с драгоценной святыней. Исходила из мглистых полей, одолевала реки и горы, окружала города и деревни, опоясывала Россию. Была тем поясом Богородицы, что сберегал многострадальную Родину.

Очередь медленно двигалась. Уже нависал над ней Крымский мост, стальной, гудящий. Железные тяги опускались из низких туч, держали мост над рекой. Цветные прожекторы озаряли фермы. Мост в

разноцветных переливах,
чешуйчатый, в ядовитых спектрах,
был похож на дракона. Очередь
тянулась под мостом, под его
грохочущим туловом. Кое-где горели
хрупкие свечки, люди держали в
руках иконки. Елена чувствовала
перекрестье этих двух движений —
моста с его слепыми вихрями и
железным гулом и людской вереницы
с кроткими огоньками свечей, чуть
слышными песнопениями. На мосту
несся поток, в котором протекала ее
повседневная жизнь, исполненная
страстей, противоречий, дурных
предчувствий и страхов. Здесь же, в
этой зыбкой людской веренице,
струилось ее тайное бытие, о

котором она почти ничего не знала, оглушенная грохотом и сверканием. Но вот загорелась робкая свечечка, озарилось чье-то родное, с заплаканными глазами лицо, и это тайное бытие воскресло, она полна любви, благодарности, сострадания. Как и все, кто стоит с нею рядом, она ожидает чуда, ожидает избавления от мучительной смуты, среди которой мечется ее беспомощная душа. Елена медленно проходила под мостом, пропуская над головой ядовитые спектры. Тянулась за огоньками свечей, за деревянной иконкой, за белой бумажной розой.

Женщина подкатила тележку, предлагала горячий чай, бутерброды

с сыром:

— Согрейтесь, милые.

Угощайтесь, чем Бог послал.

Елена принимала стаканчик с горячим чаем, смотрела в немолодое, с лучистыми глазами лицо, в которых светила радость. Словно этот стаканчик был послан самой Богородицей. Все, кто принимал этот дар, были братья и сестры. Помогали друг другу. Были любящей сердобольной семьей. Были единым народом.

Мимо шел священник. Развевался его подрясник. Стучали тяжелые башмаки. Торчала заиндевелая борода. Курчавился поношенный тулупчик. Колом стояла

высокая шапка. К нему выходили под благословение. Он останавливался, подставлял под поцелуй большую крестьянскую руку.

— Благословите, батюшка, — уже в спину священнику произнесла Елена. Тот вернулся, положил тяжелую руку на ее ладони. Целуя, она чувствовала исходящий от священника слабый запах дыма, елея и еще чего-то, что он принес с собой в Москву из далекого сельского прихода. Из метелей, пурги, желтых огней убогого храма.

Она вдруг вспомнила, как в детстве катилась на велосипеде по мягкой пыльной дороге. Впереди, в чистом поле, стояла сосна. Она

приближалась к сосне и ощутила внезапное ликование, приближение небывалого счастья. Оставила велосипед на обочине, пошла к дереву, видя, как стеклянно светится хвоя, как ярким золотом наливается ствол. Когда приблизилась, из дерева вылетела птица, розовая, золотая, зеленая, с лазурными крыльями, с бриллиантовым хохолком. Улетела, оставив на всю жизнь ощущение дивной загадки, восхитительной сладости, свидания с чудом.

Еще вспомнила, как девушкой шла по зимней улочке родного городка и из форточки деревянного дома донеслись звуки рояля. Хлынули чисто, как волшебная влага.

Оросили сугробы, корявые липы, покосившиеся заборы, щербатую стену магазина. И от этих пленительных звуков случилось преобразование. На кирпичной стене магазина проступила старинная надпись. На ржавом кресте колокольни засверкали золотые крупницы. На зимнем замерзшем дереве задышали живые почки. На лице проходившей старухи открылась былая красота. А она сама испытала небывалое счастье. Позже она хотела узнать, кто так чудно играл на рояле. Но в деревянном домике не было никакого рояля, и природа волшебных звуков осталась для нее неразгаданной.

Вереница приближалась к собору. Храм Христа возник в сумерках, белый, грандиозный, с голубыми тенями на стенах, с ночным пылающим солнцем купола. Кругом мерцали вспышки полицейских машин. Постовые перекрыли набережную. Очередь, как непрерывная нить, исчезала в дверях собора, словно внутри, невидимый, вращался клубок.

Она вдруг подумала о Градобоеве и Бекетове. О мучительной путанице поступков и чувств, в которых она заплутала и в которых присутствовало что-то болезненное, нечистое, виной которому была она сама. Два одержимых

страстями человека тянули ее в разные стороны, и эта раздвоенность была безрадостной и постыдной, разрушала ее, вела к ужасающим, еще неясным последствиям. Приближаясь к собору, к его золотому ночному солнцу, она молила, чтобы распались путы, исчезла постыдная двойственность, не сбылись ужасные предчувствия.

С мороза и тьмы она вошла в сияющий храм. Белое пространство было наполнено золотом, росписями, кострами свечей, сладкими дымами. Рокотали басы, струились женские песнопения, которые вдруг замирали, и раздавался одинокий, похожий на

раскаты грома голос. Стеной стояли священники в фиолетовых клобуках и сверкающих митрах, их одеяния отливали голубым серебром и солнечным золотом. Людская вереница текла мимо них к возвышению с парчовым покрывалом, на котором стоял серебряный ларец. Люди крестились, поднимались на приступку, припадали к застекленному ларцу. Прижимались лбом, целовали, отступали. Их лица светились, они не хотели уходить, но их теснили другие. И снова поклоны, крестные знамения, поцелуи.

У Елены сладко туманились глаза от голубых дымов, от медовых

голосов, от плывущих лампад, которые превращались в пернатые кресты, в лучистые звезды. Елена, шаг за шагом приближаясь к ларцу, пугалась. Видела, как трепещет вокруг ларца воздух, как витает над ним таинственная лучезарная жизнь. Вспоминала маму, воскресшую в этом лучистом пространстве. Лицо отца, который проплыл, исчезая в царских вратах. Градобоева с тем редким, наивным выражением, с каким иногда смотрел на нее. Бекетова, чьи глаза вдруг останавливались, наполнялись таинственным светом, словно он видел далекое, встающее над лесом облако.

Теперь и ей выпало подняться на ступеньку, наклониться над серебряным ларцом. Под стеклом, среди драгоценных камней, она увидела выцветшую ленту, когда-то обнимавшую бедра и живот Богородицы. И вдруг ощутила легкое сжатие своего живота и бедер, словно пояс оказался на ней, и она, опоясанная, замерла от счастья. Не верила в чудесный подарок. Только и сказала: «Люблю», медленно отступая от ларца, продолжая касаться пальцами его серебряной стенки.

Умиленная, радостная, она шла к выходу из храма мимо священников в фиолетовых клобуках. Услышала за спиной крики, визги. Оглянулась. В

храм, расталкивая богомольцев, выдираясь из рук служителей, вбежали три девушки, босоногие, в трусиках, с голой грудью, с лицами, раскрашенными яркой краской. Они подпрыгивали, трясли распущенными волосами, проскакали мимо священного ларца. От них отпрянула стена поющих священников. От их шальных скачков колыхнулись свечи в подсвечниках. Гибкие, цепкие, неистовые, как молодые ведьмы, девушки закружились в храме, взмахивали руками, выбрасывали вперед голые ноги. Пели:

Мы безумные мартышки,
У нас бритые подмышки.
Мы проворны и ловки,
У нас бритые лобки.

Богородица, проснись,
Чегодановым займись.
Повстречай его в леске
И повесь на пояске.

На них набегали служители.
Кто-то из богомольцев хватал их за
руки. Они вырывались, визжали,
хохотали. Елена видела их блестящие
зубы, раскрашенные лица, голые
подскакивающие ноги. Их вытащили

из храма. Охранники окружили стеной святыню, оттеснили очередь. Пение смолкло. В храме стоял нестройный ропот смятения и ужаса. Елене казалось, что в воздухе повисла мгла и витали кольца желтого дыма.

Угнетенная, Елена шла по Остоженке к месту, где оставила машину. В храм ворвалась панк-группа «Бешеные мартышки», которая участвовала в протестных маршах и митингах. Теперь же чьей-то злокозненной волей была направлена в храм, где совершила святотатство. Елена чувствовала свою неявную причастность к этой скверной выходке. И в душе, где

недавно царила тихая радость, теперь опять были смута, страх, предчувствие близкой беды.

Рядом с ней затормозил огромный черно-стеклянный автомобиль. Стекло опустилось, и Елена увидела красивое женское лицо, ворот норковой шубы, бриллиантовые серьги и сверкающие темные глаза.

– Вы Елена Булавина? Прошу вас, садитесь.

Дверца приоткрылась, и Елена, повинувшись сверкающим зовущим глазам, села в автомобиль, рядом с женщиной. Женщина источала силу, свежесть, запах духов, благоухание дорогого меха.

— Меня зовут Клара. Мы мельком встречались в Кремле, когда там работал господин Бекетов. — Женщина вела машину, и Елена видела на руле ее холеные, в перстнях руки. — Я хотела вас повидать. И, видите, случай помог. Мы живем в ужасное время. И вы, и я, мы вовлечены в чудовищные игры, которыми тешут себя мужчины. Желая друг друга уничтожить, они уничтожают нас, надеясь таким образом подорвать соперника. Я присутствовала при одном разговоре, из которого поняла, что вам грозит опасность. Господина Градобоева, с которым вы, по всей видимости, очень близки, хотят остановить,

причинив вред вам. Господин Чегоданов отверг этот гнусный план. Но господин Божок иногда действует по собственному усмотрению. Вам нужно уехать. Нужно бросить все и уехать, чтобы за вами вырос непролазный лес, выпал непроходимый снег и ваших следов не нашла ни одна ищейка. Поверьте моему предчувствию. Идите вслед за птицей, которая в детстве вылетела из сосны. Идите вслед за музыкой, которая звучала из форточки заснеженного особняка. Они вас зовут. Бегите!

Машина остановилась. Елена, не сказав ни слова в ответ, вышла в сверкание морозного вечера. Джип

исчез, как видение.

ГЛАВА 28

Из Новосибирска Бекетов полетел в Волгоград, где его ожидали встречи с директорами оборонных заводов. Он хотел заручиться поддержкой технократов на предстоящих президентских выборах. Но помимо этой очевидной политической цели была и другая, потаенная, личная. Под Сталинградом в сорок третьем году, в ночь на Рождество, погиб его дед, тридцати трех лет от роду. Всю свою жизнь, с самой юности, Бекетов собирался отправиться в заволжскую степь, к хутору Бабуркин, где замыкалось кольцо Сталинградского

и Донского фронтов и армия Паулюса, выдираясь из мешка, шла на прорыв. Размыкала смертельный обруч. А ее вновь заталкивали в стальной мешок. Посылали в бой штрафные батальоны. В одном из них сражался и погиб дед. И теперь он собирался исполнить обет, отыскать этот хутор Бабуркин, взять горсть земли, в которой присутствовал предсмертный вздох деда. Отвезти эту горсть на могилу бабушки, которая семьдесят лет прожила вдовой, ожидая неисполнимой слезной мечты – чудесной встречи.

Он прилетел в Волгоград в морозный солнечный день и отправился на заводы. На одном

наблюдал, как из громадного стального слитка вытачивают корпус атомного реактора для новой подводной лодки. С могучим неторопливым упорством вращался карусельный станок, срезая белую стружку. И в этом кружении рождался образ подводной громады, бесшумно рассекающей океанские толщи.

На другом заводе ему показали тяжеловесные машины, начиненные электроникой, управляющие полетом ракет. Эти стремительные ракеты полетят навстречу баллистическим ракетам противника, перехватят их высоко над землей и взорвут. И на землю осыпятся растерзанные

ЛОХМОТЯ.

Бекетов говорил с инженерами, убеждал, вовлекал в свой замысел. Одолевал их недоверие, осторожное сопротивление. Объяснял технологии «оранжевой» революции, перед которой бессильны ракеты и лодки. Без единого выстрела она сожжет государство.

Его слушали, соглашались, обещали поддержать Чегоданова. Утомленный переговорами, опустошенный изнурительной ролью проповедника, Бекетов покинул общество инженеров и один, без провожатых, отправился в город.

Он медленно брел по улицам, пересекал площади, рассматривал

вывески магазинов, рекламы, витрины. Был окружен рокотом, гудками, людской толкотней. Город казался обыденным, скучным, лишенным единого архитектурного замысла. Эта незавершенность, несобранность рождала чувство, что среди видимых площадей и улиц таится другой, невидимый город. Не Волгоград, а исчезнувший Сталинград, что был истреблен налетами немецкой авиации, свирепыми уличными боями. Город-призрак с хороводом алебастровых пионеров.

Бекетову казалось, что нынешний город был скромной маской, надетой на другое, огненное

лицо. И эти милovidные девушки, обогнавшие его. И тучный старик, выходявший из магазина. Пролетевшая мимо полицейская машина в фиолетовых вспышках. Ресторанная вывеска с большой деревянной ложкой. Все эти обыденные детали не могли скрыть того грандиозного, непомерного и кровавого, что носило имя Сталинград. Того жуткого трясения, от которого содрогалась целиком вся планета. Той схватки, в которой сошлись не армии, не народы, а космические силы. Одна из этих сил стремилась отменить план, по которому Бог сотворил мир. А другая, обливаясь кровью, охваченная

пламенем, отстаивала Божественный план. Здесь, в Сталинграде,гнулась ось мироздания, гибли одна за другой дивизии, пока эта ось не выпрямилась. В Сталинграде, а не в Берлине была одержана мистическая Победа. Здесь стали рушиться и отступать несметные силы тьмы, в которые вонзались ослепительные силы света. Его дед, штрафник, умирая в заволжской степи, был Победоносцем.

Бекетов гадал, мог ли дед, проходя через город в составе воинской части, видеть эту белую, сверкнувшую за домами Волгу, это морозное, с белым солнцем небо, по которому летела стая галок. На

мгновение ему показалось, что дед смотрит на пролетающих птиц его глазами, дед выдыхает из горячего рта облако пара, сквозь которое белеет Волга.

Среди зданий и проводов, дорожных знаков и отблесков солнца ему чудилась непостижимая тайна места, на котором сошлись в космической битве силы мироздания. Неслучайность этого места, где находилось невидимое сердце мира. Это сердце чувствовал Гитлер, — отвернул свои армии от Москвы и направил их в Сталинград. Это сердце чувствовал Сталин, — бросил весь ресурс государства, всю живую силу народа, всю энергию

русской истории на защиту
священного места. Таинственное
сердце продолжало биться.
Продолжали дышать сердца
погибших русских солдат.
Продолжало дышать сердце деда.
Бекетов шел, не умея разгадать эту
тайну, испытывал благоговение.

Внезапно перед ним предстал
Мамаев курган. Вся гора от Волги до
вершины была уставлена
скульптурами, восходила ступенями,
изрезана барельефами. Среди них
трепетал оранжевый факел, который
сжимала рука, протянутая из-под
земли. Курган венчала громадная, до
небес, женщина с мечом в руке,
которая беззвучно кричала, поднимая

в атаку огромную страну. На острие
меча сверкало солнце, словно
небесный луч соединял курган с
высшими силами, указывал на
священное место, где билось сердце
мира.

Бекетов смотрел на курган, в
котором остановилось время,
замерли в небе пикирующие
самолеты, застыли в воздухе снаряды
и пули, оцепенели идущие в атаку
батальоны. И только факел трепетал
оранжевым пламенем, и напряглась
выходящая из-под земли рука.

Бекетов охватывал взором
грандиозный монумент. Испытывал
священное благоговение,
молитвенное воодушевление. Перед

ним был храм, соединяющий Волгу – реку русского времени – с небом, в котором витали духи Света, мистические ангелы Победы. Женщина на холме была Родина, Богородица, Мать, богиня Победы. У ног ее пылала лампада бессмертия. Это ощущение храма, в котором нашли успокоение души убитых солдат, ощущение таинственного и священного места, где находилось сердце мира, ощущение того, что где-то здесь, в морозном кристаллическом воздухе, реет душа деда, – все это было так остро и достоверно, что Бекетов снял шапку, поклонился и двинулся вверх по ступеням. Чувствовал, как оmyвает

его русское время и замерзшая Волга окружает своим сиянием.

Он поднимался по ступеням, и каждая ступень увеличивала в нем благоговение. Его звала к себе великанша и солнечный луч на ее мече. Его звала Победа, которая была одержана дедом. И та Победа, что еще предстояло одержать ему самому. Вдоль ступеней высились громадные, отлитые из бетона скульптуры. Раненный смертельно моряк повис на плече товарища, и оба они стремились в атаку. Убитый пехотинец припал к живому другу, и два их автомата продолжали бить по врагу. Эти парные скульптуры изображали расу великанов, которые

одержали космическую Победу, и в каждом лице, из бетонных углов и граней, ему чудилось лицо деда, угадывались черты фамильного сходства.

Он прошел мимо факела, слыша немолкнувший гул огня. Ощутил лицом волну жара. Оказался в циркульном зале, где по стенам золотой смальтой были выложены бесчисленные имена павших героев. Этот поминальный список казался золотой рябью от налетевшего ветра. Этот ветер продолжал дуть из необъятных миров, и Бекетов, отыскивая на стене имя деда, чувствовал этот ветер мироздания. Его глаза туманились от слез, и

поминальная скрижаль превратилась в золотые ручки. Он плакал, молился, каялся, испытывал вину перед дедом. Благоговел перед ним, успевшим бросить в будущее стебель, на котором выросла его, Бекетова, жизнь.

Его душа росла, его бессловесная молитва взывала к воскрешению тех, кто пал, пробитый пулей, оглушенный взрывом, рассеченный осколком. Он молил всемогущую великаншу пустить его к деду, в то последнее сражение, когда штрафной батальон бросался в атаку, замыкая кольцо окружения, и дед, чей томик стихов Пастернака сохранился на книжной полке, чья

крохотная фотография в
лейтенантском мундире сберегалась
в семейном альбоме, — дед бежал по
снегу навстречу огненным
вспышкам.

Бекетов сквозь золотое облако
слез ступил в пространство храма,
расписанное художниками-
баталистами. Панорама
Сталинградской битвы была
громадной фреской, на которой
сливались воедино бесчисленные
эпизоды сражения. Блестела тусклая
Волга. На баржах и баркасах
перебрасывались в город войска.
Пикировали самолеты с крестами.
Взметались фонтаны воды и огня.
Скрежетали немецкие танки, и

матрос с гранатой в руке метнулся под гусеницы. Сшиблись в рукопашной, и солдат, пронзенный немецким штыком, успел вонзить в своего убийцу десантный нож. Руина дома, охваченная дымом и пламенем, огрызалась пулеметным огнем, и в проеме окна виднелся солдат с кровавым бинтом на лбу.

Вся огромная фреска грохотала, стенала, озарялась вспышками пробежавших по небу молний. Бекетов был в центре сражения. Над ним истребитель с красной звездой шел на таран, врезаясь в «юнкере», превращая врага в черный взрыв. Два танка, немецкий и русский, израсходовав боекомплект,

столкнулись в страшном ударе, и на танковой башне белела надпись «За Сталина». Телефонист с оторванными руками лежал на земле, стискивая зубами концы телефонного провода.

Среди этого лязга и грохота, в скопище тел, в клубках рукопашной Бекетов искал деда. И вдруг увидел его. В полушубке, с винтовкой, утопая по колено в снегу, он бежал среди пулеметных трасс, и его лицо, озаренное предсмертным светом, было обращено к небесам, откуда изливалось на него сияние. Бекетов, исполненный любви и страдания, в слезном порыве, устремился к деду, прижимая к сердцу его пробитое

тело.

Очнулся. Стоял на вершине кургана. Богиня воздела солнечный меч. Волга, река русского времени, текла из одной бесконечности в другую.

Директор оборонного завода дал Бекетову «лендровер» с водителем, и Бекетов отправился в степь, туда, где значился хутор Бабуркин, уже не существующий, сметенный боями, метелями, лихолетьями. Степь была голой, поземка перелетала шоссе, солнце блестело на наледях. Шоссе превратилось в проселок с ребристым тракторным следом, с заносами, в которых медленно продвигался «лендровер». Скоро и

проселок скрылся под настом, под которым слабо виднелись обочины. Мощная машина ломала наст, вгрызалась в дорогу, вязла, таранила сугробы. Несколько раз Бекетов вылезал из теплого салона и, задыхаясь, хрипя, толкал машину, умоляя, чтобы она пробилась к Бабуркину. Там поджидал его дед.

Наконец они достигли извилистого русла запорошенной речки, вдоль которой темнели редкие заросли, продуваемые степным сквозняком. Это и было место, где когда-то располагался хутор, стертый с лица земли вихрями истории. Здесь заканчивалась Сталинградская битва. Здесь атаки штрафников замыкали

кольцо. Здесь шли отчаянные ночные бои, в одном из которых пал его дед, тридцати трех лет от роду. И если бы он встал сейчас из снегов, был бы моложе Бекетова.

Бекетов, кутаясь в пальто, осматривал волнистые горизонты, голубые холмы, и думал, что эту волнистую синь видел дед. Где-то вдоль речки располагалась траншея, из которой он выскочил в ночную метель и бежал, задыхаясь, навстречу грохочущим вспышкам. Здесь, в степном безлюдье, витала его душа. Здесь, в степной земле, таились отпечатки его бегущих ног.

Бекетов стал разгребать снег, пробиваясь к земле. Руки его

замерзли, покрылись порезами, красными кристалликами крови. Он дышал на руки, и ему казалось, из-под снега доносится к нему тихий голос. Он добрался до земли, ледяной, с замерзшими травяными стеблями. Ножом рыхлил землю, откалывал мерзлые ломти. Принес из машины деревянный ларец и наполнил стылой землей. Верил, что в этой земле, среди корешков, частичек ржавчины, кристаллов льда, присутствует дед. Его исчезнувшее дыхание. Его молодое лицо.

Вернувшись в Москву, он сел за руль и отправился на тихое подмосковное кладбище, где покоилась его бабушка. Она

окружала его в детстве своим обожанием, светом бесконечной любви. И всегда, до самой кончины, когда она вспоминала погибшего деда, у нее дрожали губы и наполнялись слезами блеклые голубые глаза. Он страдал от этих рассказов, и ему казалось, что бабушка все еще надеется на долгожданную встречу, на чудо свидания.

Он приближался к кладбищу, положив на сиденье ларец. И ему казалось, что бабушка слышит его приближение, все наполнилось ликующим трепетом, и небо, и земля, и морозное солнце, окруженное радугой, поют,

торжествуют, готовят волшебную встречу.

Он прошел мимо заснеженных могил, гранитных памятников, бумажных венков к тихой могиле. На кресте лежал снег, на розовом камне было начертано родное имя. Бекетов разгреб снег и высыпал сталинградскую землю, чувствуя, как она страстно коснулась могильной земли, пламенно в нее погрузилась. И ему казалось, что кругом благоухает листва, шумит в листве теплый дождь, и молодой, обожающий муж обнял прекрасную молодую жену, и они уходят в чудесную даль, окруженные туманным дождем.

ГЛАВА 29

Елена и Бекетов сидели в утреннем кафе. Он рассказывал о своих поездках, о настроениях директоров-технократов, о протестном движении в городах-миллионниках. Кругом молодые люди лакомились сладостями. Сновали официанты, поднося ароматные чашечки кофе. Длинноволосый юноша упоенно работал с ноутбуком. Худосочная дама в очках читала газету. Елена смотрела на утомленное лицо Бекетова, на темные линии, проступившие у рта, на платиновую седину, которой стало больше у висков. Видела, как он

устал, весь в тягостных думах. Не хотела обременять его своими переживаниями. Ни страшной тайной, которую открыл ей Градобоев. Ни безумной выходкой танцовщиц, осквернивших святыню. Ни странной встречей с кремлевской колдуньей Кларой, которая пророчила ей беду.

Она протянула руку, коснулась пальцами бровей Бекетова, провела ладонью по волосам:

— Мы оба очень устали. Хорошо бы нам уехать хоть на несколько дней. Впереди будет столько ужасного.

— Как же нам уехать... Градобоев нуждается в нас.

— Он укатил на три дня в Петербург.

Бекетов рассеянно смотрел. Казалось, смысл ее слов медленно доходил до него сквозь заботы и гнетущие раздумья. Глаза его дрогнули, в них мелькнуло шальное веселье.

— Погоди минуту.

Он встал, отошел к стойке, где были разложены на тарелочках бесчисленные сладости и шипел, брызгал гущей кофейный автомат. Елена видела, как он говорит по телефону, улыбается. Догадывалась, что он шутит, острит. Вернулся к ней:

— Вставай, мы уезжаем.

— Прямо сейчас? Куда?

— Ты же хотела.

— Но надо домой зайти.

— Зачем? Машина у дверей.

— Но все-таки скажи, куда?

— Куда глаза глядят. — И опять в

лице его мелькнуло шальное веселье и озорная радость.

Пока они ехали в городе, застревали в пробках, останавливались у воспаленных светофоров, Елену продолжали мучить страхи и дурные предчувствия. Когда они выбрались за Кольцевую дорогу, катили по Дмитровскому шоссе среди тяжеловесных фур, ей продолжало казаться, что в этих фурах движется вслед за ней весь груз ее огорчений и

страхов. Но когда шоссе опустело и машина обрела скорость, полетела мимо подмосковных поселков и рощ, Елена почувствовала освобождение. Страхи и напасти еще гнались за ней, но машина с легким шелестом отрывалась от них, и они отставали. На душе становилось светлее, свободнее. Сидящий за рулем Бекетов был тем кудесником, кто принес освобождение, увлек в полет среди полей и перелесков. Она не знала, куда направлен этот полет, но вверяла себя его крепким, сжимавшим руль рукам, его зорким глазам, в которых переливались снежные просторы, березняки, черные ели.

– Ты мне не скажешь, куда мы едем?

– Поверь, это прекрасное место.

Она верила, что это прекрасное место. Там она укроется с любимым человеком от разъяренных толп и ядовитых страстей, унижительных обманов и отвратительного раздвоения. Только он и она. И словно кто-то, летящий над ними, услышал ее. Осыпал белой крупой. Дунул из полей белой метелью. Окружил вихрями. Помчал через дорогу снежные струи. Они оказались среди снегопада, который укрыл их своей летящей завесой, спрятал от случайных глаз, заслонил, как в сказке, от злой погони. Они

улыбнулись друг другу. Бекетов достал телефон и выключил. Елена сделала то же самое. Теперь были отсечены все связи с городом, разорваны все тенета, умолкли все назойливые голоса.

Снег шел, мелькали редкие деревеньки, разрушенные колокольни. Иногда с воспаленными фарами проносилась встречная машина. Появлялся на мгновение бредущий по обочине путник. А когда снег кончился, возник Углич со своими разноцветными лубочными домиками и синими куполами. Побежали деревеньки с чудесными резными наличниками. Елена умилялась, ликовала, славila их

побег и свое избавление.

Уже стемнело, когда они свернули с шоссе, покатали в густых елях по узкому асфальту. Остановились перед шлагбаумом, подле которого светилося оконце будки. Вышел охранник с фонариком, осветив номер машины. Отдал Бекетову честь и впустил в еловую чащу. Редкие голубые фонари освещали снег. Дорожка привела к одинокому коттеджу. Уютно светили оранжевые окна. Они оставили машину, поднялись по хрустящим ступеням, вошли в прихожую. Елена, снимая шубку, поняла, что именно об этом она мечтала, порываясь убежать из города, спасаясь от невыносимых

забот.

Золотились деревянные стены. Из прихожей коридор вел в соседнее неосвященное пространство, где темным стеклом застыл бассейн. В гостиной жарко горел камин. На столе на блюде темнел кусок запеченного мяса. Стояла бутылка вина. В вазе светились яблоки, груши, свисала виноградная гроздь. В приоткрытую дверь виднелась спальня с таинственными шелками. Казалось, здесь недавно побывал гостеприимный хозяин, все приготовил и скрылся, растворился в этих елях, снегах, голубых фонарях.

— Ты кудесник, — сказала она, протягивая руки к камину, подходя к

стеклянным дверям, ведущим на заснеженный балкон. — Ты говорил о чуде. Вот оно и случилось.

Они сели за стол. Он резал ломтями мясо, которое было еще теплым. Наливал в бокалы вино. Держал бокал за хрупкое донце и, глядя ей в глаза, говорил:

— В этой безумной гонке, в этих треволнениях, где одна забота сменяет другую, у меня и секунды не было сказать, как я тобой дорожу. Как люблю тебя, как люблюсь тобой. Как мне дорог твой нрав, твой чудесный голос, твои дивные пальцы и сладкие губы. Ты моя единственная и неповторимая, Господь Бог создал тебя для меня, и я нуждаюсь в тебе. У

меня было помрачение, когда я в тоске бросил все и уехал, не простившись с тобой. Но если бы ты знала, сколько раз ты мне снилась! Будто мы идем по берегам каких-то волшебных рек. Или мчимся на машине, как тогда в Ницце, под огромными пернатыми пальмами, сквозь которые сверкает море. Или входим в просторные храмы, где звучат песнопения, из купола летят аметистовые лучи. И ни одного тревожного сна, ни одного дурного предчувствия. Только красота, нежность. Я привез тебя сюда, в снега и ели, чтобы сказать, как ты мне дорога. Господь соединил нас, провел через испытания, чтобы мы

больше не расставались. Пью за тебя, моя ненаглядная.

Они чокнулись. Звон тихо плыл, не удаляясь. У Елены сладко кружилась голова. Сыпались угольки в камине. Глаза Бекетова, сияющие, очарованные, глядели на нее, и в них было обожание.

Она медленно выпила вино. Через минуту почувствовала, как посветлело в комнате, как деревянные стены стали золотыми, словно наполнились медом. Темные сучки в потолке превратились в фиолетовые живые глаза.

– Я благодарна тебе за эти слова. Ты мой милый. С тобой я ничего не боюсь.

Бекетов поднялся, приблизился к проигрывателю, стоящему возле камина. Достал сверкнувший в его руках диск. Медленная, сладкая музыка, под стать медовым стенам, тихому колыhaniю занавесок, отблескам камина, полилась, и Елене казалось, что она ждала именно эту музыку, угадала ее.

– Потанцуем, – сказал он.

– Мы танцевали с тобой единственный раз, в Париже, в ресторане «Гонкур».

– И еще один раз на Оке, когда хлынул дождь и мы танцевали с тобой в ливне.

Он поднял ее из-за стола, обнял. Они танцевали. Она чувствовала

щекой его горячую щеку, его руки на своей талии, его губы, скользнувшие по ее шее. Они кружили от окна, за которым притаились заснеженные ели, к камину, в котором дышали огоньками два золотых полена. К столу, на котором блестело стекло и светилась виноградная гроздь. К приоткрытым дверям в сумеречную спальню, где переливались шелка. К тому речному откосу, под которым неслась и бурлила иссеченная ливнем река. К серебряному саксофону, похожему на морского конька, в руках у маэстро, который раздувал лиловые щеки и подмигивал танцующим парам.

Елена закрыла глаза и блаженно

думала, что это и есть долгожданное чудо, о котором она тайно мечтала.

Они лежали в спальне на широкой кровати, с которой соскользнуло на пол шелковое покрывало. Он целовал ее брови, легкими пальцами расчесывал ей волосы, тихо дышал на лоб, словно отгонял невидимых духов тревоги. Она, закрыв глаза, чувствовала на веках прикосновения его губ, оставлявших цветные пятна — золотые, голубые, нежно-зеленые, словно это были лепестки цветка, который он держал в губах.

— Какое счастье, что мы убежали, — сказала она. — Мне больше никто не нужен. Никого не

хочу ни видеть, ни слышать. Только ты. Разве мы не можем навсегда от всех убежать?

— Если хочешь, мы не вернемся. Это заблуждение, моя гордыня — думать, что от меня все зависит. И ход истории, и судьба России. Какой это вздор! Мы крохотные пылинки, которые летают в солнечной комнате. Попадают в луч, загораются то красным, то золотым и гаснут, меркнут навсегда. Это миг нашей жизни, дар, отпущенный Богом. Чтобы мы могли любоваться друг другом, и этими угольками в камине, и этой полосой света, в которой лежит упавшее покрывало с китайским драконом. Мы убежим

навсегда. У меня есть сбережения. Поселимся в тихом городке, родине двух цариц. Столько непрочитанных книг, столько чудесных стихов, столько божественных песнопений, которые звучат в монастырском храме у отца Филиппа... Скажи, и мы уедем.

— Уедем.

Он целовал ее шею, ее открытую грудь, и она чувствовала, как от его поцелуев наливаются и твердеют соски. Ей казалось, она слышит шепоты, шелесты, отдаленные чудесные звуки. Видит голубые сугробы, белые колонны собора, крохотные, в янтарном солнце, домишки. Она идет среди этих

снегов, и в открытую форточку раздаются звуки рояля, восхитительная музыка, от которой – счастье, сказочное ликование, предчувствие небывалого чуда.

Елена прижимала к себе его голову, не отпускала, хотела, чтобы он задохнулся у нее на груди.

Среди ночи Елена проснулась. Бекетов спал, а в ней такое бережение, такая любовь к нему!

Она поднялась с кровати. Прошла босиком в гостиную. Было темно, только в камине едва розовели под пеплом угли. Подошла к балкону. Открыла дверь. Ледяной воздух охватил ее голое тело. Она сделала шаг вперед. Ступни утонули

в снегу. Близко стояли черные, отяжелевшие ели. В острых вершинах сверкали звезды. Прекрасные, лучистые, посылавшие ей свои небесные силы. Она стояла голая под звездами, которые осыпали ее туманной росой, и она была окружена прозрачным свечением.

Утром янтари на стенах, синева в окне, озаренные вершины елей, снег на отяжелелых ветвях. Елена открыла глаза и испытала миг счастья, как в детстве, когда каждая клеточка славилась пробуждением. В гостиной Бекетов звенел посудой, появлялся и исчезал, в розовом махровом халате.

— Соня, вставай. Смотри, какой

пушкинский день! – Он нашел под одеялом ее щиколотки, огладил прохладными руками колени, поцеловал в глаза. – Завтрак на столе.

Он наливал ей кофе, угощал бутербродами с холодным мясом. Она позволяла за собой ухаживать, смотрела, как в виноградной ягоде горит золотое солнце. Вспоминала вчерашние звезды.

– Нас ждут приключения, – сказал он.

– И что это будет?

– «А знаешь, не запрячь ли в санки нетерпеливого коня? И навестить поля пустые, леса, недавно столь густые, и берег милый для меня».

Он подвел ее к окну и показал стоящий у крыльца снегоход, красный, с заостренным клювом, стеклянным блеском лыж.

— Это и есть наш конь?

— Нетерпеливый конь «Ямаха».

— Но я никогда не каталась на снегоходах.

— Значит, тебя ждут откровения.

Они нарядились в оранжевые пуховики, толстые стеганные штаны. Он протянул ей защитные очки, меховые рукавицы. Они вышли на крыльцо, где хрустели ступени, летели из елей солнечные лучи, в которых сыпался искристый иней. Пар вылетал из губ Бекетова, и весело, нетерпеливо блестели его

глаза.

— Держись за меня, и покрепче. — Он оседлал снегоход, дождался, когда она усядется сзади и обхватит его руками. — Господи благослови! — включил мотор.

Снегоход окутался дымом, скользнул по снегу. У ворот их встретил охранник, что-то произнес сквозь рокот. Выпустил на дорогу, и огненный вихрь затмил ей глаза, ветер обжег щеки, и в елях то гасло, то ослепительно вспыхивало солнце, когда они пересекали синие тени.

Они мчались по просеке, в мелькании стволов, среди бесшумных, ослепительных вспышек. Елена, в веселье и ужасе,

взлетая и падая в пышные ямы, чувствовала эти озарения, эти огненные полыхания как чью-то страстную, к ней обращенную речь. Кто-то огромный, белый, с алыми губами, посылал ей сигналы. Она обнимала любимого человека и знала, что им рады, им благоволят среди этих синих теней, ледяных веток, слепящих вспышек.

Просека кончилась, и они ворвались в мелколесье. В путаницу ветвей, которые хлестали, секли, кидали снегоход из стороны в сторону. Из одной рыхлой ямы в другую. Она боялась, что ее сметет с седла, выкинет на повороте, вцепилась в куртку Бекетова.

Ужасаясь и ликуя, ждала, что эту бешеную гонку остановит удар, в котором погаснет мир, и они, не расставаясь, исчезнут в одночасье.

Они пролетали поляну в волнистых бугорках. И вдруг эти снежные холмики взрывались, из глубины взлетали огромные черные птицы. Окружали снегоход машущими крыльями, черно-синим оперением, круглыми, как ядра, телами. Она успела разглядеть у близкой птицы туго разведенный хвост, стальной отлив крыла, красную бровь над изумленным глазом. Птиц унесло, а снегоход продолжал перескакивать рытвины, вспарывал кочки, врезался в хлесткие

заросли. Елена старалась сберечь в себе этот птичий изумленный взгляд.

Они пересекали болото. Снег местами смело, гладкий сверкающий лед отражал металлическое солнце. Хрустели и падали тростники, гнулись чахлые, вмерзшие в лед березки. И вдруг шарахнулся, отшатнулся, мощно и тяжело побежал лось — громадная горбоносая голова, букеты пара, зубчатые, как коряга рога. Лось бежал, снегоход мчался следом. Елена видела рядом сиреневый, с сединой бок, могучие мышцы ног, фиолетовый, под белыми ресницами глаз. Снегоход отвернул, и лось пропал. Елене казалось, что она все

еще слышит стук огромного жаркого сердца.

Они очутились на круглой поляне, среди красных сосновых стволов. Лазурный купол навис над поляной, и Елене чудилось, что сверху льется густая синь, истекает из невидимых высей, принося на землю волшебную весть.

Бекетов стал кружить по поляне, описывая круги, вздымая снег. Казалось, что снегоход вспорхнет по спирали, полетит мимо янтарных стволов, сизых вершин. Взмает в лазурь и умчится. «Люблю!» — шептала она, закрывая глаза от ослепительных вихрей.

Лес кончился, и открылась

солнечная пустота замерзшей воды с волнистой кромкой далекого берега. Они соскользнули с песчаного откоса, где изгибались обнаженные корни деревьев. Порхнули на ровный снег, и начался бесконечный бег по гладкому насту, с длинными искрами солнца, с плещущим ветром, от которого в глазах загорались яркие радуги.

Внезапно, белая на белом, среди сверкания и лучистого света, возникла церковь. Пятиглавая, с шатром колокольни, она стояла на ледяном берегу, и не было рядом домов, а только вела из холмистых далей дорога. У берега, вмороженные в лед, чернели наполненные снегом

лодки.

Снегоход подкатил к церкви. У ступеней стояли две запряженные в сани лошади, хватали губами брошенное на снег сено. Двери в церковь были раскрыты, горели свечи, слышались голоса. Бекетов и Елена оставили снегоход у ступеней и вошли в храм. В нем царил синеватый сумрак, светился иконостас, негусто стояли люди. Перед высоким подсвечником стояли жених и невеста. Она в белом платье, с розовыми щеками, взволнованными голубыми глазами. Он в черном костюме, с твердым подбородком и деловито поджатыми губами. Над их головами мужчина и женщина

держали золоченые венцы.
Священник, уткнувши бороду в раскрытую книгу, что-то невнятно читал.

Елена, как только вошла, тихо обрадовалась этим венцам, молодым озаренным лицам, чудесному появлению церкви среди ледяного безлюдья. Это было знамение, как до этого знаменiem были вспышки морозного солнца, птицы с красными бровями, летевшие из-под снега, лось. Как синева, из которой глядело дивное молчаливое око. Это венчание обещало ей дивное будущее, исполнение тайных мечтаний, воплощение чудных надежд.

Они стояли с Бекетовым в церкви. Он молча ей улыбался. Она улыбалась в ответ. К ней подошла девочка в цветастом платке, протянула бумажную розу. Елена приколола цветок к плечу.

И когда они снова мчались по снегу, роза пламенела у нее на плече. А потом порыв ветра сорвал цветок и унес в белый простор.

Они вернулись в коттедж, когда красное солнце садилось в снега и, казалось, старые ели отекают малиновой смолой. Сбросили в прихожей задубелые комбинезоны и ужинали горячей, завернутой в фольгу форелью, которую приготовил для них все тот же

невидимый хлебосольный хозяин.

— В баню! После мороза погреться! — позвал ее Бекетов.

Сауна, куда они отправились, была согрета, висели на деревянных крючках чистые простыни, стояли бутылки с квасом, чуть колыхалось литое стекло бассейна.

Они сидели на полке в раскаленном жаре, среди золотистого дерева, источавшего чистый дух. Казалось, вокруг летает прозрачное пламя, опалает их голые тела. Они были одеты стеклянным блеском и боялись шевельнуться, чтобы не лизнул их огненный дух, от которого звенели седые камни и выступала из сучков смола.

Выскочили из сауны. Бекетов с громогласным воплем рухнул в бассейн, выдавил воду на кафель. Фыркая, охая, стал плавать. Елена осторожно спускалась в обжигающую воду, с замирающим сердцем, погрузила живот, грудь, плечи, ахая и смеясь. Он подплыл к ней, обнял, и они стояли в воде, обнявшись. Елена слышала, как дышат его грудь и живот.

Потом они стояли под душем, сыпалась сверху шуршащая вода, и он оглаживал ей плечи, целовал в губы. Закрыв глаза, она чувствовала его руки, скользящие по груди.

Они лежали в темноте в прохладной постели, и она говорила:

– Мы все-таки их обманули.

– Кого, дорогая?

– Эти темные силы, которые за

нами гнались. Мы от них

ускользнули, занавесились

снегопадом, спрятались в лесах.

– Мы от них ускользнули.

– Мы больше не вернемся туда,

где готовится ужасное злодеяние.

Там прольется кровь, зазвучат

выстрелы, погибнут люди. Но нас

среди них не будет. Останемся здесь,

среди краснобровых птиц и седых

лосей, у заколдованной церкви, в

которой горят венчальные свечи. А

злодеяние нас минует.

– Какое злодеяние, дорогая?

– О котором говорил Градобоев.

– А что он сказал?

– Сказал, что скоро будет «Марш миллионов» и он поведет людей на Кремль. Войска станут стрелять, будет кровь, и президент Стоцкий отменит выборы. Чегоданов не сможет стать президентом, и Градобоеву открывается дорога в Кремль.

– Он так и сказал про кровь?

– Про кровь и про Кремль. Но об этом не надо думать. Будем думать о той поляне, с которой мы хотели взлететь в лазурь. О тех черных лодках, которые вмерзли в лед. О священнике, который читал Евангелие. И знаешь, о чем еще?

– О чем, дорогая?

— Что, может быть, чудо возможно и мы обвенчаемся в этой волшебной церкви. Батюшка станет читать священную книгу, и над нашими головами будут сиять золотые венцы. Такое возможно?

— Возможно.

Он обнимал ее, целовал глаза, ямочки в горячих ключицах. Она сладостно закрывала глаза. Кружились велосипедные спицы, мягко пылил проселок, одинокая сосна раскинула просторные ветки. И вдруг из ветвей вылетела чудесная птица, небывалой красоты и расцветки. Летит, разбрасывая яркие радуги, оставляя в душе небывалое счастье.

Она проснулась от внезапной тревоги. Бекетова не было рядом. Сквозь открытую дверь в гостиной увидела, как он ходит по комнате и говорит по телефону. Светились телефонные кнопки, словно он держал в руке светящегося морского моллюска.

— Что случилось? — спросила она, когда он вернулся.

— Надо возвращаться. Прямо сейчас.

— Прямо ночью?

— Прямо сейчас.

— Ты уверен, что действительно нужно?

— Уверен.

В ней все остановилось и

обмерло. Она больше не спрашивала.
Стала собираться.

Они возвращались в Москву,
озаряя ночное шоссе светом
хрустальных фар.

ГЛАВА 30

Чегоданов, слушая Бекетова, зло щурил глаза, сжимал побелевшие губы. Был похож на лесного зверя, который, среди травы, прелых листьев, подземных грибниц, почуял запах железа.

— Это достоверные сведения?

— Мой доверенный источник из ближайшего окружения Градобоева.

— Значит, все-таки пролитие крови? Залить брусчатку красной жижей?

— На определенном этапе «оранжевой» революции предусматривается пролитие крови. «Марш миллионов» состоится перед

самыми выборами. Бойня, кровь, ты
объявляешься палачом народа.
Евросоюз, американский сенат,
начинается вселенский вой, и
Стоцкий отменяет выборы. Дума,
состоящая из предателей, его
поддержит. Ты отстранен.
Назначаются новые выборы, на
которых победит Градобоев. Тебя
судят, как кровопийцу. Возят в клетке
по Москве, и родственники
погибших кидают в тебя камнями.
Когда мы приступали к исполнению
нашего плана, мы допускали
подобное развитие.

Бекетов ждал от Чегоданова
гневной вспышки, истерических
злых упреков. Но Чегоданов был

тих и вкрадчив. Только щурил глаза, из которых лилась жестокая синева. Сжимал губы, в которых не было ни кровинки. Все его мышцы напряглись, как у чуткого хищника, готового отпрыгнуть, избегая опасности, или метнуться вперед, убивая врага.

— Каким маршрутом поведет Градобоев свой «миллион»? Где он станет лить кровь?

— Они пойдут по Якиманке к «Ударнику», чтобы перед Каменным мостом якобы свернуть на Болотную площадь. Кордоны милиции преградят им вход на Каменный мост. Градобоев направит народ на кордон. Пожелает его прорвать,

перейти Каменный мост и атаковать Кремль. Кровь может пролиться на мосту, где будет схватка с милицией. Или у Троицкой башни, где навстречу толпе выйдут войска.

Бекетов видел – пепельно-серая громада «Ударника», мокрый блеск пустого моста. Золотая шапка храма Христа, розовые стены Кремля. Медленная вязкая толпа движется по Якиманке. Флаги, транспаранты, невнятный гул мегафонов. У моста зыбкой лентой темнеет полицейский заслон. Слудяной блеск шлемов, тусклый отсвет щитов. Сужается горловина истории, сквозь которую стремится пройти русское время. Вновь сжимается под страшным

давлением хрупкий кристалл государства, готовый расколоться на тысячи мелких осколков. И он, Бекетов, своей слабой волей, несовершенным разумением стремится управлять слепым движением времени. Влиять на угрюмый поток истории. Спасти беззащитный кристалл государства.

— Я предчувствовал это, — произнес Чегоданов. — Предчувствовал заговор. — Его ноздри трепетали, словно он улавливал тлетворные ветерки измены. — В западной прессе началась охота за мной. Я для них Гитлер, и они готовят Нюрнбергский процесс. Этот мерзкий американский клоп Кромли.

Этот липкий моллюск Стоцкий. Они в заговоре с Градобоевым. Я знаю, они встречаются. У них уже есть меморандум, отменяющий выборы. Есть текст приговора, где они называют меня кровопийцей. Но я их взорву!

Бекетов чувствовал, какому давлению подвергается Чегоданов. Парализуется воля, затмевается разум. Множество чародеев и магов, колдунов и волшебников протыкают иголками его фотографии, сжигают его тряпичные чучела. Побуждают бежать, кинуться опрометью, оставить власть. Отдать в другие руки судьбу государства. Так его венценосный предшественник

подписал в вагоне свое отречение, открыл путь чудовищной бойне, которая унесла в преисподнюю великое царство, а его самого утянула в Ганину яму.

Бекетов видел, как дрожит и сжимается воля Чегоданова. Стискивается, словно стальная спираль, накапливая энергию для удара. Чегоданов, подверженный слабостям, баловень, несвободный от страхов и маний, сейчас был стальной правитель. Беспощадный защитник власти. Безупречный державник.

— Когда мы исполняли наш план и усиливали Градобоева, одновременно его ослабляя, мы

страшно рисковали, — произнес Бекетов. Видел, как играют белые желваки Чегоданова, а в глаз отливает синева топора. — Мы нагнетали давление в котле, не имея точных манометров, измерявших это давление. И котел мог взорваться. Мы рисковали не просто нашими с тобой головами, но и судьбой государства. И эти риски сохраняются. Нам предстоит проделать ювелирную работу по управлению ядерным реактором в ручном режиме.

— Петр Первый в ручном режиме рубил стрельцам головы.

— Я собирал по элементам этот реактор, я знаю его устройство. И я

же смогу его разобрать, извлеку составляющие его элемента.

– Что ты задумал? – Чегоданов смотрел мимо Бекетова, и губы его улыбались. Быть может, он видел картину «Утро стрелецкой казни».

– Я наращивал толпу на Болотной площади, приводил к Градобоеву союзников. Создавал таран, способный пробиться в Кремль. Теперь я ослаблю этот таран, уменьшу толпу вдвое, уведу от Градобоева его союзников. Ослабленную, уменьшенную вдвое толпу он поведет на мост. Здесь его встретит кордон и завяжется драка. Полиция пусть действует вполсилы, избегает ударов дубинками, чтобы,

не дай бог, у кого-нибудь не лопнул череп. Головной отряд демонстрантов прорвет кордон и вырвется на Каменный мост. Здесь их встретит мощный заслон, а в тыл ударит ОМОН, отсечет от остальной толпы. Боевики Градобоева окажутся в ловушке. Их расчленят, обезвредят, по одному уведут в автозаки. Все это мы снимем на камеры и вечером покажем народу. Скажем, – так была сорвана попытка государственного переворота.

– Так и будет. Я вызываю шефа МВД, прокурора, председателя следственного комитета. Пусть очистят камеры в Лефортове. Пусть готовят следственные группы. Не

меня, а их станут возить по Москве в железных клетках. Привезут на Болотную, где рубили головы мятежникам и смутьянам. Я буду целовать крест в руках патриарха, а они будут целовать топор в руках палача! – И снова в глазах Чегоданова полыхнул синий отблеск, словно мелькнул топор.

– Сразу же после разгрома Градобоева, перед выборами, ты проводишь в Москве победное шествие. Выступаешь на митинге, сценарий которого я подготовил. – Бекетов торжествовал. Перед ним был железный лидер, в котором история обрела свое воплощение.

– Ты настоящий друг, Андрей, –

сказал Чегоданов. — Но ты действуешь не из чувства дружбы, а исходя из интересов страны. Ты истинный государственный. После победы мы начнем создавать новую Россию, великое Государство Российское.

Они обнялись. Бекетов чувствовал, как молодо играют гибкие мышцы Чегоданова.

Через час Бекетов был на телевидении у Немвროзова. Тот готовился к передаче и перед зеркалами шутил с двумя молодыми гримершами. Те холили его красивое лицо, втирали кремы, пудрили, брызгали лаком на золотистые волосы. Немвროзов от их

прикосновений щурил по-кошачьи глаза. Вышел к Бекетову жизнерадостный, благоухающий, с повадками театрального любовника.

— Ты видел мою последнюю передачу? Как я расправился с этим чернявым жучком. Посадил его на иголку, и он корчился, шевелил лапками, а я его пинал, пинал, пинал! Говорят, я был великолепен.

— Ты поистине великолепен. В тебе есть что-то античное. Что-то от греческих героев. — Бекетов видел, как расцвел Немвровоз с тех пор, как покинул утлую студию на третьеразрядном канале и обрел репутацию кремлевского телекиллера. — У меня к тебе срочное

дело.

Бекетов извлек из кармана флешку, на которую накануне перенес записи своих переговоров с оппозиционерами. Те фрагменты, где оппозиционные лидеры в своей запальчивости и нетерпимости за глаза поносят соперников, желчно обличают друг друга. Тогда, во время походов к Мумакину и Лангустову, к Шахесу и Коростылеву, Бекетов лишь предчувствовал, что ему понадобятся эти тайно добытые записи. Теперь же он нашел им применение.

— Это что? — Немврозов вертел в руках флешку.

— Это осиное гнездо. Сделай так, чтобы осы вылетели и искусали

друг друга. Сделай так, чтобы Шахес ужалил Мумакина, а тот вонзил острое в Лангустова, а Лангустов впрыснул яд в Шахеса и все вместе они изжалили Градобоева. И чтобы в конце концов их клубок распался. Чтобы они, проклиная друг друга, разбежались и увели от Градобоева своих сторонников. Чтобы Градобоев, когда начнет собирать толпу, недосчитался половины и его таранный удар на Кремль обессилел. Пусть все эти оппозиционеры, как строители Вавилонской башни, загалдят, залопочут, заверещат каждый на своем языке и разбегутся. И Вавилонская башня оппозиции рухнет.

– Великолепно! – воскликнул Немврозов, пряча флешку. – Мы разворошим осиное гнездо, и они изжалят друг друга. Но скажи, Чегоданов понимает, какую работу мы делаем для него? Он умеет быть благодарным? Когда он победит на выборах и станет президентом, он вспомнит о нас? Он сделает тебя главой президентской Администрации? Он назначит меня директором телеканала?

– Он умеет быть благодарным. Ты станешь директором телеканала.

– Он говорил?

– Говорил.

– Он не ошибется, поверь. Я буду мочить всех его врагов. Буду

превращать их в уродов, в животных, в отвратительных гадов и насекомых. Но главная цель канала, как ты говорил, — это выстраивать образ новой России. России Чегоданова. Мы создадим ему образ великого правителя и преобразователя. Мы вернем России вождя. Мы ответим на запрос глубинного русского сознания, требующего вождя и заступника, духовного лидера и пророка. Мы станем создавать культ Чегоданова. Народ узнает о его сокровенном замысле возродить великую империю. Создать великое государство. Оснастить это государство могучей идеологией. Собрать выдающихся художников и

мыслителей, дипломатов и духовидцев. Мы вернем России образ мистического царства, которое предлагает гибнущему миру спасение. И в центре всего Чегоданов. Ты думаешь, он пойдет на это?

– Он уже пошел.

– Замечательно! Ты великий человек, Андрюша. Мы два великих человека, и вместе мы непобедимы!

Они простились, и Немвров, восторженный, артистичный, исчез в примерной среди блеска зеркал и нежного лепета женщин.

ГЛАВА 31

В Москву пришли весенние оттепели, туманы, мокрый снег, с падениями сосулек, черной жижей под скользящими колесами, с прозрачными каплями на проводах и деревьях. Медленный вялый пар сочился из сырых дворов и подворотен. Казалось, Москва испаряется. Таяли в мокром небе сталинские высотки и ампирные особняки. Уплывали в туманы, словно призраки, мосты и монастыри. Словно огромные цветные леденцы, плавилась стеклянные банки и супермаркеты. В ночном небе размыто и жутко

пламенели английские надписи реклам, похожие на зарево пожаров.

Градобоев собрал в своем штабе Координационный совет оппозиции для обсуждения предстоящего «Марша миллионов». В просторной комнате за овальным столом восседал сам Градобоев, бодрый, радушный, не вождь, не лидер, а гостеприимный хозяин. Вокруг него расселись соратники. Мумакин, вальяжный, с крепким лбом, твердым взглядом неугомимого борца и мыслителя, наследника великих «красных» традиций. Подле него поместился Шахес, маленький, верткий, с насмешливыми и настороженными глазками, которые,

казалось, мерили расстояние от каждого из присутствующих до двери, сквозь которую, в случае опасности, можно было бы улизнуть. Лангустов, с изможденным, в складках и рубцах, лицом революционера, узника, мучительного эстета, отчужденно и небрежно оглядывал своих соседей. Так оглядывают пассажиров, случайно оказавшихся в одном с ним купе. Прямо, расправив плечи, сощутив холодные, жестокие глаза, сидел Коростылев, который, обменявшись рукопожатиями со всеми приглашенными, достал чистый платок и отер руку. Тут же восседала Паола Ягайло с зелеными

глазами русалки, обнаженными
плечами светской львицы и
пленительной улыбкой,
предназначенной прельщать,
искушать, очаровывать. Все они,
преодолев антипатии,
биологическую неприязнь, усмирив
гордыню, явились на зов Градобоева,
признав за ним временную роль
предводителя, кумира бурлящих
толп, в которые каждый согласился
привести своих сторонников.

— Господа, — бархатным
баритоном произнес Градобоев. —
Пусть скромный вид этой комнаты
не скроет от нас грандиозного
приближающегося момента русской
истории, способного изменить

судьбу государства, направить народную жизнь по новому руслу. Конечно же я говорю о послезавтрашнем дне, когда мы пройдем по Москве нашим «Маршем миллионов» и перевернем наконец мрачную страницу Чегодановской эры. Начнем писать историю свободной России. — Градобоев умолк, желая понять, не слишком ли напыщенны его слова, не вызывают ли они отторжения. Но у всех были серьезные лица людей, сопричастных истории. — Господа, наш союз будет отмечен летописцем, ибо он опровергает досужие домыслы, согласно которым оппозиция — это клубок жалящих друг друга змей.

Мы, перед лицом исторического выбора, преодолели разногласия и соединились во имя России, во имя интересов народа, волю которого мы выражаем. И мы готовы взять на себя ответственность за судьбу государства. — Градобоев снова умолк, проверяя воздействие своих слов, и это воздействие удовлетворило его. Все лица, включая Паолу Ягайло, стали серьезными, выражали единомыслие и предчувствие грозных событий. — Мы должны вывести на наш «марш» полмиллиона человек. Для этого мы созовем всех наших сторонников, используем все наше влияние, но полмиллиона разгневанных,

требующих справедливости граждан
сокрушат любые преграды ОМОНа,
направят свой разящий
психологический удар прямо в лоб
Чегоданову. И он, уверяю вас, сбежит
из Москвы, откажется от выборов, и
выборы будут отменены. Президент
Стоцкий, он дал мне это понять,
назначит новые выборы. И на этих
выборах, совершенно легитимно, без
пролития крови, мы придем к
власти. — Градобоев торжествующе
оглядел соратников, убеждаясь, что
они согласны с его верховенством.
Готовы нести в общую копилку свою
репутацию, волю своих сторонников,
готовы сжать стенобитный кулак для
удара по Кремлю. — Господа, на

нашей предшествующей встрече мы согласились, что предстанем перед народом единой командой. Покажем людям возможность истинной коалиции, полифоническую красоту коллективного разума. — Градобоев моментально оглядел соратников, убеждаясь, что все они по-прежнему видят в нем будущего президента, согласны с той ролью, которую они получают в кабинете министров. — Мне бы хотелось сейчас согласовать лозунги, под которыми пройдет наш «марш». Я жду ваших предложений. Вам слово, господин Мумакин.

Предводитель коммунистов напруг могучую синеватую жилу на лбу. Набычил шею, как он делал это

во время выступлений на митингах. Стал непреклонным защитником тружеников и угнетенных.

– «Вся власть народу!», «Земля крестьянам!», «Заводы рабочим!», «Бесплатное образование и медицина!» – произнес он гулко, словно в раструб мегафона. А потом умягчился, заулыбался, умело превращаясь в добродушного, с крестьянским лицом человека. – А вообще-то пусть люди ставят пасеки и разводят пчел. В каждую семью – бочку меда!

– И ложку дегтя, – съязвил Шахес, но тут же потупился под строгим взглядом Мумакина.

– Под какими лозунгами пойдут

ваши сторонники, господин
Лангустов? – произнес Градобоев.

– Наши лозунги предельно
просты. «Чегоданова – в клетку!»,
«Стоцкого – в клетку!», «Всех
министров – в клетки!». «Зоопарк на
Красной площади, вход бесплатный!»
– Лангустов улыбнулся жестокой
улыбкой, как если бы перед ним
поблескивала окуляром французская
телекамера. – А потом эти клетки
поставить на медленный огонь, и мы
поймем, как пахнет паленый
либерал.

– Боже, какая жестокость! –
притворно охнула Паола Ягайло,
пленительно качнув обнаженным
плечом. – А нельзя ли всех

перечисленных узников направить в мою программу «Постель-3», чтобы их смерть была не столь мучительна?

Ей ответом был взгляд Лангустова, блеснувший презрением.

— А что скажете вы, господин Шахес? — продолжал опрос Градобоев. — Ваши либеральные клубы и организации столь многочисленны, что, не сомневаюсь, ваша колонна будет пестреть лозунгами.

— Уж я не знаю, уж это слишком ответственно. Что-нибудь миротворческое, примиряющее. Может быть, вернуть хасидам библиотеку Шнеерсона, если у них без нее пейсы отваливаются. Или

направить в космос корабль, на котором еврей и палестинец в одном экипаже. — И он завертелся, заерзал на стуле, забормотал, защебетал что-то птичье, торопливое и абсолютно неразборчивое. Умолк, оглядывая всех маленькими тревожными глазками.

— Ну конечно, — буркнул Коростылев. — Заселять космос евреями. Мало там космического мусора.

Шахес вспыхнул было от этой антисемитской реплики, но промолчал, только гневно задвигал ножками.

— Господин Коростылев, вы что-то хотели сказать. — Градобоев сделал

вид, что не услышал едкую ремарку.

— Наши имперские лозунги просты, — четко, по-офицерски, отчеканил Коростылев, — «Русские идут!», «Русская армия — превыше всего!», «Русское оружие — отточенный меч империи!», «Кавказ будет русским!», «Русский — значит всемогущий!», «Слава России!». — Он вызывающе разглядывал всех сидящих и, осматривая Шахеса, зло сощурился.

Паола Ягайло, не дожидаясь приглашения, сказала:

— Мне кажется, у нас слишком много политики. Мои сторонники понесут на руках широкую золоченую кровать с шелковыми

подушками, и на ней полуобнаженные юноша и девушка станут целоваться и ласкать друг друга. Именно перед этой золоченой кроватью расступятся ряды ОМОНа. Именно перед этой волшебной кроватью распахнутся кремлевские ворота. Господа, каждый из вас может занять место на этой кровати, и я сделаю все, чтобы вам на ней было уютно. — Паола обворожительно улыбнулась. Ее мраморные плечи поднялись и опустились от томного вздоха.

— Господа, — прочувственно произнес Градобоев. — Не это ли свидетельство нашего согласия? Нашего союза, не только

политического, но и духовного, и душевного. Залог того, что после победы мы сможем создать коалиционное правительство и дружно, эффективно работать во славу России.

Они продолжали совещаться, утверждали лозунги, подсчитывали число сторонников. Были готовы перейти в соседнюю комнату, где был накрыт стол, официанты расставляли на скатерти хрустальные бокалы и рюмки.

Вошел начальник охраны Хуторянин. Наклонившись к Градобоеву, тихо произнес:

— Иван Александрович, включите телевизор. Там такое

начинается!

Градобоев включил широкий плазменный экран на стене, и все присутствующие молча воззрились.

На экране витийствовал язвительный и бесподобный Немвроз. В розовой рубашке и артистическом шарфе, с жестами декламатора, с мужественным голливудским лицом, он комментировал кадры протестного митинга на площади Сахарова, где один за другим выступали Градобоев, Мумакин, Лангустов, Шахес.

«Всмотритесь в эти вдохновенные лица. Услышьте их пламенные речи. Вам покажется, что это радители за счастье народное,

союз единомышленников, братство во Христе. Но это пауки в банке, которые жгут и кусают друг друга!»

Возникла стеклянная банка, полная пауков, которые копошились, прыгали друг на друга, карабкались по скользким стенам, смешивались в отвратительные косматые клубки. Членистые ноги, ядовитые клещи, пульсирующие ненавистью тела.

– Какая мерзость! – воскликнул Градобоев. – Этот Немврозоз – агент ФСБ, телевизионный киллер, получивший от Чегоданова лицензию на убийство. Но все их усилия тщетны. Мы действительно – союз единомышленников.

На экране Немврозоз эффектно

жестикуюлировал, предлагая зрителям полюбоваться на оппозиционных ораторов. Один за другим те выходили к микрофону и беззвучно открывали рот, воздевали кулаки, выдыхали струи пара. Все те же Градобоев, Мумакин и Шахес. И еще Коростылев в черной форме, перетянутый портупеей, под черно-золотым имперским флагом, взметающий вверх руку. И Паола Ягайло на озаренном подиуме ночного клуба, у сверкающего шеста, который она обвила своими голыми ногами.

— Да он нам делает бесплатную рекламу! — засмеялась Паола. — Направим ему благодарность!

Немврозов жестом факира смахнул с экрана изображения лидеров, и вместо них возник прозрачный террариум, полный змей. Они струились по стеклу, свивались в чешуйчатые клубки, открывали маленькие злые рты с раздвоенными язычками, кидались одна на другую, били в стекло мускулистыми пестрыми телами.

«Не верьте сладким речам и медовым посулам. — Немврозов стучал пальцами по стеклу, и змеи кидались, желая его ужалить. — Это не заступники народа, а клубок змей, которые стремятся в Кремль, желая превратить русскую святыню в мерзкий террариум, наполненный

смердом и ядом!»

— Мерзавец, — произнес Лангустов. — А ведь когда-то слыл приличным человеком.

Немврозов повел рукой, словно открывал занавес, и опять туманилась громадная, переполнившая площадь толпа, и опять у микрофона, беззвучно шевеля губами, появлялись знакомые ораторы Градобоев, Мумакин, Лангустов и Шахес. И в колонне националистов, под имперским стягом, вышагивал Коростылев, что-то вдыхая в мегафон. И Паола Ягаило, заголив ноги, пела на эстраде какой-то куплет.

«Да не введут вас в заблуждения

человеческие лица этих благородных господ. Это оборотни, не люди, а свирепые псы, которые готовы растерзать не только вас, но и друг друга».

На экране возникли собаки, которые грызлись, скалили мокрые клыки, кидались одна на другую, норовя вцепиться в горло. Их свирепые оскалы, брызги слюны, налитые кровью глаза, судороги ненависти и неукротимой злобы.

— Ну что ж, опричники Ивана Грозного носили у седла собачьи головы, — засмеялся Коростылев. — Пусть мы собаки, но мы рыскаем по России, изводя крамолу и измену. Мы порвем горло тем, кто мучает нашу

священную Родину. Я не стыжусь, да, я – цепной пес Русской империи!

«Вы верите их речам? Вас убаюкали их заверения? Вы слышали их ядовитые слова в адрес Чегоданова? Но вот послушайте, что они говорят сами о себе!»

Немвровоз отступил, и его место на экране занял Мумакин, стоящий на трибуне у микрофона. Его энергичные губы шевелились, из них летел пар, и он возмущенно изрекал:

«Вы хотите, чтобы я встал под одни знамена с Лангустовым, чью задницу не пропускает ни один негр? Хотите, чтобы я стоял рядом с Шахесом, от которого будет пахнуть чесноком на всю Болотную? Или с

этой, прости господи, Ягайло, у которой под юбкой ползают мухи?»

Монтаж изображения и звука был осуществлен столь искусно, что создавалось полное впечатление того, будто бы эту хулу Мумакин возводил на своих сотоварищей прямо на митинге, перед стотысячной толпой.

– Я не говорил такого! – взревел Мумакин, указывая на экран. – Это фальшивка ФСБ!

– Сволочь ты, Мумакин, – беспощадно произнес Лангустов. – Был предателем и остался! Красный иуда!

– Антисемит! – щебетал Шахес, превращая свои маленькие пальчики

В заостренные коготки. —
Коммунофашист! Нерукопожатный!

— При чем здесь мухи? — нервно
улыбалась Паола. — Нет, Мумакин, вы
можете мне объяснить, при чем здесь
мухи?!

На экране стискивал микрофон
Лангустов, в мерцании вспышек, под
окулярами телекамер:

«Вы хотите, чтобы я встал рядом
с этим претенциозным самозванцем
Градобоевым, который вскормлен на
деньги ЦРУ? Может, вы пригласите
меня встать рядом с этим
коммунистическим пельменем
Мумакиным? Или вислозадой
куртизанкой Ягайло? Или с
Шахесом, с этой рыбой фиш в

чесночном соусе? С этими мелкими жуликами, смешными паяцами, колченогими карликами, которые на американские деньги имитируют русскую революцию?»

Эта тирада вызвала взрыв за столом.

— Ты, старый жопошник! — Градобоев замахнулся на Лангустова кулаком. — Это ты называешь меня агентом ЦРУ, ты, который живет на американские транши, работает сразу на три разведки, совращает маленьких мальчиков?

— Извращенец! — ревел Мумакин. — Рваный педик! Провокатор! Тебя выкидывают через дверь, а ты лезешь в окно! Тебя

вышвыривают через парадный подъезд, а ты пролезаешь через задний проход! Задний проход! Задний проход!

— Где ты видел у меня вислый зад? — Паола вскочила, задрала юбку и повернулась к Лангустову спиной. — Где вислый зад? Где? Ну где?

Оскорбленный Шахес трещал, как дрозд, щебетал, как клест, чирикал, как воробей, но в этом птичьем хоре можно было разобрать только одно слово: «педофил».

На экране возник Шахес, укутанный в шубу. Он уткнул в микрофон свое чуткое рыльце, и теперь его слова были вполне

различимы:

«Вы хотите, чтобы я оказался рядом с Градобоевым, который публично заявил, что не верит в подлинность дневника Анны Франк? Чтобы я встал рядом с этой коммунистической деревенщиной Мумакиным, который заявил, что в окружении Ленина было слишком много евреев? Чтобы я встал с этим гомосексуалистом Лангустовым, чей флаг немногим отличается от флага Третьего рейха? Чтобы меня, доктора юридических наук, почетного профессора Иерусалимского университета, окружал весь этот сброд?»

Все за столом молчали, когда

Коростылев, в черном облачении, под хоругвями и имперскими флагами, обращался к своим соратникам:

«Вы думаете, в священных кремлевских палатах найдется место этому фальшивомонетчику Градобоеву, которого вывели в колбе ЦРУ и которого после смерти похоронят на Арлингтонском кладбище? Или этому ленинцу Мумакину, на фирменном пиджаке которого засохла кровь убиенного Государя Императора и невинных царевен? Или этому певцу мужеложства Лангустову, которого застали в объятиях большого фиолетового негра на берегу Гудзона? Или этому еврейскому

провизору Шахесу, внучатому племяннику начальника КАРЛАГа, который обливал на морозе водой русских профессоров и поэтов? Им место не в Кремле, а на виселице или у расстрельной стенки».

За столом началось невообразимое. Все вскочили, кричали, кидались один на другого. Градобоев стискивал хрипящее горло Коростылева. Шахес, как свирепая такса, повис на Градобоеве. Паола Ягайло норовила оцарапать лицо Лангустова, шипя, как злобная кошка. А Лангустов, раздирая на Паоле блузку, умудрялся больно пнуть Мумакина.

Все грохотало, сыпалось,

клубком выкатывалось в прихожую, разбирало шубы и выносилось вон из штаба, в туманную Москву, где гремели падающие сосульки, брызгала черная жижа из-под колес, и во мгле, над туманными крышами, горели рекламы «ИКЕЯ», «ХОНДА», «САМСУНГ». Казалось, над Москвой плывут ядовитые радужные рыбы.

ГЛАВА 32

Бекетов пришел на Октябрьскую площадь, откуда начинался «Марш миллионов». Нежное апрельское небо дышало целомудренной лазурью, асфальт был покрыт голубым влажным лаком, липы проснулись, и в голых рогатых кронах трепетал прозрачный туман. По Ленинскому проспекту летела, блистала, переливалась шелковистая лента. Из туннеля выплескивался на Садовую и мчался к Крымскому мосту шелестящий поток. Памятник Ленину, окруженный революционными солдатами и рабочими, был монументален и

строг, но голубь, сидевший на голове
вождя, нарушал воинственный пафос
монумента.

Бекетов явился на площадь,
когда начинала собираться толпа.
Люди струйками сочились из
выходов метро, всплывали из
подземных переходов, вливались в
просторную площадь, кружили у
подножия памятника. Здесь было
весело и суетно, как в дни
праздника. Народ явился в
предвкушении развлечений и забав.
Царило то радостное волнение,
которое связано с долгожданным
теплом, стуком женских каблучков,
нарядными шарфами, блеском
взволнованных глаз.

Было много молодежи, дурашливых и смешливых студентов. Они забирались на постамент и фотографировались, а потом начинали шумно, беспричинно смеяться. Порхали стайки девушек, неуловимо похожих одеждой, прическами, худобой, составляющих особое племя, наполняющее банки, конторы корпораций, рекламные фирмы, коммерческие бюро и издательства. Явились ярко одетые, в модных куртках и бантах, с экзотическими прическами молодые люди — художники, стилисты, дизайнеры, модники ночных клубов, завсегдатаи «Комеди клуб».

Два мима с раскрашенными

лицами играли невидимым мячом, подпрыгивали, пригибались, падали на землю, вылавливая из пустоты несуществующий предмет. Их окружали замороженные люди, водили глазами в пустоте.

Пожилой лысый саксофонист держал в руках серебряный инструмент, раздувал небритые щеки, целовал металлический мундштук, оглашая площадь печальными руладами, молодая женщина зачарованно слушала, и у нее, как у кенгуру, выглядывал из переносной сумки младенец.

Были истовые демократы с двадцатилетним стажем, истоптавшие не одну пару обуви в

маршах и демонстрациях, с лицами, на которых держалось одинаковое выражение нетерпеливого раздражения, бурлящего негодования, тоскливой надежды на сокрушение несправедливого мира. Хромала, опираясь на палку, остроносая женщина в мятом берете, поношенном пальто. Ее заостренное лицо, колючее плечо, седые прядки и кривая клюка указывали на далекую, ей одной ведомую цель, к которой ее двигала яростная и упрямая воля. Другая женщина, в неряшливом пальто и старомодной шляпке, экзальтированно выкрикала: «Свободу политическим заключенным!», раздавая листовки,

где требовалось освободить арестованных танцовщиц из группы «Бешеные мартышки».

Но было много обычной интеллигентной московской публики, вполне обеспеченной, но с неутоленным чувством справедливости, которую во все времена попирает порочная, склонная к деспотизму власть.

Бекетов кружил в толпе, не находя в ней ни Шахеса, ни Мумакина, ни Лангустова. Не было Коростылева и Паолы Ягайло. Его план удался. Оскорбленные, ненавидящие друг друга оппозиционеры не явились на площадь, не привели своих

сторонников, значительно ослабив ударную силу марша. Однако разрозненные группы националистов, коммунистов и либеральных активистов размахивали красными, имперскими и радужно-яркими флагами, под которыми перемещались группки сексуальных меньшинств. И уже гудели в разных углах площади мегафоны, призывая толпу формировать колонны. Становилось все больше репортеров, фотографов, телеоператоров, начинавших поиск сюжетов. Осторожно прокатило несколько полицейских машин, расплескивающих фиолетовые брызги.

Вдруг среди многолюдья, бесформенных скоплений и сгустков пробежала волна, повлекла толпу, словно потянули невидимый невод, улавливая людскую гущу. Все устремились в одну сторону. Туда же торопились телеоператоры. Туда же колыхнулись флаги. Туда же зашагал Бекетов, стиснутый возбужденной толпой. Там появился Градобоев. Охрана теснила людей, раздвигала толпу, прокладывала Градобоеву путь.

Градобоев был выше других. Возвышалась его непокрытая голова. Лицо показалось Бекетову огорченным и бледным. Глаза возбужденно блестели. Губы

улыбались. Он ждал, когда его окружают журналисты, заблестят диктофоны, потянутся мохнатые, как пушечные банники, микрофоны, замерцают окуляры телекамер.

Журналисты брали у него интервью. Бекетов через головы улавливал обрывки фраз:

— Готовится грязная провокация... Выгодно пролитие крови... Пусть мировая общественность... Уроки Египта и Ливии...

Бекетов хотел угадать его душевное состояние. Следы нерешительности. Признаки травмы, полученной от измены соратников. Градобоев преодолел разочарование

и растерянность. Был возбужден и решителен, исполнен дерзкой энергии. Бекетов чувствовал, что он не отказался от своего жестокого замысла. Марш состоится, столкновение с полицией неизбежно.

Он увидел Елену. Она появлялась и исчезала в толпе, словно качалась на волне. Ее лицо показалось Бекетову измученным и испуганным, и он испытал болезненную жалость, мгновенную вину, которая сменилась желанием поскорей к ней пробиться и выведать все, что она знает о Градобоеве.

Он протиснулся, окликнул ее. Она устремилась навстречу, и их

сжало, стиснуло. Они стояли, прижавшись, среди гула толпы, рокота мегафонов, колыхания флагов.

– Мне страшно, – сказала Елена.

– Что Градобоев?

– Он был чем-то расстроен.

Постоянно звонил по телефону. Сквернословил, хотя с ним это редко случается.

– Будь рядом со мной. Не теряйся.

– Мне снился лось и что мы стоим на поляне и из снега выглядывают краснобровые птицы.

– Старайся быть рядом.

Активисты выстраивали колонны. Люди подчинялись окрикам, увещеваниям, мегафонным

командам. Передние ряды продвинулись по Якиманке к французскому посольству. Сзади огромно и слитно пучилась толпа. Градобоев стоял во главе, окруженный охраной. Сразу за ним выстроилась шеренга рослых молодцов в одинаковых темных куртках. У каждого на шее висел черный платок, который можно было натянуть на лицо. Бекетов угадывал в молодцах головной отряд, что первым вступит в бой с полицией, таранным ударом станет рассекать заслон.

— Первая колонна пошла! — гудел мегафон. — Вторая колонна пошла! — вторил ему другой. — Соблюдать

интервалы! — рокотал третий.

Людская масса колыхнулась, словно облегченно вздохнула, и двинулась, расширяясь, занимая всю проезжую часть, с ровным шорохом тысяч ног. Бекетов и Елена шли рядом, уже не в тесноте, окруженные воодушевленными людьми, которых влекло в просторном желобе улицы. И в этом движении многотысячной толпы чудилась повелевающая безымянная воля, управлявшая могучей массой — активистами, покрикивающими в мегафон, знаменосцами с пестрыми флагами, и самим Градобоевым, который сдвинул с места толпу, толкнул ее, как камень с горы. И уже не управлял

ею. Сам был во власти безымянной воли, подчинялся ее слепому господству.

Бекетов смотрел на Елену, на ее кожаную изящную куртку, отороченную мехом, на шелковый шарф, на пышные волосы, развеянные ветром. Ее лицо было бледным, истовым, словно она смирилась с судьбой, в которую ее увлекала слепая воля. Обессиленная, ждала, когда судьба нанесет свой жестокий удар.

Рядом семенила пожилая женщина, держа в руках бумажную иконку. За ней два молодых человека несли транспарант с надписью: «Чегоданов, беги из Кремля!»

Девушка несла веточку желтой мимозы. Несколько студентов танцевали, умудряясь не мешать движению, образуя внутри колонны плывущий вместе с ней хоровод. Красный флаг трепетал на древке, которое сжимал крепкий парень, норовя воздеть свое алое полотнище как можно выше. И где-то близко, заслоняемый людьми, играл саксофон. Печальный и возвышенный блюз парил над колонной, словно ее сопровождало в небе невидимое крылатое диво.

Бекетов все это видел, чувствовал единую, охватившую всех волну движения, ощущал неотвратимую, влекущую волю. Это

была его воля. Он направлял толпу к роковой черте, у которой остановится в своем грозном выборе русская история. Вспучится, взбурлит, нальется кровью, стенанием, прежде чем выберет свой путь. Это он, Бекетов, невидимый в толпе, вел ее к роковому перекрестку. Слабый, малый и смертный, управлял ходом русской истории.

Они шли по Якиманке, мимо роскошных витрин, стеклянных банков, чугунных решеток, аристократических фасадов. На тротуарах густо стояли люди. Одни приветственно махали, другие вливались в толпу, третьи

фотографировали, желая запечатлеть пестрое и нарядное шествие. Бекетов видел идущего впереди Градобоева, его упрямо наклоненную голову, крутые плечи, трехцветный российский флаг. В этой наклоненной голове и упрямом стремлении чудилась мессианская вера, подобная той, что владела пророком, выводящим народ из плена. Градобоев казался статуей на носу корабля, в которую ударяли грозные ветры истории. Бекетов на расстоянии чувствовал, как стучит в нем сердце, напрягаются плечи, содрогаются мускулы. И от этих содроганий по колонне бежала судорога, упругая конвульсия, словно

волна электричества, и Бекетов пропускал сквозь себя эти беззвучные толчки и удары.

Оглянулся на Елену. В ее глазах был ужас. Она беспомощно на него озиралась:

— Господи, что же будет!

Он испытал к ней слезное сострадание, чувство вины, мучительную нежность. Вдруг вспомнил ту поляну в ослепительном солнце, дивную лазурь в вершинах голых берез, и ему захотелось, чтобы благая безымянная сила выхватила их из толпы и унесла в ту лазурь, взяла живыми на небо, где цветут блаженные сады. Но это длилось мгновение. Хриплый мегафон

активиста прозвенел над ухом:

– Просьба сохранять интервалы!

Соблюдайте дистанцию!

Впереди появилась серая машина «Ударника», цепь полицейского заслона и пустое пространство моста, за которым, розовый, размытый, как акварель, возник Кремль.

Градобоев вышагивал во главе колонны. Трехцветный российский флаг то заслонял ему глаза своим алым и голубым шелком, то отлетал, открывая витрины, фасады, вывески банков и ресторанов. Он видел толпу на тротуарах, идущего рядом охранника Хуторянина, передававшего по рации команды,

дюжих охранников, прикрывавших его со спины и боков, литой брусок боевого отряда с черными платками у подбородков.

Градобоев чувствовал спиной могучий вал, давивший на него слепым стремлением. Сотни тысяч безвестных людей вложили в него свою волю и страсть, поместили в него надежды и упования, отказались от личных, отдельных судеб, передав ему свою жизнь. Он принял этот чудовищный дар, от которого взбухало сердце, ломило восторгом грудь, слезились от волнения глаза. Он возглавлял миллионный марш, был поводырем и вождем, которого выбрал рок для исполнения великой

задачи. И когда впереди, как гора застывшей лавы, возник «Ударник» и выгнулся Каменный мост с полицейским заслоном и за этой, блестящей щитами и шлемами цепью, за влажным горбом моста возник, как видение, Кремль, Градобоев ощутил чудесную вспышку. Ликование сменилось мгновенным страхом, а страх превратился в озарение, в котором открылось громадное, ему предстоящее свершение.

Полицейская цепь перегораживала устье моста, оставляя свободным сход на Болотную площадь, где темнели деревья и краснела трибуна.

Пространство, разделявшее цепь и колонну, оставалось пустым. Медленно уменьшалось с каждым шагом Градобоева, который чувствовал это пространство как упругую, не пускавшую в себя пустоту. Каждый шаг давался с трудом. Мост казался голубоватой вороненой пружиной, которая распрямится, ударит по толпе, отшвырнет, смертельно оглушит Градобоева. Но розовый Кремль в чудесном сиянии манил, волшебном томил, звал Градобоева. Там, за куполами и башнями, за розовой стеной таилась драгоценная капля, стоцветный бриллиант, пленивший его своей магической силой, как

пленял он многих до него, стремившихся в этот сказочный град.

Пространство между цепью и колонной сжималось. Градобоев шагал, чувствуя приближение невидимой, проведенной по асфальту черты, у которой ему предстоит совершить грозный выбор. Либо свернуть к Болотной, увлекая колонну, и там, среди деревьев, с трибуны повторить свои пылкие речи под восторженный рокот толпы. Или, повинувшись давлению судьбы, колдовскому притяжению Кремля, двинуть на мост. Ударить всей мощью стотысячного тарана в зыбкую цепь полицейских. Прорвать и ревущей магмой, опрокидывая

заслоны, ворваться в Кремль, где в расписных палатах, онемевший от ужаса, притаился Чегоданов. И пусть его берет разгневанный народ, перекидывает с рук на руки, рвет на части, вершит промыслительный суд истории.

Сердце страшно дрогнуло, он переступил черту и, обернувшись к Хуторянину, сказал:

– Пора!

И тот что-то булькнул в рацию. Бойцы головного отряда натянули платки на лица, нахлобучили вязанные шапочки. На белевших полосках лиц жестоко засверкали глаза.

Полицейские щиты и шлемы стремительно надвигались. Охрана,

стиснув Градобоева, остановила его. Толпа стала их омывать, катилась вперед, а он отступал, двигался встречь толпе, сдвигался к спуску на площадь. Слышал, как страшно лязгнуло, взвыло и ахнуло. Таран ударил в железо. Бронебойный клин врезался в цепь полицейских. Толпа, как кипящий вар, облепила щиты и шлемы.

Рубились в рукопашной насмерть. Боевики ногами били в щиты, наносили удары в голову. Проминалось железо, слетали с голов шаровидные шлемы, трескались пластмассовые забрала. Полицейские дубины ломали скулы и челюсти, тупо глушили. Удары щитов

плющили тела, в кровавые лепешки сминали лица.

Полицейский, потеряв щит и шлем, ошалело, как оглушенная рыба, пучил глаза, а его валили, топтали, запрыгивали ногами на грудную клетку, выдавливая изо рта струйку крови. Демонстрант упал на колени, а его дубасили с обеих сторон, и при каждом ударе дубины из него вылетала красная жижа, в которой сверкали выбитые зубы. Он клонился, заваливался, а его продолжали бить, словно вгоняли в асфальт. Двое схватились, коленями били в пах, топтались, хрипели, пока полицейский не боднул головой демонстранта, и тот отшатнулся,

получил вдогонку удар ногой, от которого тупо рухнул. И среди рукопашной, уклоняясь от ударов, двигались полицейские операторы с телекамерами, выхватывая лица боевиков.

Схватка напоминала жуткое нерестилище, которое трещало, бурлило, брызгало кровавой икрой и молокой. У боевиков слетали платки, открывались молодые ненавидящие лица, рты, изрыгавшие мат, расквашенные в кровь носы. Полицейские, потеряв щиты и дубины, бились, как борцы без правил, доставая ногами врагов. В руках боевиков появились заточки, и двое полицейских ахнули, хватаясь за

бока, откуда извлекали тонкую, окрашенную кровью сталь.

Грохнул взрывпакет, на мгновение расшвыряв полицейских, но открывшаяся пустота вновь наполнилась яростными клубками. Полетела пластмассовая бутылка с бензином, полыхнула липким огнем. Полицейский, охваченный пламенем, закрутился волчком, по-звериному взвыл, оставляя ряды.

Заслон был прорван, цепь разомкнулась. Черная магма с ревом потекла, заливая мост до перил и бронзовых фонарей.

Бекетов, оттесненный в сторону, видел взмахи дубинок, слышал лязг щитов. Под ногами у него валялся

разорванный транспарант. Знаменосец с имперским флагом наклонил древко, действуя им как копьем. Молодая женщина схватила на руки ребенка, поворачиваясь спиной к ударам.

Бекетов увидел Елену, ее смертельно белое лицо, беззвучно кричащий рот. Ринулся к ней, рывками приблизился, схватил за рукав и, почти отрывая его, потянул, выдирая из драки. Их подхватила толпа, которая стекала к Болотной, отделяясь от основного потока, льющегося на мост.

И уже из-под моста выбегали свежие силы ОМОНа. Блестели щиты и шлемы. Рассекали бегущую на мост

толпу, оттесняли обратно на Якиманку. Били в тыл головному отряду. От Кремля валили на мост войска, закупорили спуск, зажав демонстрантов в тиски. Подкатывали автозаки. На мосту еще продолжалась драка, но демонстрантов выхватывали из гущи, тащили волоком, вбрасывали в автозаки. Ярость стихала. Рассеченная на ломти толпа сдавалась, таяла, исчезала в уродливых железных коробках.

Бекетов видел Градобоева, что-то беспомощно выкликавшего в мегафон. Видел обморочное лицо Елены. Испытывал жестокое торжество, чувство победы, которую

одержал над слепой историей.
Заставил ее следовать в заданном
направлении.

ГЛАВА 33

Уже вечером Немврозов вышел в эфир со своей метафорической программой «Смута». Бледный от волнения, с лицом театрального трагика, он возвестил о катастрофе, которая приблизилась к русскому порогу. О мятеже, который с великим трудом был остановлен, но не отступил, притаился, готов полыхнуть оранжевым пламенем и испепелить, в который уж раз, Государство Российское.

На экране возникла колонна, черная смола, затопившая Якиманку. Транспаранты: «Чегоданов – беги!», «Чегоданов, привет от Каддафи!»,

«Градобоев — наш президент!». Возник Градобоев, с лицом вождя и пророка, с полубезумной улыбкой, шагающий в окружении знамен и цветов. И сразу — драка с полицией у въезда на мост. Дубины, щиты, удары ног, кулаков. Демонстрант с зачехленным лицом засунул пальцы в рот полицейскому и рвет ему губы. Другой демонстрант выхватывает из груди полицейского заточку, красную от крови.

«Неужели снова авантюрист и разбойник ввергнет народ в братоубийство? Неужели морги наполнятся трупами русских людей?» — трагически вопрошал Немвров. И тут же возникали

стеллажи морга и уложенные на них обнаженные трупы – задеревеневшие руки, заостренные носы, разведенные врозь ступни.

Снова «Марш миллионов», знамена, плакаты: «Чегоданов, отдай награбленное!», «Градобоев, вперед, на Кремль!». Истовое, с блуждающей улыбкой лицо Градобоева, розовое видение Кремля и свалка на мосту. Оружие рты, лязги щитов. Молодой знаменосец бьет заостренным древком в основание полицейского шлема. Полицейский, роняя дубинку, падает навзничь, а ему на грудь запрыгивает разъяренный демонстрант и начинает прыгать.

«Люди русские, неужели нам

опять суждены танки в центре Москвы, горящий город, брат, стреляющий в брата? Неужели злобный заговорщик, мерзкий чародей и колдун запалит пожар в центре святой Москвы?»

Возник Белый дом с дымящими окнами, черный от сажи фасад, танки стреляют прямой наводкой, и рыдающая женщина, возносящая руки к небу.

«Да, воистину, нам нужна великая Россия, а им, бесам тьмы, нужны великие потрясения, — патетически возглашал Немврозов, и в голосе его дрожала больная, готовая лопнуть струна. — Посмотрите на них, вот они, оранжевые бесы!»

И снова колонна. Зоркая телекамера нашла в ней молодого мужчину с горбатым носом, гибким змеиным телом и плакатом: «Проведем гей-парад Победы в Москве!» Рядом две девушки целуют друг друга в губы, обнажают груди, крутят страстными бедрами. Третья держит над ними икону и плакат: «Однополые браки заключаются на небесах!» И опять чудовищная драка. У полицейского отбирают щит, срывают шлем, тащат по асфальту, и какая-то женщина хлещет его букетом цветов, плюет в окровавленное лицо. Лик Градобоева, надменный, счастливый. Вершитель истории, хозяин

человеческих судеб.

«Братья и сестры, неужели допустим, чтобы в наших городах свистели пули и рвались снаряды? Неужели наши чудесные дома, дворцы, храмы, наши бульвары и парки станут выжженной землей?»

И возникли картины разгромленного Грозного. Остовы домов, сгоревшие танки, изглоданный снарядами дворец Дудаева, трупы на улицах. Из разорванного газопровода вырывается рыжее пламя, озаряет снега, и среди снегов, в коконе света — цветущая вишня, разбуженная адским огнем.

«Граждане России, это он,

Градобоев, рвется в Кремль по вашим трупам. Он строит свой храм из ваших гробов!»

Градобоев шел во главе колонны, как триумфатор, окруженный цветами и флагами. За ним тянулся бесконечный поток людей, ликующие, восхищенные лица. И этот поток, эти лица сменились погребальной процессией. Множество гробов плыло над толпой среди рыданий и слез. Эти кадры текущих гробов повторялись еще и еще, и казалось, что процессии нет конца и гробам нет числа. «Марш миллионов» превратился в похоронный марш, и это зрелище было невыносимо.

После передачи Бекетов позвонил Немвровову.

— Ты гений! Твои заслуги неоценимы! Когда мы победим, я поставлю перед Чегодановым вопрос, чтобы тебе дали канал. Мы накануне новых времен, и для этих времен потребуются новые символы, новый язык, новая метафора. И на это способен только ты!

— Что бы я делал без тебя, мой учитель и вдохновитель! — польщенный, воскликнул Немвровов. — Я приму от Чегоданова канал, если ты станешь моим личным опекуном и консультантом. Новой России без тебя не быть. Не Чегоданов, а ты — архитектор новой

России! – И в голосе Немвროзова звучала неподдельная благодарность и благоговение.

ГЛАВА 34

За три дня до президентских выборов в Москве состоялись шествие и митинг в поддержку Чегоданова. Теплым влажным утром, под весенними тучами, сквозь которые внезапно брызгало солнце, по пустому Кутузовскому проспекту, от Москвы-реки к Поклонной горе, двинулись медлительные торжественные колонны.

Их возглавляли хоругвеносцы. Могучие, в черном облачении, с железными бородами, они сжимали в костяных кулаках тяжелые древки, на которых развевались хоругви и прапоры. На громадных, шитых

золотом и серебром полотнищах
волновались Спасы с огромными
глазами и жемчужными волосами,
Богородицы в фиолетовых и алых
покровах, угодники со священными
книгами, ангелы с шелковыми
крыльями. Грозно и восхитительно
сияло серебром огромное распятие с
голгофой и черепом в основании.

Шествие хоругвеносцев, их
неодолимая поступь воплощали
могущество Церкви Воинствующей,
которая окормляет Россию хлебом
духовым.

За хоругвеносцами шли
православные братства. Множество
женщин и мужчин несли иконы в
окладах, на белоснежных

полотенцах, среди горящих свечей и лампад. Они пели псалмы, и казалось, песнопения несутся из низких облаков. Вдруг брызгало солнце, на рушниках расцветали шитые шелками цветы и ягоды, озарялось чье-нибудь восхищенное женское лицо, чей-нибудь мужской торжественный лик, обращенные ввысь. Туда, где над головами струилась тонкая, жемчужного цвета, лента, изображающая Пояс Богородицы. Пояс, который заслонял Москву от всех напастей и бед, разгонял сатанинские полчища, клал предел злу и насилию.

За этой взволнованной поющей колонной, знаменующей Торжество

Православия, двигался танк Т-90. Медлительный, тяжелый, рокочущий, он сотрясал окна окрестных домов. Был весь золотой – башня, пушка, броня, крутящиеся катки, лязгающие гусеницы. Он был похож на огромный церковный купол, от которого расходилось сияние. Если солнце выходило из-за туч, он сверкал, как ангельское диво, был волшебным слитком, упавшим с небес. Люк танка был открыт, и из него выросло дерево – розовая весенняя верба, усыпанная пухом, напоенная соком, предвестница пасхальных торжеств. Знак вечного русского воскрешения, которое выводит из тьмы богоспасаемый

русский народ, бессмертную Россию. Танк с пасхальной вербой проплывал, как золотой алтарь, подтверждая святость русского оружия. Казалось, на расцветающей вербе загораются лучистые свечи.

Следом двигался Союз десантников — голубые береты, тельняшки, поношенные камуфляжи. Здесь была молодежь, недавно отслужившая, еще тещащая себя буйными гуляньями в праздничные дни ВДВ. Здесь были седые ветераны, прошедшие бои под Кандагаром и Гератом. Стяги, которые колыхались над колонной, были сожжены солнцем пустынь, обуглены пожарами Шатоя и

Грозного, пробиты пулями и осколками Хасавюрта и Аргуна. Впереди десантной колонны двигались инвалидные коляски с безногими героями, грудь которых украшали боевые ордена СССР и новой России. Лица инвалидов, в ожогах и шрамах, были строги и серьезны, в тайном озарении былых страданий и невзгод, перенесенных во имя Родины.

Колонну десантников продлили казаки. Одни шли пешим строем, другие гарцевали на конях. Разноцветные мундиры казачьих войск — донские, кубанские, семиреченские, уральские, амурские. Алые лампасы, золотые погоны,

Георгиевские кресты. Красавец казак в седле оглянулся на товарищей, закрутил лихой ус и запел: «Из-за леса, леса копий и мечей едет сотня казаков-усачей». И весь пеший и конный строй откликнулся громогласно. Глянуло солнце, заиграло на погонах, и конь под запевалой стал играть, пританцовывая.

Колонны двигались по Кутузовскому проспекту. Тротуары были переполнены толпой, которая махала, кричала «ура», кидала демонстрантам цветы.

Шла колонна оборонных предприятий — Москва и Урал, Петербург и Поволжье, Казань и

Ростов. Те, кто строил бомбардировщики и истребители, подводные лодки и корветы, ракеты ближнего и дальнего боя, боевые лазеры и космические аппараты. Это были инженеры, способные создавать сверхсложные машины. Конструкторы, изобретавшие оружие будущих русских побед. Рабочие, владеющие магией огня и металла. Над ними возвышалась платформа, на которой был установлен двигатель ракеты, предназначенной для марсианского полета. Голубая нержавеющая сталь. Драгоценно сверкающие сопла. Сплетение трубок и труб, как таинственных сосудов, по которым текут

животворные соки. Двигатель возвышался, словно фантастическая скульптура, изделие гениального скульптора, не уступавшее своей красотой античным статуям. Он был разукрашен шелковыми лентами, как языческий Перун, который спустился на землю и снова, в буре огня, вознесется на небо.

Бравурно и радостно ударила музыка. Сталинский «Марш энтузиастов», казалось, раздвинул фасады проспекта, хлынул из невидимых скважин, которые были закупорены полвека, а теперь взыграли силой и молодостью. Шла колонна физкультурников, все в белом. Девушки с короткими

прическами комсомолок, с круглыми грудями, на которых от холода проступили соски. Юноши с сильными лицами плакатных героев, с литыми мускулами и белозубыми улыбками. Казалось, эти прекрасные телом люди были представителями новой расы, идущей на смену болезненным и чахлым поколениям, наводнившим дискотеки, ночные клубы и супермаркеты. Среди колонны плыла платформа, на которой гимнасты, взлетая друг другу на плечи, выстраивали пирамиды, башни, живые геометрические фигуры, и одной из них, созданной из пластичных упругих тел, была пятиконечная звезда.

Физкультурников сменили ряды патриотов, ратующих за здоровый образ жизни. Члены военно-исторических клубов, мастера народных единоборств, отцы и матери многодетных семейств. Пестрели плакаты: «Русский – значит трезвый!», «Много деток – хорошо!», «Табачный торговец – враг народа!». Демонстранты несли на руках батут, на котором прыгали, крутились в воздухе, схватывались в борьбе упрямые босоногие молодцы, неустойчивые и веселые.

Это организованное, построенное в ряды шествие продолжал людской поток, который лился сплошной лавой. Над ним

улетали в небо надувные шары, развевались флаги, ленты. В толпе играли гармони, люди танцевали, принимали в свой круг стоящих на тротуарах. И все это голосистое, посвистывающее, приплясывающее множество двигалось по Кутузовскому проспекту. Мимо тяжеловесных сталинских домов, Бородинской панорамы, Триумфальной арки, к Поклонной горе, где шествие останавливалось. Набухало, растекалось на открытом пространстве, у шпиля, на котором, в небесах, несяся Георгий Победоносец. Здесь же возвышалась трибуна, окруженная флагами. Она примыкала к загадочному,

укутанному в полотнища
сооружению, напоминавшему
задрапированный памятник.

Все это видел Бекетов, узнавая в
убранстве колонн свой замысел,
свою режиссуру, которую положил в
основу предвыборного митинга.
Осмысленную стройность и
созидательную мощь государства
противопоставил слепой стихии
разрушительного протеста. Этот
митинг был задуман им как
последний победный удар,
опрокидывающий Градобоева. Как
триумф Чегодаева, перед его
вступлением в Кремль.

Он стоял в толпе, среди которой
отливал золотом мистический танк,

сиял, украшенный лентами, космический двигатель. Бекетов вдыхал весенний ветер, прилетевший с подмосковных полей, где еще лежали в оврагах последние снега, расцветали на опушках золотистые ивы, летели под облаками стаи птиц. Он был в нетерпении, как и тысячи окружавших его единоверцев, сынов Отечества, государственных мужей, исповедующих государственный символ веры. Ждал появления Чегоданова.

Тонко пропели фанфары. Взлетели флаги. И ликующий, с восторженным придыханием голос возвестил:

— Кандидат в президенты

Российской Федерации Федор
Федорович Чегоданов!

Еще продолжал звучать голос, а на трибуну летучим шагом, с отмахой левой руки, вышел Чегоданов, в светлой расстегнутой куртке, без головного убора, стремительный, как порыв весеннего ветра. Он шел к середине трибуны, а за его спиной с таинственного сооружения начинали опадать покровы, слетало огромное полотнище. И возникало сияющее диво, фронтовой бомбардировщик Су-34, в блеске отточенных кромок, с хрустальным кристаллом кабины, весь в светоносных потоках, лучах. Казалось, он метнется вперед,

брызнет огнем и взмоет в ликующий свет.

Все ахнули, толпа восторженно
колыхнулась, тысячи глаз
устремились к дивной машине, к
человеку, который, казалось,
спустился с неба на божественной
колеснице. К их будущему
президенту.

— Я пришел к вам в канун
великого выбора! В час, когда наш
народ стоит на распутье истории. —
Голос Чегоданова зазвучал, запел,
наполнился властным рокотом,
молитвенной искренностью. — Опять
наш великий, многострадальный
народ поставлен на перекресток
истории. Ему предстоит выбрать

между искусительными соблазнами, исходящими все от тех же лукавцев, что не раз ввергали Россию в погибель. И великими трудами, славными свершениями и победным венцом. И я, обращаясь к вам сегодня, повторяю слова нашего славного предшественника, сказанные в пору смуты: «Нам, патриотам, нужна великая Россия, а им, извечным врагам России, нужны великие потрясения!»

Чегоданов умолк, и толпа возбужденно гудела, словно в ней рокотал невидимый бубен. Бессчетные вспышки фотографов перебегали из края в край, словно бенгальские искры. Рокот утих, и

Чегоданов продолжал:

— Мы — дети мессианского народа, который был сотворен Господом для величайших свершений. Мы получили в дар самую прекрасную и святую землю. Мы своими трудами, жертвами и молитвами создали неповторимую русскую цивилизацию, которую веками сберегали от огней и пожаров. Мы те, среди которых родились Александр Невский и Дмитрий Донской, Сергей Радонежский и Серафим Саровский, Суворов и Жуков, Пушкин и Гумилев. И сегодня, сражаясь за Россию, мы продолжаем подвиг Куликова поля и Бородина, Сталинграда и Курской

дуги! Враг не пройдет!

Площадь взревела. Золотой танк
полыхнул сиянием. Ракетный
двигатель брызнул солнечным
серебром. Репортеры давились,
тянули свои телекамеры и
микрофоны. Бекетов слушал с
восхищением. Перед народом
предстал новый лидер,
преображенный вождь, плоть от
плоти великой страны. Свершилось
то, к чему так стремился Бекетов.
Случилось чудо. Ясный лицом,
неколебимый духом, исповедник
Русской Победы, Чегоданов звал
народ в грозное и прекрасное
будущее. И народ, услышав в себе
таинственные гулы истории, шел за

СВОИМ ВОЖДЕМ.

— Мы вышли в священный поход, и вместе с нами идут наши предки и наши еще не родившиеся младенцы. Нам предстоят годы терпеливых трудов и часы неувядаемой славы. Враг России будет разгромлен, и его опозоренные знамена упадут на брусчатку. Братья, мы победим! С нами Бог!

Площадь ликовала.

— Президент! Президент! — выдыхали тысячи ртов.

Бекетов чувствовал, как глаза наполнились слезами, а сердце любовью к этому человеку у ослепительного самолета, вокруг которого играли лучи. Он любил его,

был верен ему, был готов служить ему, идти за ним сквозь все труды и невзгоды.

Площадь колыхалась, гудела. Чегоданов стоял, воздев руки. Внезапно к небу устремились лазерные пучки, и на облаках, на волнистых тучах стали рисовать волшебные узоры. Божественные цветы — алые розы, белые лилии, голубые тюльпаны, фиолетовые пионы. Все небо было в дивных цветах, словно к земле приблизились сады Рая, и все, кто стоял у трибуны, вместе с Чегодановым, возносились в эти райские цветники.

ГЛАВА 35

В апрельское воскресенье состоялись президентские выборы. Зашевелился огромный муравейник страны, и люди прилежно потянулись бесчисленными тропами выбирать себе матку. Избирательные участки в школах и Домах культуры были украшены первыми цветами. Классные дамы, взявшие на себя роль председателей счетных комиссий, перелистывали списки, словно школьные сочинения. Кабинки напоминали часовенки, в которых один за другим скрывались избиратели, сжимая заветный бюллетень. Наблюдатели, как зоркие

ястреба, подмечали промахи и злоупотребления комиссий. Полицейские с дубинками охраняли священные алтари — прозрачные урны. Камеры наблюдения делали выборы гласными и открытыми. «Карусели» с наймитами кружили среди участков, и наемники по несколько раз отдавали свои оплаченные голоса. Проходили тайные вбросы фальшивых бюллетеней, где значатся «мертвые души». Подкупали стариков, отдающих свой голос за сотенную купюру. Одаривали водкой деревенских пьянчуг, падающих на землю тут же, возле участков. Нервничали губернаторы, следящие

за голосованием в своих регионах. В тайных сводках спецслужбы извещали Центр о политической обстановке в губерниях. Неутомимые журналисты жаждали провокаций и скандалов. Работала электронная система «ГАЗ-Выборы», в которую не проникал ни один, самый въедливый наблюдатель, машина, равнодушная к прозрачным урнам и телекамерам, с тайной, заложенной в нее математикой.

Люди шли выбирать себе правителя, насмотревшись агитационных роликов, начитавшись заказных статей, надышавшись приторным воздухом предвыборных посулов и обещаний. Они верили,

что новый правитель прибавит хоть малую толику к их скромным достаткам. Не желали думать, что этот правитель может послать их на войну, разорить их утлый уклад, ввергнуть государство в испытания, которые приведут народ к бунту, революции, распаду страны.

Градобоев, после разгона «Марша миллионов», после бойни у Каменного моста, понимал, что случилась катастрофа. Чья-то безымянная беспощадная воля послала его в ловушку, ослепила, внушила умопомрачительный план и ввергла в погибель. Среди его сторонников начались аресты. Прокремлевская пресса обвиняла его

в попытке государственного переворота. Науськивала на него правоохранительные органы. Наменяла на склады оружия, боевиков, снайперов, которые отслеживали маршруты Чегоданова. И конечно, упоминались иностранные деньги, американский посол, специалисты по «оранжевым» революциям. Страна бурлила, ужасалась, обыватель верил чудовищным слухам. И все это, накануне голосования, сулило поражение.

Изведенный, с красными от бессонницы глазами, Градобоев явился на избирательный участок. Верный телохранитель Хуторянин

окружил его плотным кольцом охраны. Шел впереди, раздвигая стену журналистов, отводя рукой назойливые телекамеры и косматые микрофоны. Градобоев с деланым весельем принял от седой благовидной женщины бюллетень, скрылся в кабинке. Перечеркнул в бюллетене ненавистную фамилию Чегоданов. Сунул сложенный вдвое листок в щель прозрачной урны, напоминающей аквариум, стоявший когда-то в его детской комнате. Изумрудные водоросли, цепочки серебряных пузырьков и крохотные, как радуги, рыбки, гонявшиеся одна за другой.

Вышел из кабинки. Несколько

журналистов, допущенные
Хуторянином, поспешили задать
вопросы:

— Позвольте узнать, Иван
Александрович, за кого вы
голосовали?

— За Россию, — улыбаясь, ответил
Градобоев.

— Правда ли, что ваши соратники
планировали захват Кремля и арест
Чегоданова?

— Для меня и моих сторонников
Конституция — превыше всего. Мы
против насильственных действий.

— Вы не боитесь, что атака на
вас в правительственных СМИ
предвещает грандиозную
фальсификацию выборов? Уже

поступают сообщения о злостных нарушениях и вбросах.

– Если власть украдет у народа голоса, как она украла нефть, землю, алмазы, народ выйдет на улицу. И я буду вместе с моим народом.

Вопросы продолжались, но Хуторянин увел Градобоева, заслоняя его своим телом, усадил в машину, и они покатили в штаб.

В особняке былолюдно. Толпились журналисты, переговаривались политтехнологи. Члены штаба встретили Градобоева с повышенным воодушевлением, как встречают пациента с тяжелым диагнозом, стараясь скрыть правду. Елена была тут же, с болезненным

несчастливым лицом, умоляющими глазами, и вид этих беспомощных глаз породил у Градобоева едкое раздражение, желание причинить ей боль.

— Где же Бекетов? — спросил Градобоев. — Он учил меня Русской Победе. Так давайте праздновать!

По телевизору шли репортажи о голосовании в разных регионах страны — на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири. То и дело включалась трансляция демонстрационного зала Центральной избирательной комиссии. Председатель комиссии Погребец, бородатый, степенный, как старообрядец, зачитывал сводки

голосований. Открывалась карта России, покрытая золотыми и зелеными пятнами, свидетельствующими о симпатиях избирателей. Золотой цвет принадлежал Чегоданову, а зеленый Градобоеву. Золотой был яркий и свежий, а зеленый с мутноватым оттенком. И в этом Градобоев усматривал дискриминацию.

И вдруг – о, чудо! – Погребец возвестил, что на Дальнем Востоке с небольшим отрывом побеждает Градобоев. Это сообщение вызвало в штабе взрыв ликования, аплодисменты. Все кинулись поздравлять Градобоева, а в нем брызнула радость, как брызжет в

разрыве туч летящее солнце.

Журналисты окружили Градобоева, наперебой спрашивали:

— В случае победы кто будет вашим премьер-министром?

— Есть ли шанс у коммунистов войти в правительство?

— В своих предвыборных речах вы обещали начать расследование злоупотреблений прежней власти. Ваши обещания в силе?

Градобоев отвечал, иногда шутил, иногда говорил с непреклонной волей и твердостью, как власть имеющий. В штабе царило воодушевление. Кто-то принес цветы. Кто-то бросился открывать шампанское. Но скоро

воодушевление утасло.

Дальневосточные голоса сравнивались, а потом вперед вырвался Чегоданов.

– Мерзавцы! Фальсификаторы! – тоскливо произнес Градобоев.

День длился. Все новые регионы в Восточной и Западной Сибири завершали голосование, подводили итоги, и повсюду с подавляющим перевесом побеждал Чегоданов. И в селах, и в мегаполисах, и в промышленных центрах, и в заполярных стойбищах, и в гарнизонах, и на кораблях дальнего плавания. Градобоев понимал, – это был разгром, повсеместный, необратимый, испепеляющий его судьбу, отдающий его во власть

жестоким циничным победителям, которые уничтожат его.

Журналисты покидали штаб Градобоева. Перемещались туда, где царил победитель. Градобоев с презрением смотрел, как они укладывают камеры и осветительные приборы, отводят блудливые взгляды, не прощаясь уходят. Один из них напоследок протянул Градобоеву мохнатый микрофон и нагло спросил:

— Господин Градобоев, вы намерены поздравить господина Чегоданова с победой?

— Это воровская победа, как и все, что связано с Чегодановым! Уже сегодня я призову народ выйти на

площадь и потребовать отмены фальшивых выборов! Народ — не быдло! Народ имеет право на восстание!

День тянулся тоскливо, Градобоев томился, с отвращением ожидая появления старообрядческой бороды Погребца. Тот сытым, спокойным голосом возвещал об очередной победе Чегоданова. Пристрастия избирателей распределялись в пропорции «восемьдесят к двадцати» в пользу Чегоданова, и вес Чегоданова неуклонно увеличивался. «Ты взвешен и найден слишком легким» — язвили память Градобоева библейские слова, звучавшие для

него как приговор. Не политический, а приговор всей его жизни, всем его устремлениям и мечтам. Неведомой волей он был вовлечен в западню и там уничтожен. И больше никогда не явится ему пленительная драгоценная капля, радужная Божья росинка, утренний бриллиант, который вел его, словно путеводная звезда, от той утренней детской лужайки в Кремль.

Елена мучилась, боялась подойти к Градобоеву. Видела, как тот страдает, ненавидит, бессильно мечется, хватается за телефон, связываясь со сторонниками в регионах. Замечала, как пустеет вокруг него пространство, как

трусливо бегут те, кто недавно клялся в любви. И не было рядом Бекетова, не было его горящих верящих глаз, его пламенного вдохновляющего голоса. Елена много раз принималась звонить Бекетову, но его телефон был заблокирован. Опять ее душа металась в раздвоении. Она стремилась спасти Градобоева, уберечь Бекетова, обоих окружить своей женственностью.

Наконец в полночь были объявлены предварительные итоги голосования по всей стране. Это был оглушительный разгром Градобоева. За Чегоданова проголосовало восемьдесят два процента избирателей, и эта цифра медленно

нарасталa. Погребец со своей окладистой бородой, упитанным голосом, профессорскими очками был палач, от которого в ужасе шарахалась душа Градобоева.

Показывали штаб победителя. Ломились журналисты. Ликовали министры, депутаты и губернаторы. Чегоданов, изящный, гибкий, то и дело исчезал в чьих-нибудь объятиях. То обнимался с режиссером Купатовым. То тряс руку главе Администрации Любашину. Президент Стоцкий целовал Чегоданова, счастливый и просветленный, передавая обратно бремя непосильной власти. За спиной Чегоданова маячил

телохранитель Божок со своим мягким, похожим на коровье вымя лицом. Черноволосая, страстная, как цыганка, Клара прильнула к Чегоданову своими пунцовыми губами. И вдруг Чегоданов, разомкнув круг обожателей, пошел навстречу человеку, которого сам выбрал в толпе. Обнял его, горячо прижал к груди. Градобоев, с тоской взирающий на экран, и Елена, не знающая, чем утешить несчастного, — оба узнали в человеке Бекетова. Его прижимал к себе Чегоданов. Бекетов улыбался, обнимая за плечи победителя. Официанты несли на подносах шампанское, и первым, с кем чокнулся Чегоданов, был

Бекетов, он радостно, до дна опустошил свой бокал.

— Это что? — с ужасом прошептал Градобоев, обращаясь к Елене. — Что это?

Она не отвечала, прикрыв ладонью дрожащий рот.

Градобоев водил своими воловьими глазами, как бык, получивший в лоб удар кувалды. Все плыло, туманилось, покрывалось кровавой поволокой. Чудовищный обман, лютное предательство двигали окружавшими его явлениями, перемешивали и меняли местами события, людей, смыслы. Огромная бетономешалка месила окружающий мир, в котором ревели толпы,

грохотали щиты и дубины, розовел Кремль. И все перевертывалось, погружалось в темную гущу, и он сам, и висящий на стене предвыборный плакат с его портретом, и эта женщина, которая привела к нему предателя,пустила змею и теперь смотрит на него своими лживыми прекрасными глазами, что он так любил целовать, угадывал в них ответную безумную страсть.

— Сука, — сказал он шепотом. — Сука рваная. Пошла вон!

Елена слабо вскрикнула.

— Уйди, а то убью! — прохрипел Градобоев, толкая ее к дверям.

— Послушай меня, — слабо

сопротивлялась она.

– Шлюха! Ненавижу! – Он ревел, воздел над ней кулаки, вышвырнул из комнаты, слыша, как удаляются ее рыдания. Сел на диван, стиснул скулы ладонями и, раздвигая в оскале губы, завыл, как воет одинокий волк.

ГЛАВА 36

В штабе Чегоданова, в Доме Правительства, ликовали. Победно сверкали люстры. Валом валили чиновники, генералы, олимпийские чемпионы, деятели искусств. Разносили шампанское. Сверкали вспышки фотокамер. Чегоданов отвечал на приветствия, обнимался, находился в центре клубящегося вихря. Но был отделен ото всех незримой мембраной, сквозь которую не проникали поздравления, здравицы, признания в преданности и любви. Он чувствовал, как вновь, спустя четыре года, стягиваются к нему силовые линии власти и он

обретает угрюмое могущество, таинственное величие, которым питает его громадная молчаливая страна. В его душу и плоть, разум и память, в отяжелелые глазницы и онемелый язык льются загадочные потоки из туманных небес, наделяя непомерной властью, отягощая непосильным бременем. Двигают в бестелесную пустоту, откуда дует черный сквозняк истории. И он, так страстно рвавшийся к власти, страшится неотвратимого будущего, где, быть может, притаилась его гибель. Но уже не отступить, не убежать. Повинуясь вышней воле, он возьмет на себя это бремя, понесет, как несли до него бывшие правители,

исчезнувшие цари и вожди, среди народного обожания и ненависти.

Режиссер Купатов, глава предвыборного штаба, воздел бокал шампанского. Обводя увлажненными глазами участников торжества, старался поймать взгляд Чегоданова:

— Господа, быть может, у кого-нибудь во время предвыборной кампании возникали сомнения в ее победном исходе, но только не у меня. Я верил и верю в наш мудрый и прозорливый народ, который выбрал своего, народного президента. Того президента, который олицетворяет народные упования и надежды, черты народного духа и характера. Федор Федорович Чегоданов —

народный президент, он офицер и мудрец, рачительный хозяин и набожный христианин, он взирает вперед, не забывая о прошлом. Он владеет истинной формулой власти, которая звучит: «Любить народ и бояться Бога». Дорогой Федор Федорович, вы оценили нашу верность и преданность, нашу способность работать. Теперь, когда вы президент великой России, надейтесь на нас. Мы ваша гвардия, ваши «семеновцы» и «преображенцы». Поздравляю! – И он картинно чокнулся с Чегодановым, выпил бокал и разбил его об пол.

Пока проворные официанты

подбирали осколки, спич
произносил глава президентской
Администрации Любашин:

— Господа, любая перемена
власти таит в себе много опасностей.
«Оранжевая» революция, которую
остановила победа Федора
Федоровича Чегоданова, сулила нам
великие потрясения. Но, благодаря
выдержке, воле и прозорливости
Федора Федоровича, враг отступил, и
оранжевый зверь, подобный тигру,
превратился в маленькую оранжевую
кошку, которая забралась в дупло и
смотрит оттуда настороженными
злыми глазками. Бог любит
Чегоданова, поэтому он привел его к
победе. Бог любит Россию, поэтому

он подарил ей Чегоданова. Дорогой Федор Федорович, поздравляю и заверяю в нашей любви и верности! Вместе всегда победим! – Любашин залпом осушил бокал, но не стал его бить, а осторожно поставил на пол, откуда его ловко подхватил официант.

Теперь говорил Валентин Лаврентьевич Стоцкий, все еще президент, но уже поблекший, утративший плотность, пустой, как кокон, из которого упорхнула бабочка. Он счастливо, с обожанием смотрел на Чегоданова, пузырьки летели в его бокале, и сам он был легкий, как пузырек.

– Дорогой Федор, все ликуют,

поздравляя тебя с победой. Но только я знаю, что эта победа наваливает на тебя неподъемную тяжесть. Тяжесть управления такой страной, как Россия. Когда ты четыре года назад передавал мне власть, я не представлял, сколько она весит. А весит она столько, сколько весит земной шар. Дорогой Федор, поздравляя тебя, я возвращаю тебе в сохранности то, что принял четыре года назад. Возвращаю Россию, где в сохранности каждый город, каждая деревня, каждая речушка. Ты убедился в моей верности и любви. И впредь наш союз нерушим, и мы с тобой неразлучны. За твою Победу, за наш Союз! — Они обнялись с

Чегодановым. Пили шампанское, глядя один на другого сквозь золотой напиток.

Среди победителей присутствовал тележурналист Немврозов, чей вклад в победу был несомненен. Улучив момент, он подошел к Чегоданову, держа за хрупкую ножку бокал:

– Федор Федорович, с победой вас! – Он скромно поклонился, не позволяя себе вольного взгляда, понимая, какая дистанция между ним и всемогущим президентом, и тот милостиво чокнулся с ним.

Чегоданов поднял руку, прекращая шум. Все замерли, заворуженно, влюбленно глядя на

своего президента. Чегоданов благодарно обвел всех глазами, и все знали этот мягкий, вкрадчивый взгляд, суливший высочайшее расположение, милость, воздаяние за верную службу.

— Вы все работали безупречно, друзья мои. Мало кто может похвастаться такой образцовой командой, как наша. Вы все высочайшие профессионалы, все спаяны одной целью, и эта цель — наша ненаглядная Россия. Будем работать во имя России. За Россию! — Он выпил среди бурных рукоплесканий.

Бекетов испытывал утомление и благодатное тепло, которое сменило

ужасное, длившееся месяцами напряжение. Исчез близкий к срыву мучительный страх перед возможной ошибкой, сулившей катастрофу. Теперь, среди сверкания люстр, нежного стеклянного звона он оттаивал, наслаждался. Знал, что передышка на час. Уже завтра его вызовет Чегоданов, предложит пост в Администрации. Начнутся консультации по составу правительства, утверждение губернаторов, генералов в силовых министерствах.

Начальник охраны Божок в перерыве между тостами спросил:

– Федор Федорович, а что будем делать с этим разбойником

Градобоевым? Мне сообщили, что он созывает народ, хочет вести его к Дому Правительства.

— Он не опасен, — легкомысленно отмахнулся Чегоданов. — Он смертельно ранен и уползет в лес умирать под корягой.

— Может, ему помочь уползти?

— Он больше не волнует меня. Забудем о нем навсегда. И ты забудь!

— Будет сделано! Забудем навсегда! — шутовски щелкнул каблуками Божок, приложив ладонь к виску.

И Бекетов вдруг увидел красные угольки жестокости в смеющихся глазах телохранителя. И мысль о Елене, о которой не думал весь этот

грохочущий день. И мысль о Градобоеве, который мечется, как подранок, погружаясь во тьму своего поражения. Бекетов отошел, стал звонить Елене, но ее телефон молчал.

Между тем Чегоданов подошел к Стоцкому, который мило беседовал с режиссером Купатовым. Взял его дружески под руку:

– Прости, Валя, я на минуту тебя отвлеку, – повел в соседнюю комнату, где можно было уединиться во время ночных неусыпных бдений и оперативных совещаний. Провел Стоцкого к столику, на котором стоял компьютер. Вернулся к дверям и плотно их закрыл. Убедился, что и

вторая, ведущая из комнаты, дверь тоже закрыта.

– Что ты мне хочешь сказать, Федя? – улыбался Стоцкий.

Чегоданов достал из кармана флешку, вставил в компьютер. Зазвучал голос Стоцкого, дрожащий от страсти:

«Если бы вы знали, господин Градобоев, как вас ненавидит Чегоданов! Как вас боится! Вы для Чегоданова смертельный враг! Чегоданов чудовище, мерзкое, грязное! Он вор, ненасытный, безумный! Он захватил Россию и грабит, выскребает, хапает! Он главарь банды, которая изгрызла страну, не оставляя ей шанса выжить.

У него счета во всех банках мира, он хозяин тысяч корпораций и фирм. Он присваивает себе нефть, газ, сталь, оружие, хлеб. Его министры – воры. Его министр обороны своровал все довольствие армии, все вооружение. Он обворовывает космос, детские сады, ветеранов, больных туберкулезом...»

– Федя, это ложь, подделка! – воскликнул Стоцкий.

– Молчать! – приказал Чегоданов.

Голос Стоцкого, записанный на флешку, продолжал звучать:

«Он жестокий маньяк. Замучил жену, посадил ее на наркотик, чтобы она не мешала ему развратничать.

Ходит в церковь, молится на виду Господу Богу, а ночами ворожит, слушает колдуний, гадает на крови!...»

— Не верь, Федя! Нас хотят поссорить! — жалобно стонал Стоцкий.

— Молчать! — оборвал его Чегоданов.

Голос Стоцкого, исполненный ненависти, все звучал:

«И при этом сибарит, тяготится государственными делами. Полдня плавает в бассейне, играет в теннис, принимает массажи. Обожает дорогие авто, виллы, общество европейских аристократов, которые тайно смеются над ним. Он

мнителен, боится заговора, и когда-нибудь этот заговор осуществится. Его убьют золотой табакеркой в сумрачном коридоре дворца! Он — гибель России! Гибель русского народа! Россия его не вынесет! Помогите убрать его!»

Голос умолк. Было тихо, едва доносился неясный шум из-за двери. Чегоданов бесшумно рванулся, отвел одну ногу и, поворачиваясь на другой как циркуль, нанес Стоцкому разящий удар, так что чмокнули челюсти, откинулась голова, и комок густой крови ударил в стену. Стоцкий упал, открыл окровавленный рот, а Чегоданов бил его ногой в голову, в пах, в живот, приговаривая:

– Жестокий маньяк, говоришь!..
Замучил жену!.. Посадил ее на
наркотик!..

От ударов булькало тело
Стоцкого, он прижимал к животу
колени, заслонял лицо:

– Умоляю, не надо!.. Федя,
оклеветали!..

– Обворовывает космос,
говоришь!.. Ветеранов!.. Больных
туберкулезом!..

Он бил носком башмака, а
Стоцкий, рыдая, уползал к
противоположной двери, шаркая
коленями, оставляя на полу липкий
зловонный след.

Чегоданов вернулся к обществу,
которое продолжало праздновать.

Купатов, уже подшофе, витийствовал, объясняя Бекетову, почему России нужен сегодня такой президент, как Чегоданов:

— Видите ли, в нем воплотились народные архетипы, в которых народ узнает себя. Он и Отец, который взращивает свой народ. И Пастырь, который научает народ. И Герой, готовый вести народ на бой. И сказочник, навевающий народу сладкие сны. Разве вы не согласны?

— Пожалуй, — рассеянно отвечал Бекетов, думая о Елене, о Градобоеве, которых накрывал черный потоп поражения. В этой темной пучине горели красные угольки, Божок в болезненном

нетерпении облизывал губы.

— Извините. — К ним подошел Чегоданов, мило улыбаясь, трогая Бекетова за рукав. — Андрей, я на минуту отниму тебя у нашего замечательного режиссера, а потом он продолжит навевать тебе сладкие сны.

Чегоданов увел Бекетова в соседнюю комнату, где, как показалось Бекетову, витал едкий запах человеческой плоти.

— Андрей. — Чегоданов усадил Бекетова на диван с золоченой спинкой, движением осторожным, но властным. — Я должен тебе это сказать теперь, в первые минуты моего торжества. Я безмерно тебе

благодарен. Ты пришел мне на помощь в трудную минуту, позабыв обиду, и тебе были важны не наши с тобой отношения, но судьба государства. Не знаю, одержал бы я победу, окажись рядом со мной кто-нибудь другой, а не ты. — В лице Чегоданова была твердая ясность, спокойная уверенность, словно не было недавних бурь, нервных срывов, тоскливого ожидания. Власть, что он получил, разгладила мучительные морщины, наполнила тихим светом глаза. Исполнила сил, которые не таили в себе угрозы другим, а только твердое превосходство. — Но теперь, когда мы победили и враг повержен, — теперь, Андрей, мы

должны расстаться. Наступает совсем иная пора, где мне не нужны пылкие поучения и религиозные проповеди, исторические примеры и уверения в моем мессианстве. Мне это будет мешать. Я сам знаю, как управлять государством, как выстраивать отношения с элитами, как ладить с народом, как балансировать среди групп, от которых получил власть и которые наблюдают за каждым моим шагом. Предвыборный театр окончен. Начинается реальное управление, в процессе которого ты будешь помехой. Вначале мы станем сглаживать наши конфликты, но в конце концов они обретут открытую

форму, наша ссора станет достоянием гласности и пойдет во вред стране. Совсем как ссора царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Поэтому расстанемся сейчас, когда наши отношения безупречны. Я преисполнен к тебе самой высокой благодарности, самого чистого дружелюбия.

Бекетов слушал и удивлялся своему спокойствию. Казалось, он ожидал этого объяснения. Его на время заслоняли бурлящие марши и митинги, виртуозные комбинации, дерзкие решения на краю катастрофы, которая, случись она, накрыла бы их обоих вместе с гибнущей страной. Но теперь, когда

край беды отодвинулся, наступила пора расстаться. И он, «собенный друг царя», должен покинуть царский терем. Оставить расписные палаты и удалиться в изгнание, к северным монастырям и озерам, на которых кричат дикие лебеди.

– Ты можешь обвинить меня в неблагодарности, в вероломстве. Но ты сам говорил, что в политике действует совсем другая мораль. Морально то, что способствует возвышению государства. Мерилом людских отношений является только одно – судьба государства. Поэтому я прошу тебя удалиться. Ты ни в чем не будешь испытывать недостатка. По первому зову я кинусь к тебе на

помощь. Но теперь мы расстанемся.

А у Бекетова — сладкое головокружение, упоительное прозрение. Та волшебная поляна в лесу, сверкание снегов, смоляные красные сосны и упоительная лазурь, в которую они вознесутся с Еленой. Обнявшись, обожая друг друга, умчатся в бесконечную синь, «где неть болезней, печалей».

— Я согласен с тобой, Федор. Я уеду. Помогай тебе Бог.

Они обнялись и вышли вдвоем в гомон, смех, звон бокалов. Хмельные генералы пили за русскую армию. Министры обсуждали цены на энергоносители. Телохранитель Божок прикрывал веками красные

злые огоньки.

Бекетов уходил не прощаясь. Оглянувшись, заметил на стене, в свете праздничных люстр, розоватое пятно — силуэт баррикадника, расплющенного танковым снарядом.

ГЛАВА 37

В ночном городе Бекетов искал Елену. Ее мобильный телефон не отвечал. Не отвечал и домашний. Он позвонил в штаб Градобоева, но нелюбезный голос ответил, что пресс-секретаря здесь нет. Елена присутствовала в этом ночном, не желающем уснуть городе, среди порывов сырого ветра, дождевых брызг. Ее кружило в водоворотах, ударяло о выступы зданий, слепило ошалелыми фарами. Ее окружало несчастье, ненависть, презрение, и он был тому виной. Искал, чтобы объясниться.

Наконец он решил поехать к ее

дому на Трифоновской и у ворот караулить ее, как бы поздно она ни вернулась. Он стоял у чугунной решетки, заслоняясь от дождя, глядя на фасад, где погасли почти все огни. Лишь несколько оранжевых окон, свидетели чьих-то бессонниц, продолжали гореть. В далеком прогале ртутно светилась улица. По ней, размытые, как шаровые молнии, проносились огни. Он ждал, когда ее машина вынырнет из прогала, остановится у ворот и она, усталая, выйдет открывать замок. Он обнимет ее, поцелует любимые глаза, все объяснит, и они, свободные, любящие, уедут из этого грозного города. Унесутся в лазурь, где их

ждет восхитительная бесконечность.

В проеме зажглись фары, надвинулись, ослепили. Знакомая машина остановилась перед воротами. Елена вяло вышла, приблизилась. Бекетов выскользнул из тени, кинулся к ней.

– Это я, не бойся! – Видел, как она отшатнулась. – Я ждал тебя, волновался.

Он хотел ее обнять, но она шарахнулась, отгородилась руками.

– Это я, Лена!

– Не подходи! Ты мерзкий и подлый!

– Лена, я тебе все объясню... Ты права... Я не мог тебе рассказать... Все оставалось в тайне...

– Ты поступил как мерзавец!
Использовал меня, низко, гадко.

– Это было необходимо... Не ты
и не я... Решалась судьба
государства... Но теперь все
кончилось. Мы свободны. Мы можем
уехать.

Он попытался ее обнять, но она
отшатнулась:

– Не подходи!.. Я тебя
ненавижу!..

– Подожди, я все объясню. Мы
свободны. Мы сможем уехать, и нас
никто не достанет. Только ты и я.
Книги, стихи, природа. У нас будет
семья, ты родишь мне ребенка.
Поедем в ту новгородскую деревню,
где могила Хлебникова, станем ее

беречь. Нам будет чудесно, поверь!

— Посмотри на себя, ты ужасен! У тебя не губы, а шевелящиеся черви! У тебя не кожа, а чешуя! У тебя на руках когти, а между пальцами перепонки! Где ты появляешься, там смерть, разрушение! Ты предал меня, Градобоева, предал множество прекрасных людей. Теперь им грозит арест, тюрьма, даже смерть!

— Подожди! — Бекетов чувствовал, что теряет ее. Она удаляется навсегда, и он не в силах ее удержать. — Этот Божок, его красные жестокие угольки... Он сказал: «Забывать навсегда». Градобоев в опасности. Божок его хочет убить! Надо сообщить Градобоеву!

– Это ты его хочешь убить! Ты, ты! Он благородный, честный, страдалец за народное дело, мученик и святой! А вы с Чегодановым изверги и убийцы!

– Надо спасти Градобоева... Ты не уйдешь от меня... Та солнечная поляна, лазурь... Мы с тобой улетим...

Он обнял ее, но она с силой его отшвырнула:

– Ненавижу!

Запрыгнула в машину. Фары ослепили его. Машина попятилась, развернулась и исчезла в проеме, брызнув рубином.

Бекетов стоял ошеломленный, и дождь наносил ему хлесткие

пощечины.

Начальник охраны Божок видел, как Бекетов покинул штаб. На его толстом лице появилась довольная улыбка всеведения. Он пробрался сквозь скопище чиновников, депутатов, доверенных лиц. Его губы улыбались, а глаза презрительно скользили по шумному сборищу. В зрачках горели красные угольки нетерпения. В коридоре он достал мобильник и позвонил старому сослуживцу Семену Хуторянину, охраннику Градобоева.

– Здорово, Сема, еще не спишь?

– Здорово, Петя. Не до сна. Как там твой?

– На седьмом небе. А твой?

– Жить не хочет.

– Поможем. У меня к тебе

просьба.

– Говори.

– К твоему штабу придет народ.

Ну, разные там активисты, оппозиционеры. Плакаты, мегафоны: «Градобоев – наш президент!», «Бойкот фальшивым выборам!», «Чегоданов украл голоса!». И всякое разное. Ты им не мешай. Пусть колобродят. Попроси своего, чтобы вышел к ним на балкон, уважил народ. Сделаешь?

– Это надо?

– Сделай, прошу тебя.

– Куда мне теперь податься,

Петя? Ты бы вытащил меня из болота.

— Я тебя под Первомайской вытащил, и сейчас вытащу. Будешь работать со мной.

— Спасибо, Петя, ты друг. А что просишь, то сделаю.

— Ну, бывай.

Божок снова набрал номер и тихо приказал:

— Давай, выводил людей. Действуй по схеме «Б». «Куда, куда», — откуда мать родила. К штабу Градобоева, башка куриная.

Божок вернулся в шумный зал, где продолжали праздновать успех, уже без Чегоданова. Подошел к Немвровову, который рассказывал

забавную историю олимпийской чемпионке по гимнастике.

— Можно вас на минутку, Михаил, — отозвал он Немвროзова. — Вы исключительный талант. Как говорится, звезда нашей тележурналистики.

Немвровов польщенно поклонился, не ожидая услышать столь высокую похвалу от всемогущего человека:

— Я делал что мог. Мои заслуги весьма скромны. Мною руководил Андрей Алексеевич Бекетов. Он мой куратор. Он настоящий гений. Я думаю теперь, когда Федор Федорович возвращается в Кремль, Бекетову уготована новая, ведущая

роль.

— Не думайте об этом, Михаил. Бекетов ушел из политики. Он будет не у дел. Он не оправдал ожиданий.

— Что вы говорите? — изумился Немврозов. — В чем его прокол?

— Он не оправдал ожиданий. Теперь вашим куратором буду я. Мы станем встречаться и разрабатывать некоторые операции, которые потребуются в новый политический период.

— Конечно, конечно, — с готовностью ответил Немврозов. — То-то мне казалось, что Бекетов дает сбой. Что-то я в нем чувствовал неладное.

— С победой, Михаил. — Божок

протянул бокал, и Немврозов, жадно блестя глазами, чокнулся.

Елена мчалась к штабу Градобоева с ужасным предчувствием. Это она, в своей слепоте и доверчивости, стала причиной страшного зла, привела Градобоева к гибели. Эта гибель приближалась к Градобоеву по ночной Москве, и надо ее упредить, заслонить Градобоева или погибнуть вместе с ним. Она много раз принималась звонить, но телефон Градобоева был заблокирован. Она представляла, как он мечется в опустелых комнатах, одинокий, затравленный, без недавних друзей и

сподвижников. И только она одна может его утешить, вдохновить, вернуть ему волю. Упредить неведомую беду.

Москва в черном дожде пылала синей ртутью, брызгала белой плазмой. Дома казались огромными сосудами, в которых полыхал огонь, плескалось липкое пламя. Под колесами извивались разноцветные черви, из них струилась красная, зеленая, желтая жидкость. То падало из неба фиолетовое пернатое чудище, то всплывала из глубины огненная, с раскаленными жабрами, рыба. Навстречу летели сверкающие медузы, бесшумно расплющивались о стекло. Ее опутывали водоросли,

ядовитые многоцветные стебли, сочно хрустевшие под колесами. Едкие, с мокрыми лепестками, цветы бились о стекло, норовили ужалить. Рекламы, как громадные светила, лиловые, изумрудные, рубиновые, проплывали над крышами. Она не узнавала Москвы, которая казалась бредом, больным сновидением.

Переулок у набережной, где находился штаб Градобоева, был перекрыт полицейскими. Елена бросила машину на набережной, где гигантский Петр в пятнах туманного света казался колючим, перепончатым динозавром, вставшим на задние лапы. Она прошла сквозь кордон полиции. Перед особняком

толпился народ. Гудел мегафон: «Градобоев – наш президент!». Под фонарями светлели плакатики: «Чегоданов, ты украл голоса!», «Вор, верни, что украл!». Елена, глядя на балкон, на занавешенные светящиеся окна, снова пыталась звонить. И опять безуспешно. Она протолкалась к дверям с кнопкой домофона. Нажала. Голос спросил:

– Кто?

– Я, Елена Булавина.

– Приказано не пускать.

– Я пресс-секретарь Градобоева.

– Не велено. – И голос пропал.

Елена в отчаянии отступила.

Стояла в толпе, слушая гул мегафона. Всмотривалась в балкон, в

занавешенные окна, не скользнет ли по ним знакомая тень.

Градобоев пережил потрясение, преодолел взрыв, разорвавший на лохмотья его личность. Чудовищными усилиями он собрал воедино разлетающуюся галактику, вернул на место все ее планеты и звезды. Снова был ее центром. Непокоренный, несдавшийся, он продолжал сражаться. Был волнорезом, о который расшибался свирепый поток. Вспарывал волны, раздваивал их, укрощал ревущую громаду. Он оставался непобежденным борцом, идущим к победе через все поражения.

Градобоев не покинул особняк, сидел перед компьютером, набивая в блог послание к единомышленникам.

«Верная своим воровским законам, банда Чегоданова украла у нас победу на выборах. Тысячи нарушений – вброс фальшивых бюллетеней, угрозы избирателям, подмена итоговых документов и, главное, показания «электронного мошенника», системы «ГАЗ-Выборы», – все это превратило голосование в гнусный фарс. По подсчету наших и иностранных наблюдателей, мы победили с пропорцией 62 к 38 процентам голосов в нашу пользу. Чегоданов – узурпатор, совершивший

государственный переворот. И мы скажем ему: «Нет!» Братья, собирайтесь на Болотной площади, приводите с собой друзей, соседей, детей. Покажем узурпатору, что мы не стадо покорных животных, не сборище рабов. Мы свободные люди, гордые граждане великой страны, и мы вернем украденные голоса. С нами все мировое сообщество, с нами все демократические страны, с нами историческая правда. Мы победим!»

Он слышал под окнами невнятный гул голосов, вой полицейской сирены. Вошел телохранитель Хуторянин, осторожный, вкрадчивый, зоркий, с

той чуткой бдительностью, которая во всем подозревала опасность.

— Иван Александрович, перед входом собрался народ. И подходят все новые люди. Ваши сторонники не согласны с итогами выборов. Готовы идти к Дому Правительства. Им что-то надо сказать.

— Правильно, народ не сдается! Народ имеет право на восстание! Я сейчас к ним спущусь.

— Мне кажется, Иван Александрович, не надо спускаться. Лучше выйдите к ним на балкон.

— Еще лучше! В этом есть что-то революционное. Речь Ленина с балкона Кшесинской. Открывайте балкон, Семен Семенович!

Хуторянин отбросил штору. Стал открывать балкон. За зиму дверь балкона разбухла, приклеилась к косяку, и Хуторянин дергал, приподнимал дверь, прежде чем она открылась. В душную комнату пахнул весенний ветер, зашевелились на столе бумаги. Ворвался металлический гул мегафона, рокот толпы. Градобоев встал и, не набрасывая пальто, уверенно, широким шагом, ступил на балкон.

Переулок был полон бурлящих людей. Под фонарями виднелось множество лиц, плакатов, флагов. Вдалеке набережная Москвы-реки мерцала пролетными ночными огнями. В желтом зареве, огромный,

в забрале и латах, стоял великан, и у его ног слабо переливалась ночная вода.

Люди, увидев Градобоева, радостно взревели, выше воздели плакаты и флаги. Вдохновленный этим приветственным рокотом, он, их вождь, их несдавшийся лидер, был готов обратиться к ним с пламенными, зовущими в бой словами.

Он схватил руками мокрую от дождя решетку балкона. Ветер развевал его волосы. Он набрал полную грудь холодного сладкого воздуха. Увидел в доме напротив, в черном приоткрытом окне, слабую искру. Она увеличивалась,

становилась ярче. Наливалась драгоценным светом, начинала сверкать, как волшебный бриллиант. Была упоительной, дивной звездой, озарявшей всю его жизнь. Божественной каплей росы, которую он увидел однажды, ребенком, стоя босыми ногами на влажном крыльце. Среди утренней сверкавшей росы глаза усмотрели сказочную росинку, которая переливалась алыми, голубыми, золотыми огнями. А потом исчезла, и всю жизнь его глаза продолжали ее искать. Чудная, как путеводная звезда, как несказанное чудо, она манила его. И теперь появилась, летела ему навстречу во всей своей божественной красоте.

Ликуя, он ждал ее приближения, и она входила в него, сливалась с ним, расцветала в нем, как сказочная радуга.

Пуля врезалась ему в лоб, просверлила лобную кость, рассекла и взрыхлила мозг и остановилась внутри, у костяного затылка. Градобоев качался, раскрыв руки, словно собираясь взлететь, а потом перегнулся через перила и рухнул на тротуар.

Толпа взвыла. Раздался женский визг. Елена видела, как тяжело падает Градобоев, ударяется с глухим стуком о землю. Вокруг него открылась пустота, блестящий от дождя асфальт, на котором лежало

его большое распростертое тело.

Елена тихо ахнула, выбралась из толпы и, забыв, где оставила машину, пошла, заторопилась, слепо побежала среди размытых огней, размахивая сумочкой, не замечая, что кричит и рыдает.

Она кружила по переулкам, пробираясь к набережной. Бежала вдоль забора, отделявшего какую-то стройку. Ей навстречу попался человек. Сначала колыхнулся, уступая дорогу, а потом кинулся, вырвал сумочку и, виляя, в черной робе и вязаной шапочке, бросился прочь. Елена устремилась за ним:

— Отдайте! Остановитесь! Что вы делаете!

Человек нырнул в щель забора. Елена скользнула за ним, увидела в свете высокого огня вырытый котлован, какие-то недвижимые механизмы, вагончики. Из вагончиков ей навстречу выскочили люди – те же темные робы, шапочки, азиатские плоские лица. Набросились на Елену, стали тащить в вагончик. Она противилась, кричала. Удар в голову оглушил ее. Ее заволокли в вагончик, где горела тусклая лампа, стоял стол с обедками и бутылками, к стене был придвинут топчан. Ее стали валить, сдирать одежду. Она отбивалась, визжала. На голову ей накинули какую-то мокрую зловонную дерюгу,

она задохнулась, сникла. Ее повалили на топчан, и она, захлебываясь, всасывая мокрый зловонный воздух, не сопротивлялась.

Ее насиловали, долго, становясь в очередь, жадно хрипя, произнося неведомые ей слова. Посмеивались, ударяли больно в живот и бедра. Она потеряла сознание, а когда очнулась, было тихо.

Она сволокла с головы дерюгу. Упрятала голые груди в обрывки одежды. Горела тусклая лампа, блестели на столе пустые бутылки, и ее голые белые ноги казались чудовищными, отдельными от нее протезами.

ГЛАВА 38

Чудесным майским днем состоялась инаугурация президента. Москва казалась умытой, озаренной, с изумрудом распустившихся лип, с пылающими на клумбах тюльпанами, с бурными фонтанами. Кортеж мчался по Кутузовскому проспекту. Пустой и ясный, проспект раскрывал просторную даль. Мотоциклисты, образуя клин, летели, брызгая хрустальными огнями. «Мерседес» несясь, едва касаясь земли. В салоне за темными стеклами сидел Чегоданов. В его глазах переливалась перламутровая Москва. Она казалась безлюдной, не было на тротуарах

толпы, исчезли автомобили. Только виднелись полицейские посты и на крышах на мгновение возникали снайперы.

Это безлюдье волновало Чегоданова. Город принадлежал только ему, он был единственный его обитатель. И путь, который ему предстояло проделать, был той таинственной и грозной дорогой, которой двигались до него цари и вожди. Избранники судьбы, наделенные властью над огромной страной, которую им надлежало строить и возвращать, подавлять бунты, выигрывать войны, строить дворцы и храмы и, если будет угодно Богу, погибать в закоулках дворца,

или в пламени взрыва, или в черном расстрельном подвале.

Впереди возникла
Триумфальная арка в своей
ампирной красоте и величии. Кorteж
промчался под сводами арки.
Колесница на ее вершине метнулась
вслед за corteжем, и крылатые
трубачи гремели победные гимны.

Кремль, торжественный, алый,
воссиял куполами, белизной
соборов, янтарным солнцем дворца.
Чегоданов почувствовал на лице
сладкое жжение, словно кто-то
восхитительный поцеловал его глаза.
Кремль ждал его, выбрал одного из
бесчисленных, чтобы отворить перед
ним врата. Впустить в священные

чертоги, окружить волшебными силами, от которых воля обретает могущество, а дух соединяется с духом великой, непостижимой страны, с ее таинственной небесной судьбой.

Кортеж промчался по набережной, вдоль алой стены, мимо солнечных сияющих вод. Василий Блаженный возник как чудесный цветок, Чегоданов чуть заметно ему поклонился.

Под колесами нежно рокотала брусчатка. Спасская башня сверкнула обручальным кольцом курантов. Кремлевский дворец, как стена лучезарного солнца, предстал перед ним. Чегоданов шагнул из машины.

Комендант Кремля отдал ему рапорт. Легким, упругим шагом Чегоданов стал взлетать по ковровой дорожке среди мрамора, потоков света и певучего пения фанфар, возвестивших его появление.

Гвардейцы в киверах и красных мундирах растворяли перед ним золоченые двери. Стремительный, легкий, почти невесомый, словно подхваченный счастливым порывом, он вошел в Георгиевский зал. Тесно стояли государственные мужи, явившиеся славить своего президента. Генералы и директора военных заводов, главы академий и научных центров, великие артисты и богословы. Все аплодировали, тянули

руки, надеясь на беглое касание, ловили ветер, поднятый его порывистым шагом.

Зал сиял белоснежным мрамором, золотые надписи славили подвиги гвардейских полков, батарей, экипажей. Он миновал Александровский зал с золотыми орлами, с торжественной геральдикой флагов. На возвышении стоял трон, накрытый горностаем, и казалось, над троном витает великая тень.

Андреевский зал огласился фанфарами и встал при его появлении. Патриарх, иерархи. Министры, губернаторы, судьи. Послы и иноземные гости. Все

ловили его взор, хотели угадать его мысли.

Он упруго взошел на подиум, уверенный, легкий, с твердым светлым лицом, с чуть приподнятой головой. Перед ним, как Евангелие на аналое, лежал свод Конституции, в переплете из кожи африканского зверя.

Судья в черной мантии, с пергаментным лицом монаха был готов принять от него присягу.

Чегоданов чувствовал, как трепещет воздух над священной скрижалью. Как сквозь арку окна падает на него из небес голубой прозрачный луч. И в этом луче звучит неслышная молвь, несется

Божественное благословение,
венчающее его на служение.

Он протянул руку, готовясь произнести слова присяги, сочетаться клятвой с народной судьбой, разделить с народом судьбу. Он чувствовал на своем темени прикосновение луча, прикосновение перста Божьего, направлявшего его в русскую бесконечность. В этой бесконечности пленительно и волшебю сияла звезда. Звезда неизбежной Русской Победы.

– Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина...

И его рука, касаясь кожи

африканского зверя, чуть заметно дрожала.

Инаугурацию по телевизору наблюдал Андрей Алексеевич Бекетов, который вновь поселился в провинциальном городке М., городе двух цариц. Крохотная квартира выходила окнами на далекие поля, в которых весна начертала прозрачные зеленые полосы. Из Москвы он привез стопку книг и заветный «мамин цветок» в надежде, что, быть может, зимой, среди лютых морозов, мама вновь пришлет ему подарок из райских садов и он станет целовать белые соцветия.

Он много читал, много гулял,

много молился. В монастырском храме, среди редких прихожан, простаивал долгие службы, и его рассеянная мысль отвлекалась от песнопений и летела мимо синих дымов и алых лампад в таинственную бесконечность. Из этой бесконечности смотрели на него любимые лица, звали к себе, и он будет терпеливо ждать еще долгие годы, пока не состоится их встреча.

Теперь он сидел в архиерейских палатах, у настоятеля отца Филиппа. Тот, глядя в оконце на негасимую зарю, говорил:

— Мы, я помню, Андрей Алексеевич, как-то говорили о том, что Россия — мученица. Наша мысль

сводилась к тому, что Россия своими страданиями Богу угодна и она через свои страдания укажет миру путь к Богу. Россия – миру спасение. Я с этим согласен. Вот только не вижу, как Россия, в которой, как вы говорите, поселился зверь, может стать миру спасением. Кто из нас, на ком грехи неотмолимые, может такое слово сказать, за которым мир пойдет? Не вы и не я, не схимник, не президент, не художник. Все слова как перезревшее яблоко. Снаружи румяное, а внутри червяк. Червяк поселился в России и точит, точит, пока Россия не упадет. Как же она, трухлявая, станет миру спасением?

– Не знаю, отец Филипп. Это

мне не открылось. Я уповаю на чудо.

— И я уповаю, Андрей Алексеевич. Если рассуждать разумно и трезво, Россия погибла. Но если верить в Чудо, то Россия воскреснет. Я верю в пасхальное Чудо.

— Вы сами говорили, отец Филипп, со слов афонских монахов, что Россию ждет Чудо преображения. Явится дивный царь, который спасет Россию. Может, он уже здесь, среди нас, только мы об этом не ведаем?

— Я все вглядываюсь в своих прихожан, но будущего царя покуда не вижу.

Бекетов откланялся и, прежде

чем вернуться домой, отправился на вечернюю прогулку. Городок, опушенный зеленью, казался нарядным, милым. Заборы и наличники были покрашены. В палисадниках земля была вскопана, и наружу лезли сочные стебли пионов. У калиток сидели старушки, шумели дети, и матери не могли их загнать домой.

Он шел по улице Мира со щербатым асфальтом. Когда-то это была улица Сталина, а до этого улица Троцкого, а изначально она была Воздвиженской, ибо вела за город, к Воздвиженской церкви. Среди домиков возвышался ампирный собор с колоннами, выстроенный в

честь победы над Наполеоном. Он был обшарпан, в пятнах и строительных лесах, но купол в вечерних сумерках сиял позолотой.

Навстречу Бекетову попался часовщик, молчаливый сутулый мужчина, который раз в неделю карабкался на колокольню и заводил старинные часы. Они молча раскланялись.

В парке, в распустившихся березах, недвижно застыла заря. У оврага, полного фиолетовых сумерек, стояли два алебастровых оленя — памятник жителям, расстрелянным чекистами.

Бекетов прошел через парк и вышел на улочку, тихую и безлюдную,

с домиками, в которых кое-где уже светились оранжевые абажуры. Навстречу ему шел мальчик. Худой, с нежной открытой шеей, с высоким лбом, на который опускалась светлая челочка. Что-то особенное показалось Бекетову в этом мальчике. Они поравнялись. Бекетов уступил дорогу. Заметил, что синие глаза мальчика широко открыты и он тихо улыбается своим мыслям, не замечая ни Бекетова, ни высокой березы, ни разбитого тротуара, словно идет не касаясь земли. Они разминулись, и Бекетов не мог понять, чем взволновал его этот встречный мальчик. Обернулся. Мальчик удалялся, и над его головой тихо

ЗОЛОТИЛСЯ ВОЗДУХ.